

Федор Александрович Абрамов

Две зимы и три лета

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

- Па-ро-ход! Па-ро-ход идет!

С пекашинской горы косиками – широкими проезжими спусками, узенькими, вертлявыми тропками покатались люди.

За разлившуюся озерину попадали кто как мог: кто на лодке, кто на ребячем плотике, а кто посмелее – подол в зубы – и вброд. В воздухе стоял стон и гомон потревоженных чаек, черные чирята, еще не успевшие передохнуть после тяжелого перелета, стаями носились над головами ошалевших людей.

Так бывает каждую весну – к первому пароходу высыпает чуть ли не вся деревня. Потому что и весна-то на Пинеге начинается с прихода пароходов, с той самой поры, когда голый берег под деревней вдруг сказочно прорастет белыми штабелями мешков с мукой и крупами, пузатыми бочками с рыбой-морянкой да душистыми ящиками с чаем и сладостями.

В этом году никто не ждал даров из Архангельска – пинежские подзолы да супеси вот уже который год подкармливают отощавший город. Мало было надежд и на приезд фронтовиков. Где же им обернуться, когда только что кончилась война? Но давно-давно не видал пекашинский берег такого многолюдья. Ребятишки, девки, бабы, старики – все, кто мог, выбежали к реке.

Пароход из-за мыса не показывался долго. Костерик, наскоро сложенный из не просохшего еще хвороста, не разгорался, и люди, чтобы согреться, жались друг к другу.

Наконец у того берега, под красной отвесной щелью, леденисто сверкнул белый нос.

– "Кура", "Кура"! – закричали с насмешкой ребята, явно разочарованные тем, что вместо двинского богатыря-красавца к ним бредет маленький местный тихоход, который был построен пинежскими купцами Володиными еще в начале века.

Пароход с трудом подавался вперед, густо разбрасывая летучие искры по реке. Быстрым течением его откидывало к тому берегу, пенистая волна задирала нос. И уныло-уныло выглядели грязные, свинцового цвета бока, все еще по-военному размалеванные в черные полосы.

Но голоса своего «Курьер» за войну не потерял. Пронзительно, молодо закричал он, подходя к берегу. Будто весенний гром прокатился над головами людей. И как тут было удержаться от слезы! В войну помогал, можно сказать, жить помогал «Курьер» вот этим самым своим гудком. Бывало, в самые черные дни как заорет, как раскатит свои зыки да рыки под деревней – сразу посветлеет вокруг.

Варвара Иняхина с молодыми бабенками, едва приткнулся пароход к берегу, вцепилась в старика капитана, единственного мужчину на пароходе:

– Чего мужиков-то не везешь? Разве не было тебе наказа?

– Смотри, в другой раз порожняком придешь – самого оставим.

– Ха-ха-ха! А чего с ним делать-то?

Тут кто-то крикнул:

– А вон-то, вон-то! Еще один пароход!

Пароход этот – плот с сеном – плыл сверху. Круто, как щепку, вертело его на излучине

повыше деревни, и два человека, навалившись на гребь – длинную жердь с лопастью, вделанную в крестовину, – отчаянно выгребали к пекашинскому берегу.

– Да ведь это, никак, наши, – сказала Варвара. – Кабыть, Мишка с Егоршей.

– Его, его – Мишкина шапка. Вишь, как лиса красная.

– Это они с Ручьев, из лесу едут.

Бабы заволновались. Пристать к пекашинскому берегу в половодье можно только в одном месте – у глиняного отлогого спуска, там, где сейчас стоял «Курьер».

– Отваливай! – разноголосо закричали они капитану. – Не видишь разве люди к нам попадают.

– Отваливай, отваливай! Поимей совесть.

И капитан, чертыхаясь, уступил – отдал команду сниматься.

Плот с сеном впритык, под самым боком прошел у разворачивающегося парохода.

2

Пряслинский дом с реки не виден – амбар да подклет¹ с разросшейся черемухой спереди, – и Михаил увидел свой дом, когда уже поднялся с возом в гору.

Изба была новая, с пестрыми стенами.

Клади избу прошлой осенью, перед самым его отъездом в лес. Клади второпях, из старья – новых бревен хватило только на верх и низ, и вот получилась хоромина военного образца: один угол увело в сторону, другой сел, когда еще не набрали крышу. А в общем, тепло в стенах держалось, и Пряслины, намерзнувшись в старой развалюхе, нахвалиться не могли новой избой.

Засмотревшись на красный флажок, вывешенный на углу избы, Михаил и не заметил, как лошадь поравнялась с окошками.

– Тпру-у-у! – закричал он и кинулся догонять воз. Но еще раньше, чем он подоспел к лошади, ее перехватила мать.

– Вернулся! А мы ждем-ждем – все заждались. Мне бабы сказали, что Михаил у вас с сеном, – дак уж я рада.

Приподняв кверху худое, обветренное лицо, Анна старалась заглянуть сыну в глаза, но взгляд Михаила скользил поверх ее головы. И она, виновато посмотрев на разобранную изгородь спереди заулка, сказала:

– На той неделе это. Навоз возили.

– Ас задворков подъехать не могли? Там через воротца хоть на тройке скачи.

– Да уж так получилось. Недодумали.

– Все вы недодумали. Кабы сами огороду запирали, небось додумали. А это что? – закричал Михаил, кивая на свалку за крыльцом. – Руки отпадут на поле выплеснуть?

Несколько смягчился Михаил, когда телега с сеном подошла ко двору. Даже остановился на какое-то время, словно прислушиваясь к тому, что делается там у Звездони, за ржаными, почерневшими за зиму снопами, которыми для тепла были заставлены ворота двора.

Но Звездоня не догадалась подать голос хозяину, и за нее ответила мать:

– Скоро. Все ладно – скоро опять с молоком будем. Две недели осталось.

– Не ошибаешься?

– Да нет. И сама и Степан Андреянович высчитывал. Так по срокам.

Сено и солому на поветь до прошлой осени Пряслины подымали по взвозу бревенчатому настилу, а осенью, когда Михаил был уже в лесу, взвоз обвалился, и корм с тех пор носили на руках.

Однако Михаил сейчас нашел другой выход – откидал от задней стены двора кряжи и

¹ Подклет – бревенчатая надстройка над погребом.

телегу поставил так, что сено можно было перекидать вилами прямо с телеги на поветь.

Анна, пока он распутывал веревки на возу, докладывала о семейных делах: Лизка с Татьяной на телятнике, Петька и Гришка убежали за клюквой...

– То-то, я гляжу, нету их у реки, – сказал Михаил. – Все ребята у реки, а наших нету.

– Просились. Слезно молили: хотим к пароходу. Да я говорю: "Что вы? Где у вас совесть-то? Чем будете Мишу-то своего встречать?" Беда, тебя ждут. Только Миша один и на уме. Глаз из окошка не вынимают. Похвалили их. Уж такие оба заботы – мы с Лизкой нынче ни дров, ни воды не знаем. Все они.

– Переползли в третий класс?

– Переползут. Августа Михайловна тут как-то встретилась: спасенья, говорит, не имею.

– А тот разбойник?

Анна отвела глаза в сторону.

Михаил снял с воза берестяную корзину с брякнувшим чайником, спросил недобрым голосом:

– Опять чего-нибудь натворил?

– Натворил. К учительнице в печь залез, кашу из крынки выгреб. – Анна вздохнула. – Не хотела я тебя расстраивать. Да что – не скроешь.

– Ладно, иди открывай поветь, – сказал Михаил. Сдвинув к переносью брови, он тяжелым взглядом обводил задворки деревни. С какой радостью он плыл сегодня домой! Война кончилась. Праздник небывалый. А тут не успел еще ступить за порог избы – старая веревочка закрутилась.

Федька – его давно уже не звали Федюшкой – был наказанием всей семьи. Ворюга, повадки волчьи. А началось все с пустяков – с кочешка капусты, с репки, с горстки зерна, которые он начал припрятывать от семьи. Потом дальше больше: в чужой рот полез.

В прошлом году у Степана Андреяновича восемь килограммов ячменной муки украл. Весь, до грамма, паек, выданный на страду. Люди, понятно, взбудоражились – кто? какой казнь казнить вора? А в это время рыжий дьяволенок спокойно каждое утро, как на работу, отправлялся в пустой овечий хлев на задворках, садился на чурак – специально для удобства принес – и запускал руку в мешок. Так сидящим у мешка на чураке и накрыла его Лизка...

"И в кого он такой выродок?" – снова, в который раз задавал себе вопрос Михаил.

Мать открыла ворота на повети, подала ему вилы. Вдвоем они быстро разгрузили телегу. Потом Анна спустилась к нему с граблями и начала старательно загребать сенную труху.

– Брось, – сказал Михаил. – Незавидное сено. Осенщак².

– Что ты, я вся рада. Без корма живем. Будет у людей зависти.

– Нашли чему завидовать. Мы с Егоршей помучились с этим сенцом – будь оно проклято. Осенью собирали черт-те где. А сейчас на себе через болота таскали ну-ко, попробуй. – Михаил посмотрел вокруг, хмуро поджал губы: – Когда надо, наших ребят никогда нету.

– Ты насчет лошади? – Анна живо и предупредительно закивала. – Не беспокойся. Иди в избу. Я отведу. – И вдруг, взглянув в сторону колодцев, всплеснула руками: – Да ведь там, кажись, они, разини? Вот как расселись ничего не видят.

За первым колодцем на белой жердяной изгороди возле болота и в самом деле торчали две серенькие фигурки, очень похожие издали на огородные чучела.

– Чего ворон-то считаете? – закричала Анна и замахала рукой. – Не видите, кто приехал?

– Давай давай! – закричал Михаил, подзадоривая затрусивших по дороге братьев. – А ну – который быстрее?

Петька и Гришка подбежали запыхавшиеся, худющие, бледные, как трава, выросшая в

² Осенщак – сено, поставленное осенью.

подполье. Даже бег не выдавил краски на худосочных лицах, хотя глазенки их, устремленные на старшего брата, сияли радостью.

Они все еще были разительно похожи друг на друга, так похожи, что даже на двор, как шутили в семье, бегали в одно и то же время. Дома их, конечно, не путали, а вот соседские ребята для удобства окрестили их по-своему. Года два назад Гришка рассадил верхнюю губу, напорвшись на гвоздь, и с тех пор Михаилу не раз приходилось слышать: "Эй ты, половинка щербатая!" По шраму отличала их друг от друга и учительница Августа Михайловна.

– Молодцы у меня, – сказал Михаил и поощряюще потрепал того и другого по голове. – Перескочили, значит, в третий?

Похвала старшего брата доставила близнецам величайшее удовольствие. Они застенчиво переглянулись друг с другом, посмотрели на мать.

– Чего принесли? Угощайте своего Мишу. Петька и Гришка с готовностью протянули берестяные коробки – в них на вершок вперемешку с мусором рдела мокрая клюква.

Михаил взял по ягодине из каждой коробки, морщась, скользнул взглядом по тонким босым ножонкам, по мокрому низу штанов.

– Больше не бродите. Ну ее к лешему! Вот погодите – война кончилась, в сапогах скоро ходить будем. А сейчас на конюшню. Быстро!

Петька и Гришка – не надо говорить два раза – живо вскарабкались на телегу, сели рядышком в передок, оба взялись за вожжи. И чем дальше удалялась телега, тем все больше казалось, что едет один человек.

"А может, вот то, что они так жмутся друг к другу, и помогло им выжить в это время?" – подумал Михаил.

Он поднес руку ко рту:

– Возвращайтесь скорей! Чай будем пить. С хлебом! С настоящим! – добавил он громко.

3

Войдя в избу, Михаил поставил на пол плетенную из бересты корзину, к которой сверху были привязаны продымленный чайник и котелок, бросил к кровати мешок с валенками, потом расстегнул ремень с железной натопорней и большим охотничьим ножом в кожаных залощенных ножнах снял старую, побелевшую от дождей и снега и не в одном месте прожженную фуфайку, снял шапку-ушанку из рыжей мохнатой собачины, вышел из-под полатей, разогнулся.

Вот он и дома...

Не много ему приходится жить дома. С осени до весны на лесозаготовках, потом сплав, потом страда – по неделям преешь на дальних сенокосах, – потом снова лес. И так из года в год.

Пол был вымыт – приятно, когда тебя ждут. Стены в избе еще голые – нечем оклеить, газету с трудом на курево раздобудешь. Только под карточкой отца, убранной полотенцем с петухами, висел ярко-красный плакат "Все для фронта, все для Победы!"

Михаил прошел в задоски, заглянул в девочешник – так называли маленький закуток с одним окошком за задосками. Мать отговаривала его, когда он затеял делать отдельный угол для сестер. Но он настоял на своем. Нехорошо спать Лизке в общей свалке с ребятами. Девка. Надо вперед немного заглядывать.

В девочешнике у стены стояла койка на сосновых чурочках. Койка была аккуратно застлана старым байковым одеялом, а в головах, как положено, подушка. Михаил улыбнулся: все это Лизка соорудила без него. Полтора месяца назад, когда он последний раз приезжал домой из лесу, койки еще не было.

И еще раз он улыбнулся, когда, вернувшись в избу и снова оглядывая ее, наткнулся глазами на новый стояк у печи с карандашными пометками и ножевыми зарубками. Живут

Пряслины!

Анна, все время не сводившая глаз с сына, облегченно вздохнула: ну, слава богу, хоть избой остался доволен.

– Самовар ставить или баню затоплять? – спросила она.

– Погоди маленько. Дай в себя прийти.

Михаил сел на прилавок к печи, снял кирзовые сапоги – на правом опять голенище протерлось, сунул ноги в теплые, с суконными голяшками валенки, которые подала ему мать с печи. Вот теперь совсем хорошо.

– Холодно на реке-то, – сказал он, свертывая сигарку.

– Как не холодно. Я навоз с утра возила – до костей пробирает.

– Пахоть еще не собираются?

– Готовятся. Ждут тебя. Анфиса Петровна сколько раз поминала: где у нас мужика-то главного нету?

Чиркнув кресалом по кремню, Михаил выбил искру, помахал задымившейся суконкой, чтобы та разгорелась лучше. Затягиваясь, скопил на мать карий улыбающийся глаз:

– Ну, как тут у вас победы праздновали? Шумно было?

– Было. Всего было. И шуму было, и слез было, и радости. Кто скачет, кто плачет, кто обнимается... – Анна хлюпнула носом, но, заметив, как на обветренных коричневых щеках сына заходили желваки, поспешно смахнула слезу рукой. – У правленья улица народу не подымала. Речи говорили, с флагами по деревне ходили. Потом на заем стали подписываться. Я без памяти-то на триста рублей подписалась.

– Я тоже маханул, – сказал Михаил. – На полторы тысячи.

– Ну вот. И Лизка, глупая, пятьдесят рублей выкинула. Ей-то бы уж совсем незачем. Не много зарабатывает. Галстук красный вывесила на дом, и ладно...

– Пущай, – миролюбиво сказал Михаил. – Такой день...

– Да ведь деньги-то не щепя – на улице не валяются. А тут на днях налог принесли.

– Налог? – Михаил озадаченно посмотрел на мать. До сих пор налоги обходили их стороной.

– На тебя выписан.

Михаил затаился, шумно выпустил дым:

– Не забыли. Мне когда восемнадцать-то? Через две недели?

– То-то и оно. Я уж говорила Анфисе Петровне. "По закону, говорит. До первой платы, говорит, в годах будет".

Обжигая губы, Михаил докурил сигарку, размял на ладони притушенный окурок, остатки махорки ссыпал в железную баночку.

– Ничего. Как-нибудь выкрутимся. В постоянный кадр, на лесопункт, думаю проситься. В лесу теперь и хлеба больше давать будут, и кой-какой паек на иждивенцев положат. Опять же, мануфактура...

Тут на крыльце часто-часто затопали ноги, дверь распахнулась, и в избу вихрем влетела Лизка, а в следующую секунду она уже обнимала брата за шею.

– Мне как сказали, что у вас хозяин приехал, дак я лечу – ничего не вижу. Танюха сзади: "Лизка, Лизка, стой!.." Ладно, думаю, не кошелек с деньгами не потеряешься.

Вдруг Лизка нахмурилась, глянув на Петьку и Гришку, которые вбежали вслед за ней.

– Где девка-то? Бессовестные! Ребенка бросили. А ну марш за ней!

Вот за эту распорядительность да за хозяйскую сноровку Михаил любил сестру. Не на матери – на Лизке держится семья, когда его нет дома.

Он с чуть приметной улыбкой разглядывал сестру, пока та, привстав на носки, вешала под порогом свою пальтуху. Белая, льняная голова у нее была гладко зачесана, и толстая, туго заплетенная коса с красной ленточкой спадала до поясницы. В общем, по косе уже девка. Но в остальном... В остальном ничегошеньки-то для своих пятнадцати лет. Как болотная сосенка-заморыш...

И, словно угадав его мысли, Лизка живо обернулась. Скуластое лицо ее, густо

присыпанное желтыми веснушками у зеленых глаз, слегка порозовело.

– Что? Как кощей страшный, да? – спросила она прямо. – Ладно, не всем, как Раечка Федора Капитоновича. Кому-то и мощой надо быть.

И за эту простодушную прямоту он тоже любил сестру.

– Мама, ты чего ни шьешь ни порешь? – начала, не мешкая, распоряжаться Лизка. – Самовар будем греть или баню затоплять?

А еще какую-то минуту спустя она уже утешала плачущую, в три ручья заливающуюся слезами Татьянку, которую, подталкивая, ввели в избу двойнята.

Михаил услышал, как она нашептывала Татьянке на ухо:

– Подойди. Скажи: "Здравствуй, Миша. С приездом". Да за шейку его.

Татьянка заупрямилась, и Лизка моментально рассердилась:

– Ну еще, волосатка! Никогда больше не возьму на телятник. Сиди дома.

– А вот посмотрим, что она сейчас запоет... – Михаил подтащил к себе корзину.

Рот у Татьянки сразу встал на свое место, а Петька и Гришка – те просто выросли на глазах.

Посмеиваясь, Михаил извлек из корзины кусок голубого ситца с белыми горошинами, протянул Лизке:

– Это тебе, сестра.

– Мне? – Лизка часто-часто заморгала глазами и вдруг расплакалась, как ребенок.

Михаил отвернулся, начал шарить банку с махоркой.

– Ну дак не реви, не взамуж отдают, – сказала мать, сама не в силах удержать слезы. – Чего надо сказать-то, глупая?

Лизка, крепко, обеими руками прижимая к груди ситец, сунулась на колени и еще пуще прежнего разрыдалась. Первый раз в жизни ей подарили на платье.

– Ну, ну, успокойся, сестра, – пробормотал Михаил.

– А мне? – требовательно топнула ногой Татьяна, готовая вот-вот снова разреветься.

– Хватит и тебе. И матерь, может, чего для себя выкроит. Восемь метров.

Вслед за тем Михаил достал из корзины новые черные ботинки на резиновой подошве, с мелким рубчатым кантом и парусиновой голяшкой.

– Ну-ко, сестра, примерь.

– И это мне? – еле слышно пролепетала Лизка, и вдруг глаза ее, мокрые, заплаканные, брызнули такой неудержимой зеленой радостью, что все вокруг невольно заулыбались – и двойнята, и мать, и даже сам Михаил.

Тут же, не сходя с места, Лизка села на пол и начала стаскивать с ног старые – заплатка на заплате – сапожонки.

– Ты хоть бы обнову-то не гваздада, – сказала мать и взяла у нее с коленей ситец.

– Ботинки-то, наверно, великоваты, – предупредил Михаил. – Не было других. Три пары на весь колхоз дали.

– Ладно, из большого не выпаду. Чем-чем, а лапами бог не обидел.

В избе заметно посветлело, когда Лизка, неуверенно, с осторожностью ступая, раза три от порога до передней лавки прошла в новых, поблескивающих ботинках.

Не были забыты и ребята. Для них Михаил – Егорша уступил ему свои промтоварные талоны – привез синей байки на штаны. Но Петька и Гришка, вопреки его ожиданиям, довольно сдержанно отнеслись к этому подарку. А вот когда он вытащил из корзины буханку – целую увесистую кирпичину ржаного хлеба, – тут они взволновались не на шутку и в течение всего времени, пока грелся самовар, не сводили глаз со стола.

Как раз к самому чаю, только что сели за стол, явился Федька.

– Он уж знает, когда прийти. Как зверь еду чувствует... – заговорила было Лизка и осеклась, взглянув на старшего брата.

Михаил, распрямляя спину, медленно поворачивал голову к порогу.

– Ну, что скажешь? Где был?

Федька стоял не шевелясь, с опущенной головой. На нем была та же рвань, что на

остальных, и кормили его не по-особому, но веснушчатые щеки у него были завидно красны, а босые, уже потрескавшиеся ноги выкованы будто по заказу крепкие, толстые, и пальцы подогнуты, пол когтят.

– Что скажешь, говорю? Ну? – снова, чеканя каждую букву, спросил Михаил.

– Отвечай! Кому говорят? Где был? – опять не выдержала Лизка.

И тут Федька ширнул носом, поднял глаза, холодные, леденистые, и вдруг эти ледышки вспыхнули: хлеб увидели.

"Вот и потолкуй с этим скотом, – вздохнул про себя Михаил, – когда у него брюхо наперед головы думает". Да и не хотелось ему портить праздник – не часто-то он у них бывает. И он, к великой радости матери и двойнят, которые болезненно, до слез переживали всякий разлад и ссору в семье, махнул рукой.

У ребят дыханье перехватило, когда он взялся за буханку. Давно, сколько лет не бывало в их доме такого богатства.

Коричневая, хорошо пропеченная корочка аж запищала, заскрипела под его пальцами. И вот что значит настоящая мука – ни единой крошки не упало на стол.

Легко, с истинным наслаждением развалил он буханку пополам – век бы только и делал это, – затем одну из половин разрезал на четыре равные пайки.

Танюшке – пайка, Петьке – пайка, Гришке – пайка. Федьке...

Рука Михаила на секунду задержалась в воздухе.

Мать, не привыкшая к такому расточительству, взмолилась:

– Ты хоть бы понемножку. Они хоть сколько смелют.

– Ладно. – Пайка со стуком легла перед Федькой. – Пусть запомнят победу. Михаил поднял глаза к отцовской карточке. – Это мне начальник лесопункта Кузьма Кузьмич подбросил буханку. Уже перед самым отъездом. "На, говорит, помяните отца. Вместе раньше работали".

Мать и Лизка прослезились. Петька и Гришка, скорее из вежливости, чтобы не огорчить старшего брата, поглядели на полотенце с петухами. А Татьяна и Федька, с остервенением вгрызаясь в свои пайки, даже и глазом не моргнули.

Слово «отец» им ничего не говорило.

4

После чая Михаил разобрался с бритьем (он с прошлой осени начал скоблить подбородок носком косы), мать, прихватив растопку, пошла затоплять баню, а Лизка побежала к Ставровым.

Со Ставровыми Пряслины жили коммуной, считай, всю войну, чуть ли не с весны сорок второго года. Они держали на паях корову, сообща заготавливали сено, дрова, выручали друг дружку едой. Больше всего, конечно, от этой коммуны выигрывали Пряслины, но и Степан Андреевич не оставался внакладе. Анна и Лизка обстирывали и обмывали его с внуком, держали в чистоте их избу, и хлопот насчет бани Ставровы тоже не знали.

Ветер под вечер стих. Из белесых лохматых облаков проглянуло оловянное солнышко, и далеко, на пекашинских озимях, кричали журавли. Первый раз за нынешнюю весну, отметила про себя Лизка.

Она бойко вышагивала по унылой, твердой, как камень, дороге – ни одной еще травинки не было на лужайках – и мысленно видела себя в новых ботинках, в новом голубом платье с белыми горошинами. И вообще все, все теперь, казалось ей, будет иначе. Им не придется больше давиться колючим мохом, толочь в деревянной ступе сосновую заболонь, и по утрам не будут больше, мучаясь запорами, кричать с надворья ребята: "Ма-а-ма-а, умираю..." Какое это счастье, что у них такой брат!

Степан Андреевич затоплял печь. Красные отсветы играли на его бородатом лице.

Наверно, что-нибудь для Егорши варить собирается, догадалась Лизка.

– А, невеста пришла, – сказал с улыбкой Егорша. Он лежал на печи, голые ноги

крест-накрест, в зубах самокрутка.

Лизка хмыкнула:

– Невеста без места, жених без штанов.

– А вот и в штанах, – рассмеялся Егорша.

– Хватит тебе зубанить-то, – одернул его Степан Андреевич.

Егорша придурковато высунул язык, но разговор переменял:

– Ну, что Мишка делает?

– Что делает! Он без Мишки-то часу прожить не может. Не ты – без дела не лежит. Я пришла сказать, – обратилась Лизка к Степану Андреевичу, – баню-то не топите. Мы топим.

Она цепким, бабьим глазом обвела избу.

– Ну-ко, я хоть маленько приберу у вас.

– Брось, Лизавета, – сказал Степан Андреевич. – Сами с руками.

Но Лизка уже смачивала под рукомойником веник. Затем, подметя пол, она по-свойски прошла в чулан, вынесла оттуда грязное белье старика, бросила на пол:

– У тебя есть чего?

Егорша скосил прищуренный глаз на деревянный сундучок, стоявший у кровати.

– Вон мой чемодан. Доверяю.

В задосках загремела кочерга.

– Мог бы и сам достать. Рановато барина-то из себя показывать.

Егорша нехотя спустился с печи – босиком, в белой нательной, давно не стиранной рубахе с расстегнутым воротом и выпущенным подолом, – зевнул, потягиваясь.

– Лежать-то тоже надо умеючи. – И подмигнул Лизке. – Одна баба лежала-лежала – ногу отлежала. На инвалидность перевели.

Был Егорша невысок, худощав и гибок, как кошка. Смала Егорша очень походил на робкую, застенчивую девчушку. Бывало, взрослые начнут зубанить – жаром нальются уши, вот-вот, думаешь, огонь перебросится на волосы – мягкие, трепаные, как ворох ячменной соломы. Но за три года житья в лесу Егорша образовался. Стыда никакого – сам первый похабник стал. Глаз синий в щелку, голову набок, и лучше с ним не связывайся – кого угодно в краску вгонит.

К деду Егорша переехал в сорок втором году, после того как мать задавило деревом на лесозаготовках. Степан Андреевич завел было разговор о перемене фамилии, но Егорша заупрямился. Тем не менее в Пекашине все и в глаза и за глаза называли его Ставровым. И тогда Егорша схитрил: к отцовской фамилии Суханов стал приписывать фамилию деда.

– Со мной, брат, не шути, – говорил он, довольный своей выдумкой. – У меня, как у барона, двойная фамилия.

Легкой, развинченной походкой Егорша прошел в задоски, зачерпнул ковшом воды из ушата, напился.

– По последней науке, говорят, ведро воды заменяет сто грамм.

– Чудо горохово! Всё про вино, а сам рядом-то с бутылкой не стоял.

– Так, так его, – поддержал Лизку Степан Андреевич.

Егорша вынул из сундучка скомканное белье, навел на Лизку свой синий глаз с подмигом:

– На, стирай лучше. Когда-нибудь из сухаря выведу³.

– Больно-то мне надо!

– Ну, ну, не зарекайся. В клуб-то нынче ходят?

Степан Андреевич, сливая в чугун воду, покачал головой:

– У нашего Егора одно на уме – клуб.

– А чего! Война кончилась – законное дело. Кто теперь играет? Раечка?

³ Вывести из сухаря – значит пригласить девушку на домашней вечеринке или в клубе танцевать.

– Она когда в балалайку побренчит, – сказала Лизка и вдруг рассердилась: Да ты думаешь, у нас тут только плясы и на уме?

Егорша опять зевнул.

– Я не про тебя. Я про девок.

Слышала, слышала она от этого злыдня кое-что и похлестче – за словом Егорша в карман не лез. Но нынешняя насмешка показалась ей почему-то столь обидной, что она схватила узел с бельем и, даже не попрощавшись со Степаном Андреевичем, хлопнула дверью.

5

Дома шла стрижка – обычное дело в день приезда старшего брата.

Двойнята уже расстались со своей волосней и, покручивая непривычно легкими головами, влюбленно следили за рукой Михаила, лязгающей черными овечьими ножницами над Федькиной головой.

Федьке приходилось туго: ухо у него против света горело, как жирная волнуха, и по веснушчатым щекам текли слезы. Но он крепился и на вошедшую в избу сестру даже не взглянул.

– Что Егорша делает? – спросил Мишка.

Лизка всплеснула руками:

– Да вы что – сговорились? Тот: "Что Мишка делает?" Этот: "Что Егорша делает?"

Она взяла под порогом веник, запахала в кучу ребячьих волосы.

– Ты ничего не слыхал?

– Нет. А что?

– Старовер приехал.

– Какой старовер?

– Много ли у нас староверов? Евсей Мошкин. В поле сейчас стоит, у своей избы. Сегодня, сказывают, приехал. До Лиственничного бора на «Курьере» шел, а оттуда пешком. Не захотел дожидаться, куда пароход дрова возьмет.

За этим многоречивым плетением Михаилу почудилась та же самая тревога, которая холодком подползла и к его сердцу. Прошлой осенью, когда в спешке ставили им избу, бревна собирали по всей деревне и три венца взяли с развалин Евсея Мошкина. Конечно, с согласия правления колхоза.

– Сиди! – зло тряхнул Михаил заворочавшегося Федьку.

Наскоро оборвав остатки волос на рыжей голове, он накинул на себя ватник, вышел на улицу.

На задворках, в поле, там, где стояла изба Евсея Мошкина, никого уже не было.

Михаил взял колун с крыльца и пошел в дровяник. Он всегда так делал, когда хотел что-то обдумать. Правда, в данном-то случае и обдумывать было нечего. Бревна с Евсеевой избы подсказала снять Анфиса Петровна, так что пускай она и рассчитывается с Евсеем.

Да, но бабам-то рот не заткнешь, подумал Михаил. Начнут теперь вздыхать да охать. Вот, скажут, какие нынче люди пошли. Подошел Евсеюшка к своему домику, а там не то что избы – бревнышка ладного нету. И что ты возразишь? Что скажешь на это? Пускай ты хоть век не виноват, а бревна-то на твоей избе. Каждому прохожему видно.

Михаил сплеча всадил в суковатую чурку колун, затем старательно, на все пуговицы, застегнул ватник и пошел к Марфе Репишной, дальней родственнице Евсея.

У Марфы Репишной Пряслины каждую зиму, начиная еще с довоенного времени, морозили тараканов, и Михаил хорошо знал ее избу. Старинная изба. Оконьшки маленькие, высоко над землей, а потолок и стены из гладко оструганного кругляша – золотом светятся. И дух в избе вкусный, травяной. Особенно бросается, когда в холодное время с надворья заходишь: будто из зимы в лето попадаешь.

На этот раз травяной запах заглушала смола: Евсей щепал лучину.

Ловко, красиво сбегал с полена тонкий розовато-белый ремень. Как живой; чуть-чуть потрескивая и мягко выгибаясь. А когда этот ремень совсем отделился от полена, Евсей не дал ему упасть на пол, а быстро подхватил его и покачал на весу: а ну-ка, скажи, друг-приятель, на что ты пригоден (знакомая Михаилу привычка), и бросил отдельно, в сторону от растопки, – надо полагать, для дела.

Сам Евсей, к немалому удивлению Михаила, оказался совсем не таким, как представлял он его себе, шагая к Марфе. Он-то думал увидеть какого-нибудь доходягу, тень от человека, раз столько в лагерях отбухал, а тут – держите ноги: пень смоляной. Щеки румяные, гладкие, как мячики, в рыжей окладной бороде ни единой пожухлой волосины, и голова тоже медная, в скобку стрижена, подрубом.

Потом, правда, Михаил разглядел: старик. И рука правая в трясушке, и кожа на шее сзади потрескалась, как кора на старом дереве. Но все равно впечатление засмолевшего, забуревшего пня, с которого, как вода, стекают и время, и всякие житейские невзгоды, осталось.

– Чей это молодец-то будет? – спросил Евсей у Марфы.

Марфа подняла голову от рубахи, которую чинила, поглядела на Михаила своими полубезумными глазами и ничего не сказала. У нее, как казалось Михаилу, и раньше кое-каких винтиков недоставало, а после смерти мужа она и совсем ослабла головой.

Михаил назвал себя.

– Ивана Пряслина сын! – воскликнул Евсей. Он вскочил на ноги, всплакнул, замотал головой. – Осподи, Ивана Гавриловича сын... Михайло Иванович – так, кабыть? Вот как, вот как время-то идет, робятушки! Давно ли Иван Гаврилович сам молодецвал, а тут такой сын. В отца, кабыть, натурой-то, только тот волосом посветлей был. – Евсей опять, поокавав, повздыхав, сел на лавку. – А меня-то помнишь? – спросил он, и вдруг в мокрых щелках его вспыхнули любопытные, по-ребячьи лукавые огоньки.

Михаил отрицательно покачал головой.

Огоньки потухли.

– Где помнить. А я вот тебя запомнил. Бывало, все к моим ребятам бегал. Вот такой махонькой, – Евсей показал рукой.

Михаилу смутно припомнились двое мальчуганов-сирот, живших когда-то неподалеку от них на задворках. Старшего, кажется, звали Ганькой, а у младшего – это он хорошо помнит – было прозвище Тяпа. Ребятишки бедному Тяпе из-за того, что у него была большая белая голова да кривые, как ухваты, ноги, не давали житья, И Михаил тоже травил его: "Тяпа, Тяпа, не упади!.."

А Тяпа не отвечал. Тяпа, казалось, не замечал этих обидных выкриков. И все катился да катился себе мимо, как колобок. И, как колобок, улыбался своей светлой, кроткой улыбкой.

– Нету, ни которого нету в живых. Оба убиты – и Гаврило, и Алексей, вздохнул Евсей. – И у тебя родитель, сказывают, остался там?

– Остался.

– О, господи, господи! Сколько народушку побито. Весь цвет в войне выгорел. А семья-то у вас большая?

– Шестеро, кроме меня.

– Ох, Михайлушко, Михайлушко! Ну дак тебе досталось. Взвалила война на твои плечи ношу...

Михаил встал.

– Я насчет бревен зашел сказать. Это я увез их с твоей избы.

Евсей махнул рукой:

– Что ты, бог с тобой, Иванович. Не ты начал рушить мое строенье, не ты кончил. Сеструха⁴ Марфа Павловна пригрела меня, и слава богу.

⁴ Сеструха – двоюродная сестра.

– В общем, так, – сказал Михаил. – Мне чужого не надо. Нарублю и отдам.

– Нету чужих, Михайлушко. Все люди родня. А мы с тобой еще родники по крови. Не слыхал? Так, так. Спроси у старых людей Старые-то люди помнят. Мой-то отец да мать твоего отца – бабушка тебе – троюродными братом да сестрой доводились. Отец у тебя помнил. Бывало, выпьет, дядей назовет. Ничего, шибкой был, а худого слова не скажу. Обходительный со мной был...

В избу вошла запыхавшаяся Лизка:

– Вот где он! Я по всей деревне ищу, а он как не знает, что баня поспела.

– Сестра тебе? – спросил Евсей. – Как звать-то?

– Лизаветой, – сказала Лизка и хмуро, почти враждебно посмотрела на Евсея.

– Так, так, – ласковой улыбкой ответил ей Евсей. – Лизавета Ивановна, значит. Характером-то, кабыть, в бабку Матрену Прокопьевну. Счастливая будешь.

Михаил с каким-то смутным и непонятно-тревожным чувством вышел на улицу.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Эх, жар-сухостей, пар-береза на спине! В Пекашине любили попариться. Бывало, в субботу стукоток стоит за колодцами, у болота (там банный ряд): трещат, хлопают двери, раскаленные мужики да парни вылетают в белом облаке и бух-бух в снежный сугроб или в озерину.

И в войну не забывали баню, в самые черные дни топили. А как же иначе, если это и твоя единственная отрада в жизни, и твоя оборона от всех болезней и хворостей?

Пряслинская баня была приметна не сама по себе – какие же особые приметы у черной бани? Она была приметна кустами – двумя черемшинами и пятком тоненьких рябинок, росшими возле сенцев.

Летом – что и говорить – приятный дух от черемшинок, но если бы эти кусты не были посажены отцом, Михаил и дня бы не держал их у бани. Приманка для ребят – вот что такое эти кусты. Особенно черемуха. Весной и осенью каждый пацан лезет на нее, а раз пацан возле бани – не бывать стеклу в окошке. Это уж точно. И в окошке пряслинской бани вечно торчит веник.

– Алё? – подал голос Михаил, входя в сенцы. – Есть жар?

– Есть, наверно. Мне с этим жаром-паром не на луну лететь, – замысловато ответил из бани Егорша.

В бане из-за веника в оконце было темновато, и Егорша, растянувшийся на полку, напомнил березовый кряжик. Михаил против него был мужик. Кожей смуглый – в материн род, а всем остальным – и костью, и силой – в отца.

Горбясь под низким черным потолком, он дотронулся пальцем до каменки хорошо накалена! – и зашуршал березовым веником.

Егорша панически приподнялся на полку:

– Ты что – опять будешь устраивать Африку?

– Да, надо немножко кровь разогнать. У меня что-то ухо правое ломит надуло, наверно, на реке.

– Ну, тут наши пути-дороги расходятся, – сказал Егорша.

– А ты знаешь, кого я сейчас видел?

– Кого? – спросил Егорша, слезая с полка.

– Попа!

– Какой это, к хрену, поп! Дурак старый – вот кто.

– Да ты знаешь, о ком я?

– Знаю, – невозмутимо ответил Егорша.

Оказывается, Егорша еще раньше его, Михаила, видел Евсей Мошкина, ибо по дороге домой от реки он завернул в правление – узнать, как и что тут делается, в Пекашине, – и нос к носу столкнулся с этим так называемым попом.

– Почему с так называемым? – запальчиво возразил Михаил. – Я еще ребенком был, помню, его попом называли.

– По глупости.

– А за что же тогда его пятнадцать лет катали в лагерях, ежели он не поп?

– Потому что осел на двух копытах. Ему в сельсовете ясно было сказано: брось, говорят, Евсей, всю эту музыку. Не мути народ. Новую жизнь строим, и все прочее... А он, пень упрямый, свое. Ну и гуляй до лагерей. А чего еще с ним цацкаться, раз он русского языка не понимает?

– Хм... – сказал недоверчиво Михаил. – А откуда ты все знаешь? Ты ведь у нас в ту пору не жил.

– Чего знаю? Это что его в лагерь-то закатали из-за своей дурусти? Да уж знаю... – Егорша поплескал в лицо водой из ушата и убежденно сказал: – Нет, это не поп. Такой же Ванек пекашинский, как все прочие. Только мозга еще больше набекрень. Нет, вот я был в прошлом году в Архангельске – это вот да, поп. Идет по улице, сарафан черный до пят – рясой называется. Я еще сперва подумал: баба. Нет, говорят, поп...

Михаил, приспособливая к короткому полку свои длинные ноги, попросил.

– Плесни маленько.

Каменка загрохотала, как пушка. Сухой, каленый жар придавил Егоршу к полу.

– Между прочим, – заговорил он немного погодя снизу, – религия эта много денег на войну собирала.

– Подбрось еще ковшик! – оборвал его Михаил. Он терпеть не мог, когда Егорша начинал говорить с ним вот этим поучающим тоном.

– Ну ты и зверь! Скоро, как мой дедко, в рукавицах хвостаться будешь.

– Давай, давай.

– Да мне-то что – жалко? Вода еще не по карточкам. – Егорша зачерпнул из ушата, отступил, пригибаясь, в сторону. – Господи благослови...

Когда немного спала жара, он ползком стал пробираться к дверям.

– Ну тебя к лешему! Я еще не грешник, чтобы в таком жару жариться. Пошел на водные процедуры. Идешь?

– Говорю, у меня простуда.

Михаил повернулся на бок, прошелся веником по спине, потом, упершись ногами в каленые потолочины, еще раз похлестал колени (с осени сорок второго года, с той самой поры, как он пошел в лес, поскрипывает у него в коленях) и наконец, совершенно обессиленный, выпустил из рук обтрепавшийся веник.

С улицы донесся женский визг, хохот – не иначе как Егорша на кого-то напоролся нагишом, – затем немного погодя за стеной у болота раздался всплеск воды – Егорша нырнул в озерину.

Михаил поспешно слез с полка, кинул жару.

– Ух, ух! – с суматошным криком ворвался в баню Егорша. – Вот теперь и нам подавай градусов.

Щелкая зубами, он с ходу вскочил на полок, замолотил ногами.

– Веник дать?

– Нет, нет, ну его к дьяволу! Не люблю.

– Ты чего это там разорялся? – спросил Михаил, устраиваясь для мытья на чурачок против оконца.

Егорша захохотал:

– Варвару шуганул. Я это выбежал из сенцев, а она воду черпает. Ну и ах, ох! Да... Вот товар залежался. Не знаю только, с какого боку подобраться.

– Че-го-о?

– Не знаю, говорю, какую тактику применить. Бабы, они как лошадь: у каждой свой норов.

– Дурак! Она на сколько тебя старше? Мы сосунки против ей.

– Ты баб не знаешь, – спокойно возразил Егорша. – А они, которые в годах, любят молоденьких. Уж это точно.

– Скажи какой знаток!

– Ладно. Ты про аппетит слышал?

Михаил улыбнулся: сейчас Егорша расскажет какую-нибудь похабель – на всякий случай у него анекдот да притча.

– Так было дело. – Егорша поворачивается к нему лицом. – Баба одна аппетитом маялась. Ну, худо ела, понимаешь? Муж ей и то, и се, всяких там продуктов-пряников в лавке накупит – до войны дело было, – полный стол наставит. Ешь, жена, чего хочешь. Не ест. Как кобыла худая, морду от сена воротит. Ну что ты будешь делать! Вот так-то раз поутру, часов в восемь, угощает муж жену. И опять то же самое: опять не хочу, опять аппетита нету. А мужику за дровами ехать надо, лошадь в упряжке под окошком стоит. "Ладно, говорит, поеду, а ты, говорит, посиди подожди. Должен появиться аппетит". Ну, жена послушная, как наказал муж, так и сделала: сидит у стола, ждет, когда появится аппетит. А тут откуда ни возьмись – солдат, под окошком топает. Разудалый такой Ванюха-хват, с царской службы домой пробирается. Жена, ну эта самая Авдотья, увидела: "Слышь-ко, говорит, тебя, говорит, не Аппетитом зовут?" А солдату все едино – как ни назови. «Аппетитом». – "Да я же, говорит, который день тебя жду. Заходи скорее..." Ну, после полудня возвращается муж с дровами. Рад-радехонек! На столе ни крошки, и жена веселая. "Что, говорит, был у тебя аппетит?" – "Был, говорит. Да такой хороший. Поезжай скорее по сено. Он на ночь обещался прийти..." – Под смех Михаила Егорша закончил: – Видишь, когда еще баба аппетитом маялась. До войны. При живом муже. Соображаешь теперь?

– Сукин ты сын! – сказал Михаил. – И завсегда у тебя какая-то ерунда на уме. Ты лучше скажи, как теперь жить будем.

– А что?

– Как что? Война кончилась, а дальше?

– Тю, нашел о чем горевать. Не беспокойся. Там, наверху, большие мужики газеты читают...

– Да я не про то. Как ты не понимаешь! Вот, к примеру, ты. Я бы на твоём месте учиться мотанул, честное слово.

– Мотай на здоровье. Нынче никому не запрещено.

– Болван! У меня сколько на шее? А у тебя один дедко, да и с того еще ты тянешь...

Егорша повернулся на спину, подложил под голову веник. Затем, помолчав, объявил:

– У меня задача покамест такая – добыть серп с молотом. А дальше поглядим, что и как.

– Чего-то я раньше не замечал, чтобы тебя к кузнице тянуло.

– И сейчас не тянет.

– Дак чего же?

– Мне надо такой серп и молот, – сказал Егорша, потягиваясь, – у которых крылышки. Чтобы подвесился к ним и полетел, куда захотел.

– А, ты вот о чем, – догадался Михаил. – Про паспорт. Не знаю. Сосны да ели и без паспорта нас признают.

– С колхозным леском покончено, – сказал Егорша.

– Это кто тебя отпустит?

В сенцах что-то брякнуло, вроде дужки от ведра, потом Лизкин голос:

– Есть ли жар-то?

Егорша живо приподнялся на полку, заорал:

– Лизка! Потри спину!

– Я те потру. Батогом суковатым. Подойдет?

Когда в сенцах все заглохло, Михаил рьяно, исподлобья поглядел на Егоршу, коротко бросил:

– Ты говори, да знай с кем.

– Ну еще, нельзя и пошутить.

Лизка снова вернулась в сенцы:

– Я из-за этого зубана забыла, зачем и пришла. Тебя Анфиса Петровна ждет. Срочно, говорит, Михаила надо. Так что больно-то не размывайся. В субботу вымоешься.

– Ну вот, – сказал Михаил и невесело усмехнулся. – Не успел одну грязь смыть – другая ждет.

– Да, – сказал Егорша, – колхозная жистянка известна: из одного хомута да в другой. Нет, я нынче поворачиваю на все сто восемьдесят. Баран и тот, понимаешь, башкой иногда крутит, а мы что... Царь природы...

2

Приход председателя на дом, да еще в день приезда из лесу, ничего доброго не сулил – Михаил хорошо это знал по прошлому. Опять какое-нибудь пожарное дело: либо за сеном тащись с бабами на ночь глядя, либо – семенами у соседа разжились – мотай срочно за семенами...

Одним словом, выручай, Михаил. И потому он мрачно, почти с ненавистью покосился на Анфису Петровну, сидевшую на передней лавке с Татьянкой на коленях.

Первые же слова Анфисы Петровны ошеломили его.

Анфиса Петровна посылала его в город. Дело в том, что Лобановы получили от своей невестки письмо (только что, с сегодняшним пароходом), и та пишет, что может помочь колхозу машинным маслом да мазью – на складе работает.

– Я думаю, такой случай упускать нельзя, – заключила Анфиса и своими добрыми и умными глазами посмотрела на него.

Михаил машинально, не раздумывая, кивнул головой: конечно, нельзя. И масло и мазь позарез нужны колхозу. Ведь за эти годы чем только они не смазывали свои немудреные машины! И дегтем, и салом, и всяким варевом, от которого за версту несет воню.

– Поезжай, – говорила Анфиса Петровна. – Заодно и город посмотришь. Я вот до сорока годов дожила – ни разу не бывала.

Михаил в нерешительности посмотрел на ребят, на мать – дел дома куча. А главное – с чем ехать? С картошкой одной в Архангельск не поедешь. Но Анфиса Петровна уже предусмотрела и это – выписала двенадцать кило жита. Фуфайка страшная, стыдно на люди показаться, как говорит мать. Пожалуйста. И этой беде можно помочь. Найдется фуфайка, заверила Анфиса Петровна, и даже костюм Григорьев можно попримерить.

Михаил решил – раздумывать некогда, «Курьер» приходит сверху рано утром.

– Мати, затопляй печь! Лизка, носи мешок!

На колхозный склад он влетел разгоряченным жеребцом – только что не заржал: глаза горят, грудь как мехи кузнечные, и сила такая – все сворочу!

– Из какого мешка? Говори!

Варвара указала на дальний угол.

Михаил затопал – половицы завизжали. Мешок – немалый – поднял играючи, пропер к весам без передышки.

Варвара ахнула:

– Ну, какой ты мужчина стал!

– Растем! – отшутился он. – И ты девкой стала.

– Да, верно что девкой. Опять замуж можно выходить. – И рассмеялась невесело.

А вообще-то молодец баба! Терентия убили в прошлом году, а кто слышал от нее стон? Правда, женки вписали ей это в строку: сердца нет. А может, она назло всем чертям так

делает? Слезу пускать да реветь – это каждый умеет. А ты вот попробуй рот скалить, когда у тебя сердце кровью обливается.

Рот у Варвары красивый, белозубый, смехом налит – нету такого другого рта в Пекашине. И, глядя на ее моложавое, высветленное вечерним солнцем лицо, Михаил вдруг вспомнил давешние слова Егорши. Придумает же, сукин сын!

– Ты чего это развеселился? – спросила Варвара и снизу, от весов, посмотрела на него.

– Да так...

– Знаю, знаю, что у тебя на уме. Я еще тогда – помнишь, в поле ты Дунярку высматривал? – сказала себе: быть моей племяннице за Мишкой! Ух и погуляем на свадьбе!

– Иди ты к черту!

Он ткнул карандашом в ведомость, схватил свой мешок с зерном.

Варвара, довольнехонька, засмеялась (первое это удовольствие для нее вогнать человека в краску), а когда он был уже на улице, окликнула. Подошла, роясь в брезентовой сумке, – начальство, завскладом!

– Ты вот что мне. Чулки городские да подвязки на резинке привези.

Михаил ошалело попятился назад.

– Ну-ну, совала Варвара деньги со смехом, – привыкай. А сам не можешь, Дунярку или Онисью попроси. Там, на рынке, говорят, всякой всячины.

Пришлось принять деньги – дьявол с ней, пускай наряжается.

3

Когда Михаил очень спешил, он обычно ходил задворками либо подгорьем. Потому что стоило ему показаться на улице, как бабы со всех сторон наваливались на него: этой поправь крышу, той подними дверь – каждый раз с боем и она сама, и ребята попадают в избу, а у третьей и того срочнее дело потолок «заходил» над столом.

И он ладил крыши, поднимал двери, подводил всякие подпоры под прогнившие потолочины, отбивал и наставлял косы, рушил постройки на дрова. Да, оказывается, и эта работенка – наводить разруху на деревне – кое-какой сноровки требует. Крепко старики строили – пока бревно от сруба оторвешь, семь потов с тебя сойдет. В общем, его мужские руки нарасхват рвали безмужние бабы.

И то же самое сегодня. Только он выкатился со склада на переднюю улицу да подумал, не лучше ли повернуть обратно, на задворки, – стоп: Окуля Зубатка. Выстала с топором на самом углу – расклинь топорище.

– Давай в другой раз. Я в город еду.

Окуля что-то забормотала себе под нос – насчет совести, насчет того, что она ведь не задаром просит.

И тут Михаил понял, на что намекает Окуля. На то, что он ее должник. В прошлом году травяного настоя брал от скрипа в коленях.

Михаил аж затрясся от ярости. Сколько он этой старой сквалыжине всякой работы переделал – и избу перекрывал, и две весны участок пахал, – а тут про какой-то травяной настой вспомнила!

Ну дьявол с тобой – давай сюда топор.

Вот так и пошло. У Окули топор, у Дуни Савкиной крыша – еще осенью, уезжая в лес, пообещал сменить гнилую тесницу.

– Нет-нет, не могу сейчас! – замахал он руками еще издали. И – мимо.

А Петр Житов не Дуня Савкина – мимо не проскочишь. Петр Житов кого угодно по стойке «смирно» поставит. Ежели не горлом, то своим протезом. Криком кричит у него донельзя разношенный протез.

– Мишка, это правда, что ты в город едешь? Дак вот, мальчик, поручение. И далее Петр Житов усадил его на крыльцо и начал обстоятельно втолковывать, где и как разыскать в городе протезную фабрику. Срок носки протеза у него вышел еще год назад – и почему

никакого внимания к инвалиду Отечественной войны? Неужели он, Петр Житов, не заслужил железной ноги?

Еще хотела заарканить его Раечка Клевакина. Раечка выбежала с маслозавода:

– Эй, приворачивай! Машина сломалась!

Возможно, вполне возможно, что у сепаратора опять какая-нибудь гайка размолосась – старый, одного года рождения с колхозом сепаратор, – но Раечка-то его, конечно, не ради сепаратора звала.

В прошлом году завозились на пожне бабы и девки, штук пятнадцать навалились на него сразу – где тут справишься? И вот чтобы хоть как-то выйти из положения (позор – бабы выкупали!), Михаил уже в последнюю минуту схватил в охапку Раечку и закричал дурашливым голосом: "Эх, уж ежели тонуть, то тонуть только с Раечкой!"

И, наверное, понравилось Раечке их совместное купанье – с той поры она постоянно стала попадаться ему на глаза, даже с Лизкой завела дружбу, чтобы заходить к ним домой.

Лично Михаил ничего против Раечки не имел. Девка красивая, жаркая – зимой в самый лютый мороз в одном платье выбегает с маслозавода дрова колоть. И не жадная – даром что дочь Федора Капитоновича.

Но только ему-то, Михаилу, на кой она ляд сдалась. Разве он променяет когда-нибудь Дунярку на Раечку? Да хоть тысячу Раечек выставь сразу, все равно не получится одной Дунярки.

С Дуняркой они виделись за эти годы раза три, не больше. И то на лету, мимоходом. Потому что Дунярка приезжала домой на каникулы летом, а летом он по неделям безвыездно жил на дальних сенокосах или трубил опять на сплаве, далеко, за десятки и сотни километров спускаясь с багром вниз по Пинеге.

Но была у Михаила одна вещица, которая сильнее всяких встреч вязала его с Дуняркой, – платок, маленький носовой платочек, расшитый Дуняркиными руками.

Этот платочек Дунярка стыдливо сунула ему на поле в сорок втором году, накануне своего отъезда в техникум, и с тех пор Михаил не расставался с ним ни на один день. А как-то раз он забыл его дома в кармане верхней рубахи, которую бросил в стирку. И вот поскакал домой обратно. С сенокоса. За пятнадцать верст. Ибо никто не должен знать про ихнюю тайну с Дуняркой. Ни один человек в мире. Ни чужие, ни свои, домашние. И даже Егорша, хоть он и первый друг.

4

Лизка – молодчага, не сидела сложа руки. Пока он ходил за житом, она заново подтопила печь, и зерно сразу же высыпали на противни, поставили в печь на просушку.

Михаил зажег лучину, пошел с двойнятами в сени: в каком состоянии мельница?

Жернова он поставил у себя в прошлом году – надоело ходить по людям. Опыта у него в этом деле не было, все больше по догадке, на ощупь делал, из стариков тоже никто толково не мог подсказать (Архип Иняхин, знаток по этой части, умер год назад), и мельница получилась так себе – постоянно что-нибудь ломалось. Да и мельников развелось слишком много, весь верхний конец крутил Михайловы жернова, а ведь известно – у каждого мельника своя рука, свой нор – вот и поломки.

Нынешняя поломка, к счастью, оказалась небольшой – соскочил железный обруч с верхнего жернова. Тут, пожалуй, виноват он сам. Плохо вымерил жернов, и обруч сантиметра на полтора сварил больше, чем надо. А клинья всякие и расклинья – крепь, как известно, ненадежная – чуть дерево усохло – и заходил обруч, а то и вовсе слетел с жернова.

– Светите лучше, – сказал Михаил, передавая лучину двойнятам.

Березовые клинья у него были наготове, и он быстро набил обруч. Оставалось еще два дела: похлопотать насчет одежки (может, и в самом деле подойдет костюм мужа Анфисы Петровны) и заскочить к Лобановым.

Он сперва побежал к Лобановым, потому что легче, кажется, зуб вырвать, чем зайти к

Лобановым. У кого по нынешним временам нет покойника в доме, а у Лобановых целых три. И все свежие. Все сорок пятого года. И еще один сын пропал без вести – тот, у которого жена в городе.

Было поздно, солнце уже зашло, и у Лобановых ложились спать. На полу, как страдой в сенной избушке, некуда поставить ногу, вповалку ребяташки и бабы, и Михаил, как журавль, вышагивал между ними, пробираясь к окошку, у которого с хомутом сидел старик.

– В город еду. Чего невестке накажешь?

Трофим то ли не расслышал, то ли на уши легли похоронки, часто замигал раньше у него тоже миганья не было.

– В город, говорит, еду, – громко прокричала ему на ухо Михеевна. Спрашивает, чего Онисье накажешь.

– Ах, в город... – Трофим опять захлопал глазами. – Скажи, чтобы с места не сбивалась. Вот мой наказ. Пушай не выдумывает: домой хочу. – Старик помолчал, кивнул на пол: – Сам видишь...

Выйдя от Лобановых, Михаил свернул сигарку и, высекая искру, по давнишней привычке посмотрел на запад, в ту сторону, где был Архангельск.

Густо горел закат, темное, иссиня-чугунное облако плавилось в его багровом пожарище. А над облаком, над самой вершиной его, нежным, неземным светом лучилась первая звездочка.

Михаил загадал: если облако не задавит звездочку, покамест он идет до дому, – значит, в городе его ждет счастье.

Дома мололи – каменный грохот сотрясал приземистую избу, повесть, двор. Щели в воротах на крыльце были красные от лучины, и вкусно, как на мельнице, пахло теплым, размолотым зерном.

Михаил поглядел на запад. Звездочка была на месте. Чистой серебряной каплей переливалась она над рваной кромкой чугунного облака.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Долго, два с лишним года, холодала кузница у болота. С тех самых пор, как взяли на войну Николашу Семьина. Разве только налетами, когда уж очень припирало, хозяйничал в ней Мишка Пряслин. А вот теперь кузница нараспашку издалека, с передней улицы, видно пламя. И кузнец – залюбуешься: Илья Нетесов. По-солдатски, сплеча бьет молотом.

А в остальном – что изменилось в остальном?

В Пекашине по-прежнему не было хлеба и не хватало семян, по-прежнему дохла скотина от бескормицы и по-прежнему, завидев на дороге почтальоншу Улю, мертвели бабы: война кончилась, а похоронные еще приходили.

Сев из-за холодов начали поздно, как раз в то время, когда из малых речек выпустили лес. Из района полетели телеграммы, звонки – все как раньше:

– Минина, Минина... Людей давай... Минина, Минина... Мать тебя так...

Анфиса огрызалась, на брань отвечала бранью (научилась за эти годы лаяться с районщиками), а потом за плуг сама встала, на все – и на звонки, и на телеграммы – махнула рукой. И так было до тех пор, пока в Пекашино не нагринул сам.

Сам – это первый секретарь райкома Подрезов, сменивший Новожилова осенью сорок второго года. У Новожилова рука была мягкая, из-за нездоровья по району ездил мало, а этот – где заминка, там и он. И его не проведешь. Тутушний. На деревянной каше вырос. Пинегу выбродил с багром в руках чуть ли не от вершины до устья и людей знал наперечет. За это Подрезова любили и уважали, но и боялись тоже. Ух как боялись! Уж если Подрезов возьмет кого в работу – щепя летит.

Анфиса вбежала в правление – на ногах пуд грязи, вся в пыли, черная, как холера: не до переодевания, когда сам вызывает.

Подрезов был не один – с Таборским, начальником райсплавконторы, и Анфиса сразу решила: насчет сплава приехали.

Ошиблась.

Подрезов заговорил о себе.

– Пашем помаленьку, – сказала Анфиса.

– А почему не побольшеньку? – Тут черная хромовая кожанка, известная в районе и старому, и малому, заскрипела, и Подрезов поднял на Анфису свои холодные, зимние глаза.

– Побольшеньку-то, Евдоким Поликарпович, будем, когда фронтовиков дождемся. Тогда развернемся.

Подрезов не принял ее нечистую, заискивающую улыбку. Лицо его, крупное, скуластое, будто вытесанное из красного плитняка, оставалось неподвижным.

– А как у тебя с глазами, Минина?

Анфиса, бледная, посмотрела на Таборского (тот все еще красными, озябшими руками обнимал печку): о чем он? с какой стороны ждать ей нагоняя?

– Как, говорю, насчет зрения? За версту еще видишь?

Вот тут Анфиса сразу поняла, куда гнет секретарь. Худой берег в версте от Пекашина, и там на днях обсох лес.

Она начала оправдываться: не колхоза это, дескать, вина. Сплавщики виноваты. Они бон ставили.

– Ты, Анфиса Петровна, с больной головы на здоровую не вали. Знаем твою политику.

Подрезов, не глядя на Таборского, махнул рукой: не лезь, когда не спрашивают. И опять его вопрос Анфису сбил с толку:

– Почему не вижу тут Мошкина? – Подрезов поднял со стола список колхозников – трепаный-перетрепанный серый лист, так как каждый районщик, приезжая в колхоз, начинал свое дело с изучения этого списка.

– Это вы про Евсея?

– Про него самого.

– А он не колхозник.

– А бревна катать только колхозникам разрешается? Или ты его для старух бережешь? Смотри, Минина, не вздумай скит староверский развести.

Подрезов вырвал из блокнота листок бумаги, записал карандашом: Мошкин Е. Т.

– Еще кого даешь?

Тут в контору вошли Илья Нетесов и Михаил Пряслин – и кончилась стужа: Подрезова будто подменили.

Встал, тому руку, другому – сразу обе протянул, затем выставил на стол большую банку с самосадам (сам не курил, но табак с собой возил), и глаза лазурь июльская. Умеет, умеет людей брать с ходу. Кого битьем, кого лаской гнет.

– Ну, как обживаешься, солдат? – обратился Подрезов к Илье.

– Спасибо, товарищ секретарь. Не обижаюсь.

– Мешок цел еще, в котором принес Победу?

Илья смутился, дотронулся рукой до жидких соломенных усов – большой мужицкой рукой, уже успевшей зачернеть в кузнице, – одернул солдатскую гимнастерку с медалями и орденами. А вообще-то Илья мало походил на того лихого воина-победителя, каким его рисуют на плакатах. Лицо широкое, мягкое, туловище в наклон – не распрямила война: топор да пила (а кто больше его в Пекашине помял лесу?) оказались сильнее. Но что правда, то правда – Илья Нетесов был первый солдат, который вернулся в район вскоре после победы. Об этом даже в районной газете писалось.

– По существу, твой солдатский мешок надо бы в музее хранить, – продолжал Подрезов. – Да у нас такого покуда нету. Да, нету. А неплохо бы занять. У Пинегы есть кое-какая история, и немалая... – Подрезов расправил плечи, снова сел за стол. – Так-так.

Значит, армия претензий к нам не имеет. Ну а у нас к армии претензия. Председатель на тебя в обиде. – Тут Подрезов и на Анфису покосился игриво. – Нетесов, говорит, значения сплава не понимает.

– Нет, отчего же...

– А ты, Пряслин?

Михаил усмехнулся: какой дурак будет отказываться от хлебной работы?

– Так что же это получается, Минина, а? Колхозники, выходит, сознательнее председателя. Так?

Это была нечестная игра, с подножкой. Но Анфиса смолчала. Теперь-то она понимала, зачем были вызваны Илья и Михаил. Чтобы проучить ее. Руками народа, как говорили в таких случаях.

Когда Илья и Михаил вышли из конторы, Подрезов сказал:

– Ну вот что, Минина. Поиграли – и хватит. Теперь, надеюсь, ясно, что к чему.

Он взял карандаш и начал выстукивать по столу – жест, за которым следовал или новый нагоняй, или окончательное решение.

– К вечеру всех выгнать к реке.

Анфиса побледнела:

– А как же сев?

– А ежели лес обсохнет, тогда что? Раненько демобилизовалась...

Все – разговор окончен. Раз Подрезов начал грохотать тяжелой артиллерией (демобилизация, антигосударственная практика, саботаж, близорукость – смысл этих слов хорошо был известен Анфисе) – зажми рот, не возражай. Правда, эти страшные слова полетят в нее и в том случае, если она завалит сев, но сейчас не время доказывать свою правоту. Сейчас ей оставалось одно – попытаться извлечь из сложившихся обстоятельств хотя бы маленькую пользу для своих колхозников. И она издали стала закидывать удочку:

– Холод в воде-то бродить. У людей обутки нету.

– Вот это уже дело говоришь, – сказал Подрезов. – Но обутки не будет. Нету. Будем обогреть изнутри. Сплавконтора, слышишь?

Таборский вытянулся.

– Сколько у тебя в наличии сучка?

– Не знаю, Евдоким Поликарпович... Может, литра полтора-два и наберется.

– Пять, – сказал Подрезов.

– Евдоким Поликарпович... – взмолился Таборский.

– Пять – и ни грамма меньше. Да смотри не вздумай жулить – воды подливать. Я еще кое-что понимаю в этом деле. – Подрезов насмешливо блеснул светлыми глазами.

– И хлеба бы подкинуть надо, – продолжала цыганить Анфиса.

– Грамм пятьсот на нос подкинь. Нет, шестьсот, – поправился Подрезов.

– С хлебом не выйдет, Евдоким Поликарпович...

– Я, по-моему, ясно сказал. Шестьсот грамм на человека. – Подрезов встал. – Растяпа! Тебя люди выручают, а ты еще торгуешься...

2

– Идут! – крикнул Егорша и стремительно, как на лыжах, скатился с глиняного увала.

– Идут! Сам Подрезов впереди.

Сплавщики – пять парней Егоршиного возраста – быстро распинали костерик, у которого отдыхали, и, похватав багры, побежали к реке: Подрезов любит рабочее рвение.

Вскоре на гребне увала, там, где стоял в дозоре Егорша, появилась хорошо знакомая плотная фигура в черной кожанке.

– Видишь, что ты натворила своей бабской прижимистостью, – сказал Подрезов Анфисе, указывая на курью. – А подбросила бы вовремя человек шесть, не было бы этой заварухи. Так?

Подрезов был прав. Вся курья под Худым берегом была сплошь забита лесом. Место это всегда считалось гибельным для сплава. Пинега, как лук натянутая под Пекашином, сначала бьет своим течением в красную, почти отвесную щелью на той стороне, затем, оттолкнувшись от нее, с удвоенной силой обрушивается на низкий пекашинский берег за деревней. Поэтому курью каждый раз отгораживают от реки длинным бревенчатым боном. Поставили сплавщики бон и в этом году, но напор леса, выпущенного одновременно из нескольких речек, оказался так велик, что бон не выдержал – треснул, и бревна, как стадо баранов, хлынули в курью.

Анфиса привыкла к авралам за эти годы. И не предстоящая работа пугала ее. Но время? Сколько времени они пробьются с этой курьей? Хорошо, если суток двое-трое, тогда еще можно как-нибудь вытянуть сев. А ну как неделю придется топтаться на берегу?

Людей ждать не пришлось. Пайка хлеба подняла на ноги всю деревню. Даже учителя прибежали. Даже Петр Житов на своем скрипучем протезе прихрамал. И Анфиса подумала: "Ах, если бы такая приманка была и на севе". Но, конечно, она понимала: не в одной пайке дело. Подрезов, Подрезов с народом!

Видала она первого секретаря в работе. И в лесу с топором видела, и на сенокосе, и на сплаве – сколько раз с ним сталкивалась! А вот как умеет подать себя – каждый раз смотришь на него заново.

Подрезов не стал пороть горячку. Не закричал: "Эй, вы, такие-рассякие! Давай, живо!" Наоборот, дал людям передохнуть, отогреться у костров, которые по его приказу запалили по всему берегу. И уже одни эти костры сразу приободрили людей: любо-весело работать, когда огонь под боком.

Но главный-то свой козырь Подрезов бросил позднее, когда вдруг начал снимать кожанку.

– Сам, сам будет! – восторженно зашептали вокруг.

К Подрезову тотчас же со всех сторон протянули багры: выбирай, какой по душе.

И начался выбор.

И опять-таки, ежели говорить всерьез, что тут особенного – выбрать инструмент, которым будешь работать? А у Подрезова это целая картина.

Первый багор, протянутый каким-то подростком, он забраковал, вернее, сломал: навалился всем телом на шест, и тот хрупнул.

От багра Михаила Пряслина Подрезов отказался сам: тяжеловат.

– Где мне с таким управиться! Ростом не вышел.

Сказано это было, конечно, специально для того, чтобы отличить парня.

Выбрал для себя Подрезов багор Егорши ("Вот этот мне подойдет"), и Егорша чуть не заулюлюкал от радости: не каждый день услышишь такие слова от первого секретаря.

В общем, трудно сказать, как все это вышло, а только за каких-нибудь двадцать-тридцать минут Подрезов так накалил молодняк, что тот готов был ради него и в огонь, и в воду. Да если правду говорить, то не только молодняк захватил подрезовский азарт. Он захватил и Анфису. А главное, ей тоже хотелось, чтобы Подрезов похвалил и ее.

3

Курью очистили от леса к концу следующего дня – ровно на сутки раньше, чем наметил Подрезов, – и это была такая радость, что бабы, несмотря на усталость (больше суток не спали), домой побежали ходко и говорливо.

В воздухе заметно потеплело, пахло забродившей землей, горелым навозом. Пряслинские ребята несли первую рыбу от реки – вязанку серебристых ельцов. Но удивительнее всего были первые цветы. Много их, золотистых звездочек мать-и-мачехи, загорелось за нынешний день на взгорках, на межах, на закрайках полей, и девки, и бабы помоложе на ходу срывали их, подносили к носу, а Груня Яковлева, с часу на час поджидавшая мужа-фронтовика, стала собирать из цветов букетик.

– Надо, бабы, – говорила она, улыбаясь и как бы оправдываясь. – Ведь он там Европы всякие освобождал – привык к цветам.

– А ты, Минина, чего отстаешь? – спросил Подрезов.

Когда Подрезов интересовался твоими домашними делами – верный признак того, что он доволен тобой. И Анфисе бы радоваться надо, а она быстро-быстро нагнулась, чтобы скрыть свою внезапную бледность, и только тогда глухо ответила:

– Он не скоро еще приедет...

В День Победы Анфиса получила две поздравительные телеграммы. И обе телеграммы кончались словами: "Скоро увидимся". Первая телеграмма была от мужа, а вторая – от Ивана Дмитриевича. И вот когда она поняла, что попала в круговерть...

Если бы она написала мужу еще в войну, так и так, мол, встретила человека, хватит, измытарились мы с тобой, – ей бы не в чем было упрекнуть себя. Все по-честному. Не она первая расходится с мужем, не она последняя. Но как раз вот этого-то она и не сделала. Не хватило духу. Пожалела. Рассудила по-бабьи: пускай спокойно воюет. Потом разберемся.

И вот подходит время – надо разбираться.

Нет, не встречи с мужем она боялась. Не Григорию корить ее за измену. И даже если бы не вернулся к ней Лукашин, она знала: к старой жизни возврата нет. Но бабы, бабы... Что скажут ей бабы, с которыми она прошла через все муки войны? Поймут ли ее?

Нет, не поймут. А, скажут, вот какая ты сука оказалась. Мы волосы на себе рвали, глаза все проплакали из-за того, что мужики наши не вернулись. А у тебя какое горе? Как от мужика родного отделаться? Да?

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

– В ресторане «Арктика» был? Попил пивка из толстой кружки? Не был? В ресторане-то? Да как же ты сумел обойти? Там ведь очередь – ой-ой-ой! – на километр. Мы еще едва в цирк не опоздали – целый упряг выстояли. Че-го-о? Ты и в цирке не был? И эту самую бабу на львах не видел? Да ты что, едрена вошь! Нда, съездил, называется, в город, подзаправился культуркой... Ну уж футбол-то, я думаю, в глаза залез. Я в прошлом годе, даром что в натуре до этого не видел, сразу понял, с чем едят-кушают. Мужики, эдакие лбы, в трусах напоказ бегают, публика орет, в ладоши хлопает: давай, давай! Со мной Кузьма Кузьмич был, начальник лесопункта, – глаза на лоб. "Егорша, говорит, да как же это? У нас, говорит, бабы всю войну без выходных вкалывают, а тут среди бела дня чуть не всем городом за мячом гоняются". Понимаешь, какая дикость? Чё-чё? Ты и футбол не видел? – Егорша даже привстал: так изумил его ответ Михаила. Да что ты там вообще видел? За каким хреном тебя туда носило?

– За мазью! Сказано тебе.

– За ма-а-зью... Пенек пекашинский! Ты что же, банки с мазью все время караулил? Надо же! Первый раз в городе – да не осмотреть все как следует. Псих! Ей-богу, псих. И на рынок не заскочил. Трудно? Просил ведь: зайди, купи зажигалку с девахой. Денег дал, обрисовал все как надо. Ежели у самого сообразильник работает с перебойями, Дунярку бы подключил... – Егорша сердито подбросил в костер две белые смолистые щепины, проследил глазами за искрами, полетевшими к небу.

Ночь была тихая и светлая. Не успел отыграть закат, как начал румяниться восток. По Пинеге густо, россыпью шел лес. Лобастые бревна, как большие рыбины, с глухим стуком долбили заново поставленный бон. Бон поскрипывал, вода хлюпала в каменистом горле перемычки. А на той стороне в сосняке задорно чуфыркал косач, посвистывали рябчики и звонко-звонко – через реку – зазывали друг друга в гости легкие на подъем зуйки.

– Нда, – уже другим тоном сказал Егорша, – никогда не слышал, чтобы в июне косач да

ряб паровали. А все из-за холодов. Не отгуляли вовремя, ну и нажимают... А вон-то, вон-то! Шантрапа-то! – вдруг оживился Егорша, указывая на реку. – Эй, далеко ли без хлеба?

Вода на середине реки, малиновая от зари, была утыкана белыми флажками плыли трясогозки. Каждая на отдельном бревне. Длинный хвостик вытянут в струнку, грудка развернута по течению.

– Куда это они? В Архангельск? – усмехнулся Егорша. – Вот какая у них серьезность на воде! А на земле вертлявее птички нету.

Михаил проводил глазами трясогозок до поворота реки и опять уставился в огонь.

– Ты чего? Совсем очумел после города? Какая там тебя муха укусила?

– Отвяжись! Сколько можно!.. Талдычит одно и то же.

Егорша с силой ткнул палкой в костер, встал, взял багор и начал спускаться к бону, который им поручили охранять до утра.

Мокрые бревна скользили под его босыми ногами, покачивались, но он быстро растолкал прибившиеся к бону лесины. Затем напился, постоял-постоял, глядя на реку, и вдруг заорал во все горло:

– Эхэ-хэ-хэ-хэй!

Зычное эхо прокатилось по ночной Пинеге, выскочило на тот берег и побежало, аукая, по верхушкам сосняка.

– Ну, по-летнему заиграло эхо, – сказал Егорша, возвращаясь к огню. Дождались и мы красных дней. Теперь не житье, а малина на сплаве будет. Просись к нам в бригаду.

Михаил вздохнул. Красные отблески золотили его карие задумчивые глаза.

– Чуешь, что говорю?

– Легко сказать...

– Чудило! Ты к самому Подрезову толкнись. Так и так: хочу на передовой участок. Лесной фронт. Комсомол... Да мало ли чего можно наворотить.

– А сев как? Кто меня отпустит?

– Ну, ежели ты такой жук навозный, страдай за всех. Мое дело подсказать. Сообрази! Лес-то теперь знаешь как нужен? Газеты надо читать, – с насмешливой назидательностью добавил Егорша. – А меня, думаешь, сразу отпустила Анфиса Петровна? Ого-го! Пришлось не один раз заходы делать.

– Ладно, попробую, – сказал Михаил.

С реки потянуло зябким туманом. Приближался восход.

Егорша стал устраивать возле костра лежанку. Положил несколько щепок на землю, на них набросал старых ивовых веток, в изголовье кинул подсохшие сапоги.

– Смотри не простудись, – сказал Михаил.

– Ничего. Есть кое-какая закалка. – Егорша широко зевнул. – А спирт-то у Подрезова – охо-хо! Я воды хватил, снова под парами.

Он лег на приготовленную постель, помолчал, глядя в светлое подрумяненное небо, и вдруг приподнялся на локоть.

– Слушай, а как ты в размышлении насчет Раечки Клевакиной... моей соседки?

– В каком размышлении?

– Как, говорю, насчет картошки дров поджарить? – Егорша коротко хохотнул.

– Болван! Еще чего придумаешь.

– Тогда, чур – Раечка за мной. Так и затвердим. Согласен? У меня, когда я ее вижу, температура делается. Ей-бо!

Гулко выстрелил угольком костер. Белый тонкий мундштучок папироски, которой напоследок разжился Егорша у Таборского, дымил в зеленой травке недалеко от его лица. Егорша быстро заснул. Лег на бок, зевнул и тотчас же запосвистывал. Тонко, как ряб.

Михаил снял с себя фуфайку, прикрыл его голые ноги.

Егорша не пошевелился.

Тогда Михаил снова сел на свое место к огню, достал из грудного кармана берестяные корочки.

За три года корочки потрескались, залощились, дратва, которой они были прошиты по краям, побелела, взлохматилась, а платочку – ни-ни, ничего не подеялось. Только немножко повытерся да посерел на сгибах.

2

Ему показалось, что Дунярка покраснела и как-то смущенно и даже растерянно переглянулась со своими подружками. Но в следующую секунду она уже стояла перед ним и с улыбкой протягивала руку:

– Здравствуй.

Пожатие было беглое, летучее, словно она это делала по необходимости. И вообще в этой высокой полногрудой девахе, одетой по-городскому, он с трудом узнавал прежнюю, тоненькую, как хворостинка, Дунярку. Все изменилось у нее за год: и одежда, и прическа, и даже рост. Впрочем, насчет роста скоро разъяснилось: она была в туфлях на высоком каблуке.

Дунярка была довольна впечатлением, которое произвела на него. Он понял это, на мгновение встретившись с ее карими глазами. И, может быть, вот только эти карие глаза, всегда такие самоуверенные и насмешливые, – может быть, только они и остались от прежней Дунярки.

Она тряхнула косами – тоже новая привычка.

– Что же ты стоишь? Садись. Да сними, сними свой малахай. А я-то думаю: почему у нас, девчата, все еще холодно?

Девчата рассмеялись. Конечно, это была шутка, но Михаилу она не понравилась.

– Ну вот, он и обиделся. А мы всегда смеемся. Смех – это лучший витамин. Верно, девочки?

Девочки охотно закивала. И ему стало ясно: Дунярка и тут командует. Да и как ей не командовать, если подруги ее просто замухрыги по сравнению с ней!

– Чаю хочешь?

– Нет.

– Имей в виду: у нас пять раз не предлагают. Это тебе не деревня-матушка.

Подружки опять захихикали. И на этот раз рассмеялся и он. В конце концов чего на осадки дуть, когда все настроились на ведро?

Вытирая пот со лба – тепло было в общежитии, – он завел общий, для всех интересный, как ему казалось, разговор о том, что вот они скоро станут агрономами, поедут в деревню и – ой-ей-ей, какая работа их ждет: ведь ни в одном колхозе сейчас нет севооборотов; но Дунярка фыркнула: "Тоже мне агитатор-пропагандист!" – и разговор оборвался.

Он думал: во всем виноваты Дуняркины подруги. Это ради них, замухрыг, старается она. Чертов характер! Завсегда надо верховодить, чего бы это ни стоило. Но на улице не стало легче.

Они шли по проспекту Павлика Виноградова и молчали. Люди – нету спасенья от людей. Спереди, с боков, сзади. Солнце шпарит в глаза. И Дунярка губы закусила – будто удила у нее во рту.

Он заговорил первый:

– А ты настоящей горожахой стала. Смотри-ко, все на тебя заглядываются.

– Это на тебя, – не поднимая головы, сказала Дунярка.

– Почему на меня?

– А здесь любят, когда по улице ряженные ходят.

– Ты о моей шапке? – Михаил остановился. – Ну хочешь, я заброшу ее к чертовой бабушке?

– Не говори глупостей. Рассказывай лучше, как там мама, тетка?

Приноравливаясь к ее четкому, упругому шагу (красиво она шла, гвозди забивала, а не шла, – недаром все мужики пялили на нее глаза), он стал рассказывать о матери, о Варваре,

затем, чтобы доставить ей удовольствие, сказал:

– А ты, между прочим, шибко стала смахивать на свою тетку. Ей-богу!

Расчет его оказался безошибочным. Густой румянец расплылся по Дуняркиной круглой щеке.

– Ну уж и на тетку, – сказала она с неожиданной застенчивостью. – Тетка у нас красавица. Куда мне.

Он сразу воспрянул, снял с головы шапку.

– Догадался-таки, – улыбнулась Дунярка.

И он улыбнулся ей. Ну с чего он взял, что она стыдится его? Ведь вот же зацепил ее самолюбие, и все вернулось к старому. И это не беда, что она постоянно задирает его. Не спи! Такие шикарные девахи лопухих не любят.

Дунярка насмешливо повела бровью.

– Ты в цирке бывала? – спросил Михаил, окончательно решив взять инициативу в свои руки.

– Тоже спросишь! В городе живу – да в цирке не бывала.

– Давай сходим в цирк?

– Цирка еще нету. Он у нас приезжий.

– Жалко. Ну тогда вот что – пойдем в ресторан?

– Давай лучше в садик, – сказала Дунярка.

В садик? Да, они стояли у входа в березовый садик. И этот маленький садик, эта солнечная березовая благодать, так неожиданно сменившая шум и грохот большого города, рассеяла последние остатки того тягостного отчуждения, от которого ему было не по себе с самого начала их встречи. И Дунярка стала прежней, пекашинской. И, садясь на белую пустую скамейку в дальнем углу садика, она сказала:

– А правда, здесь хорошо?

– Ага, – ответил он и вдруг приглушенным голосом добавил: – А помнишь, мы тогда на клеверище у реки сидели? Похоже.

У нее удивленно выгнулась бровь, затем она скачала:

– Да, вот и мы с тобой выросли. Мне уже девятнадцать. Старая дева. – И рассмеялась.

– Ждут тебя, – сказал Михаил. – Анфиса Петровна зимой еще на собрание говорила: "Не тужите, говорит, бабы, – скоро свой агроном у нас будет".

Дунярка задумчиво скovyрнула носком туфли старый березовый лист, влипший в дорожку. Тонкий городской чулок заиграл на солнце.

– Да, вот что, – вспомнил он. – Тетка твоя чулки просила купить, и с этими... как их... с резинками. Как хошь, а выручай. Я в этом деле, сама знаешь...

Дунярка поджала ноги.

– Дурит тетка.

– А чего? Пускай наряжается. Она у нас любую девку еще заткнет за пояс.

– Чулки-то здесь не растут на березах.

– Ну уж ты не считай нас за нищих. Кое-что имеем. – Михаил хлопнул по оттопыренному карману штанов, затем откинулся на спинку скамейки, сказал, мечтательно скосив глаза: – Эх, жалко, что у тебя еще экзамены, а то бы вместе домой поехали.

– Не знаю...

В голосе Дунярки ему послышалась неуверенность. Работа будущая страшит?

– А чего знать-то? Агрономь! Зря тебя, что ли, учили?

Дунярка резко тряхнула косами. В черных зрачках ее белыми точками запрыгали березы.

– Ну положим... меня учили? Училась-то я сама. Знаешь, как я жила? И нянькой была, и донором была, и полы мыла...

– А ты думаешь, у нас рай был?

– Чудак, – усмехнулась Дунярка. – Да я ничего не думаю. Понимаешь... – Она покусала губы. – У меня тут один лейтенант знакомый есть... Замуж зовет... Как думаешь? Идти?

Он с первой минуты косился на маленькие граненые часики на металлической цепочке, которые красовались на ее смуглой полной руке повыше запястья, и все никак не мог понять: откуда? где взяла? А теперь наконец понял. И он сказал глухо:

– Иди...

Первыми упали в огонь берестяные корочки, потом платочек.

Егорша, как истый лесоруб, моментально проснулся. Привстал, повел носом.

– Паленым пахнет – не горим?

– Нет, – сказал Михаил, – я это тряпку сжег.

– А, так, – сказал Егорша и снова лег.

– Егорша? А, Егорша? – немного погодя позвал Михаил.

Егорша не откликнулся. Егорша спал. У него была поразительная, прямо-таки счастливая способность засыпать сразу.

3

Со сплавом, как и думал Михаил, ничего не вышло. Анфиса Петровна и слушать не захотела, когда он заикнулся об этом. Нет и нет.

– Почему нет? – заартачился было он. – Егоршу небось отпускаешь. Чем он лучше?

– То Егоршу, а то тебя. Без Егорши-то мы проживем, а без тебя... не знаю... Верно, верно говорю, Михаил... – И тут она еще сказала: – Потерпи маленько. Больше терпели. Всю войну вместе прошли – давай уж до фронтовиков дотянем.

И он сдался. Кто-то должен же ковыряться в земле. Ведь за время войны где только не распахали залежи да пустоши. А потом – надо правду говорить выручала их Анфиса Петровна в войну, крепко выручала. Да если бы не она, Анфиса Петровна, им бы и избы новой не видать. Это она первая сказала: "Михаил, ставь избы". И на неделю согнала людей – всех, у кого хоть мало-мальски топор в руках держится.

Вот так и не удалось ему начать новую жизнь, о которой столько они говорили с Егоршей нынешней весной.

И он опять пахал, сеял, ставил изгороди.

За этой работой как-то незаметно наступило лето.

Дружно, словно наверстывая упущенное время, полезла молодая трава. Распустился кустарник. И уже комар начал оттачивать свое жало на лошадях и пахарях.

По утрам его будили журавли. С повети, где он теперь спал с братьями, хорошо были слышны их позывные, когда на восходе солнца они летели с пекашинских озимей на заречные болота.

За неделю тяжелой работы Михаил высох и почернел, как грач. Он сжег Дуняркин платочек, железный обруч набил на сердце, но куда деваться от памяти?

Шагая за скрипучим, вихляющим плугом, переезжая с одного поля на другое, он постоянно наткался на места, напоминавшие о ней. То это был Попов ручей, где он вызволял заплаканную Дунярку с Партизаном, то Абрамкина навина – тут Дунярка стыдливо сунула ему вышитый платочек, то старое клеверище у реки, где они сидели на жердях в тот душмяный вечер...

Сколько же воды утекло с того вечера! Нет больше в живых Насти Гаврилиной – не вышла из больницы на своих ногах, под холстом привезли домой. Нет в живых Николаши Семьина, его первого учителя по кузнечному делу, да и клеверища, того розового пахучего поля, на котором впервые у него как-то незнакомо и тревожно забилося сердце, того клеверища тоже нет – он сам дважды запахивал его под рожь...

Как-то раз, возвращаясь из дальней навины, где его только что сменил за плугом Илья Нетесов, Михаил неожиданно для себя услышал песню:

Летят утки и два гуся,
Кого люблю, не дождуся...

Кто же это поет? – подумал он. Варвара? Только она да девчонки еще не разучились петь.

Нет, голос у Варвары другой – веселый, с колокольцами, – а этот был задумчивый и грустный, похожий на рыдание кукушки.

Михаил поднялся из березового перелеска на зеленый взгорок и увидел Анисью Лобанову. Анисья боронила, сидя на брюхатой пегой кобыле. Дождя давно не было, и густая полоса пыли тянулась за бороной по полю. Первой его мыслью было скрыться в кустах, но Анисья уже заметила его и замахала рукой.

Анисья и ее дети тяжелым камнем лежали на его совести. В тот вечер, когда они расстались с Дуняркой в садике, у него все перемешалось в голове, и о Трофимовых ли наказаниях ему было помнить? А назавтра было уже поздно. Назавтра Анисья, едва встали дети, объявила: "В деревню едем! К дедушке!" И такой тут поднялся переполох, так обрадовались ребятишки, что у него не хватило духу сказать правду. "Ну как хорошо, что ты приехал, – говорила Анисья. – В бога не верю, комсомолкой была. А тут сам бог тебя послал. Куда бы я с ними попала?" Так вот по его вине Анисья с детьми и тронулась в Пекашино.

Он передал ей наказ свекра уже на пароходе. "Я знаю, все знаю. Да я тоже до краю дожила. От Тимофея вестей с первого дня войны нету. Квартиру у нас разбомбило – дети летом замерзают. Сам видел, в какой конуре живем. Пускай они, думаю, в деревне хоть на солнышке отогреются. – И пошутила: – Солнышко-то у вас ведь еще не по карточкам?" – "Ну правильно, – поддержал ее Михаил. Живем же мы – не умерли".

Но все-таки он старался не попадаться на глаза Трофиму, потому что как ни крути, а это по его вине свалилось на старика еще три голодных рта, да и Анисью по возможности обходил стороной.

Подъехав к нему, Анисья, не слезая с лошади, сняла с головы клетчатый платок, стряхнула с него пыль. Волосы у нее были темные, с сильной проседью, а подстрижены коротко, как у школьницы. И платок она повязывала тоже необычно, вроде повойника, узлом на затылке. Все это шло от неизвестной ему комсомольской моды двадцатых годов, давно уже забытой и в городе, и в деревне.

– Ну, как живем? – спросил Михаил.

– Хорошо живем.

– Хорошо? – Он внимательно посмотрел Анисье в лицо. Первый раз за эти годы он слышал, чтобы человек не жаловался на жизнь.

По ее просьбе он выломал ей рябиновую вицу, затем – уже сам – поднял борону, очистил зубья от лохматой дернины.

– И с дедком поладили?

– Поладили. Теперь с ребятами на повесть перебрались. Как на курорте живем.

Вот женка! – думал Михаил. Сама держится и на других тоску не нагоняет. Кто-кто, а он-то знал, какой сейчас курорт у Трофима Лобанова.

– Слушай, – крикнул он ей вдогонку, – ты бы зашла к нам! Мати молока плеснет!

Анисья не обернулась. Облако пыли, поднятое бороной, накрыло ее вместе с лошастью. Но клетчатый платок ее, алый от вечернего солнца, долго еще был виден ему с тропинки. И он вдруг спросил себя: какого же дьявола ты раскис? Ведь вон как жизнь корежит людей, а ничего – зажали зубы.

Дома он с наслаждением умылся до пояса, переоделся в чистую рубаху.

Лизка, ставя на стол латку со свежими ельцами (Петька и Гришка редкий день возвращались от реки с пустыми руками), заметила:

– Ну, слава богу, и ты на человека стал похож. А то не знаешь, с какого бока к тебе и подойти.

– Да ну!

– Правда. И Раечка меня спрашивала.

Из чуланчика уже в который раз подавала голос Татьяна:

– Лиза, Лиза, скоро ли?

– Чего ей там надо? – спросил Михаил.

Лизка хитровато подмигнула:

– Подожди маленько. К нам гости приехали.

Что за ерунда? Какие еще гости?...

Минут пять в чуланчике шло совещание шепотом, потом шепот стих, и из задосок вышли две барышни в голубых платьях в белую горошину.

Михаил ахнул:

– Откуда у вас новые платья?

– Лизка сшила. Она все умеет. Да, Лиза?

Лизка порозовела от похвалы.

– Неужели не видел, как я по вечерам шила? Я и тебе сошью. В праздник в новой рубахе будешь.

– В какой праздник?

– На вот, проснулся. Обсевное! Варвара-кладовщица да женки когда уж теребят председательницу: "Давай, говорят, нам праздник. Заработали за войну. Мы, говорят, как люди хотим жить".

– Вот как! Первый раз слышу.

– А завтра бабы корову будут загонять в силосную яму, да, Лиза? – выложила последнюю новость Татьяна, за что и была награждена легким подзатыльником: не плети, мол, чего не надо, не суй свои длинный нос в каждую щель.

– Что, ведь ему можно, – надулась Татьяна.

– Да, – сказал Михаил, – дело у вас поставлено. – И улыбнулся, дивясь хитрости и изобретательности пекашинских баб.

А впрочем, разве по другим деревням не то же самое? Скотину колхозную забивать нельзя – на это есть специальный закон. А вот ежели ту же скотину да подвести под несчастный случай, да составить акт – тогда претензий никаких.

Михаил дососал головку последнего ельца, вышел из-за стола.

– Егорша не заходил? Махры не оставил?

Лизка обиделась:

– Ты хоть бы посмотрел на нас. Зря, что ли, мы переодевались? – Затем, кусая губы, спросила: – Ну как, покрасивше ли я в новом-то платье?

– А я? – выступила вперед Татьяна.

А может, так вот и надо жить, как Лизка? – думал Михаил, выходя на крыльцо. Есть новое платье – и радуйся. Чего загадывать вперед?

Он прошел на дорогу перед своим домом. Не попадет ли на глаза какой-нибудь курильщик?

Никого вокруг не было. Илья Нетесов на поле, идти к Петру Житову далеконько, а к Егорше еще дальше... Нет, вздохнул он, придется, видно, куренье отложить до прихода Егорши, а сейчас, пока есть свободная минутка, надо взяться за изгородь.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Сыновей своих Илья уже не застал дома. Ребята малые – одному шесть, другому пять, – разве хватит у них терпения дожидаться отца, когда Егорша с утра скликает народ гармошкой? А вот Валентина – ума побольше – без отца не ушла. И задание его выполнила: хорошо, до блеска начистила боевые отцовские регалии.

Марья, как увидела его во всем этом великолепии, ахнула:

– Ну какой ты, отец, у нас красивой! Я не знаю, как мне с тобой и идти.

Было тепло, солнечно на улице. Пахло распутившейся черемухой (много ее в Пекашине, весь косогор в белом цвету), и красиво, дружно зеленела молодая травка под горой на лугу.

До правления они шли вместе, рука об руку: он посередке, а Марья и дочка рядом. А тут, у правления, пришлось расстаться, ибо Марья вдруг решила, что к народу он должен подойти один, без них.

– Вишь, ведь машут, – заметила она. – Это не нам с Валентиной, солдату машут.

И верно, в конце улицы, напротив зеленой ставровской лиственницы, лебедями, чайками бились белые бабы платки.

Илье не приходилось бывать на парадах, он не хаживал перед начальством в строю (в августе сорок первого их прямо с поезда бросили в бой), только раз на свой страх и риск он продубасил районные мостки в солдатской шинели. Три недели назад, когда ехал домой с войны. Продубасил потому, что нельзя было иначе. Из окошек на тебя смотрят, из учреждений, канцелярий выбегают ("Привет победителю!"), ребяшня гонится по сторонам, а ты что же – тяп-ляп? Открытым ртом мух ловить?

Ну он уж старался. Прямил, изо всех сил прямил свою уже немолодую, ломаную-переломаную спину, ногу в стоптанном кирзовом сапоге ставил твердо и нет-нет да и поправлял украдкой усы, которые от нечего делать отпустил в госпитале.

И вот, вспомнив про свой этот первый и единственный парад в жизни, Илья не то чтобы начал пушить пыльную жаркую улицу или деревенеть лицом, а все-таки заглотнул в себя воздух, подтянул к хребтине пуп. И поначалу все шло как надо. Под гармошку, под походный марш, которым подбадривал его улыбающийся и подмигивающий Егорша ("Давай-давай, солдат, веселее!"), под одобрительные и горделивые взгляды родной дочери, которыми та подпирала его сбоку. И серебро и бронза на его груди сверкали – вот его отчет землякам за войну. Да только вдруг он увидел в сторонке от поджидавшей его толпы сухонькую, робкую, из-под темной ладошки смотревшую на него Федосеевну, и все – черная ночь накрыла праздник.

В июле сорок первого года, когда он вместе с пекашинцами отправлялся на войну, вот эта самая Федосеевна на этом же самом месте упрашивала его слезно: "Илья Максимович, ты два года наставлял да берег моего Саню в лесу, дак уж не оставь его, побереги его и там". И об этом же она просила-умоляла и других мужиков, и Саня, ее единственный сын, ужасно конфузился и стыдился своей простоватой матери, и все отсылал, отсылал ее домой, и в конце концов добился своего: пошла Федосеевна домой, обливаясь слезами.

Не уберег Илья Саню. В том же сорок первом году под Вязьмой Саню в клочья разорвало снарядом, так что нечего было и земле предать. А где остальные? Куда девался косяк молодых, здоровых мужиков и парней, которых вот отсюда, от этого ставровского дома, провожали тогда на войну?

Пока что из этого косяка, или из этой пекашинской роты, как назвал их тогда райвоенком, он один вернулся к исходному рубежу – без изъянов, стопроцентным здоровяком, если не считать небольшой царапины на груди, – да еще вон там, опершись на изгородь, стоит одноногий, уполовиненный Петр Житов.

2

За три недели Илья уже успел присмотреться к бабам, но, может быть, только сегодня, в этот теплый и солнечный день, когда все они были принаряжены да принамыты, может быть, только сегодня он разглядел их по-настоящему.

Постарели, повысохли, бедные, беззубые рты опали, и такой виноватый, заискивающий взгляд, словно они извинялись перед ним. Извинялись за свой вид, за то, что сделала с ними война.

Две девушки, кажется Рая Клевакина и Лизка Пряслина, выбежали к нему с большим букетом пахучей, только что наломанной черемухи. Раздались сухие, деревянные хлопки.

Егорша оборвал игру. И он понял: от него ждут речь. Так, наверно, был задуман праздник.

– Папа, папа, скажи! – требовательно зашептала сбоку Валентина, крепко, изо всех сил сжимая отцовскую руку.

И Петр Житов, свирепо буравя его своим взглядом от огорода, тоже давал понять, что, дескать, не боги горшки обжигают...

Выручила Илью Варвара Иняхина. Варвара молодым, звонким голосом закричала с крыльца:

– К столу, к столу, женки!

И тут Егорша опять заиграл походный марш, но только уже не для него, а для баб, которые, моментально перестроившись, всем скопом, всей своей пестрой и душной ордой кинулись в заулочек на голос Варвары.

Столбы были поставлены на двух половинах вдоль стен, и все равно всем места не хватило.

– Эй, хозяин! Где ты? Открывай еще одно заседание в коридоре.

– Не кричите, – сказал Егорша. – Нету хозяина. С утра укатил в лес.

И тут вдруг выяснилось, что и Трофима Лобанова с невестками нет, и Софрон Мудрый со своей женой не явился. А где Марфа Репишная? Где Анна Пряслина? Не пришли. Не смогли перешагнуть через дорогих покойников. Так с самого начала и пошел этот праздник вперемежку с горючей слезой.

Первую рюмку, конечно, выпили за победу, а дальше все потонуло в шумных выкриках и причитаниях.

– Ох, Марьюшка, Марьюшка! Ты-то дождалась своего, а мой-то не вернется... И на могилку не сходишь...

– Ондреюшка все мне писал: женка, береги себя, женка, береги себя... А сам себя не уберег...

– Ты хоть пожила со своим Ондреюшкой, а я-то, бабы, я-то горюша горькая...

– Женки! Женки! – распорядилась Варвара. – Ешьте мясо. Досыта ешьте!

– Да как его исть-то? Где кусачки-то взять?

– А у меня-то... – Офимья несгибающимся пальцем закрючила рот, показала своей соседке желтые беззубые десны.

– Ничего! Кузнец теперь свой – новые скует...

Илья вслушивался в эти разнобойные голоса и выкрики, смотрел на расходившихся женок, и перед ним, как наяву, развертывалась бабья война в Пекашине. Одна вспоминала, как она первая открыла хлебные плантации на болоте ("Все за мной побежали"), другая дивилась тому, сколько она перепахала земли за эти годы ("За день не обойти"), а многодетная подслеповатая Паладья, разоткровенничавшись, начала рассказывать, как она в прошлом году унесла сноп жита с колхозного поля.

На нее зашикали, замахали руками:

– Молчи, глупая! При председателе-то. Может, еще придется.

– Нет уж, не придется! – яростно взвизгнула Паладья. – Не будет, не будет больше такого!

– Не зарекайся. Хвалилась одна ворона – что вышло?

– Что, что, женки? Чем вам не угодила председательница? – спросила Анфиса.

– Угодила! Угодила, Анфисьюшка. Я за то тебя и люблю, что сердцем понимала беду нашу.

– Анфиса! Анфиса Петровна! Родимушка ты наша! – закричали отовсюду бабы.

Анфису обнимали, целовали, кропили рассолом бабьих слез. И она сама плакала:

– Бабы, бабы вы мои золотые...

– Да пожалейте вы председателя-то! – взъярился вконец измученный Михаил Пряслин, через голову которого женки все еще лезли обниматься с Анфисой. Замучите! Председатель-то один.

– Миша! Миша! Золотце ты мое! – вдруг всплеснула руками белобровая потная

Устинья и крепко обняла его за шею. – Тебя-то, желанный, век не забуду. Помнишь, как мне косу наставлял?

– И мне!

– И мне!

– А меня-то как прошлой зимой в лесу выручил! Помнишь?

– Михаил! – поднялась Анфиса.

– Тише! Тише! Председатель хочет сказать. Огнистое солнце било в глаза Анфисе. В открытые окошки не прохлада – зной вливался с улицы. Илья взял с подоконника букет сомлевшей черемухи, помахал перед разогретым лицом Анфисы. Белый цвет посыпался на стол.

– Вы вот тут, женки, сказали: ту Михаил выручил, другую выручил, третью... А мне что сказать? Меня Михаил кажинный день выручал. С сорок второго года выручал. Ну-ко, вспомните: кто у нас за первого косильщика в колхозе? Кто больше всех пахал, сеял? А кого послать в лютый мороз да в непогодь по сено, по дрова?.. – Анфиса всплакнула, ладонью провела по лицу. – Я, бывало, весна подходит – чему, думаете, больше всего радуюсь? А тому радуюсь, что скоро Михаил из лесу приедет. Мужик в колхозе появится...

– Верно, верно, Петровна, – завздыхали бабы. А на другой половине в голос заревела Лизка со своими ребятами.

– Не плачьте, не плачьте, – стали уговаривать их. – Ведь не ругают его, хвалят.

Анфиса смахнула с глаз слезу.

– Да, бабы, за первого мужика Михаил всю войну выстоял. За первого! А чем мне отблагодарить его? Могу я хоть лишний килограмм жита дать ему?

Анфиса налила из своей половинки в стакан, протянула Михаилу:

– На-ко, выпей от меня. – И низко, почти касаясь лбом стола, поклонилась парню.

– И от меня! И от меня!

В стаканах и чашках забулькал разведенный сучок (все сохранили до праздника по сто граммов спирта, заработанных на сплаве). На Михаила лавиной обрушилась бабья любовь.

Кто-то, опять захлестнутый своим горем, заголосил:

– У Анны хоть ребята остались, а у меня-то в домике пусто...

– Хватит вам слезы-то точить. Песню! – заорал Петр Житов и увесисто трахнул кулаком по столу.

Жена его высоким голосом затинула "Аленький цветочек", к ней присоединилось несколько дребезжащих, высохших за войну голосов, но дружного пения не получилось.

– Егорша! – взвилась Варвара. – Играй! Плясать хочу!

– Варка, Варка, бессовестная! Ты хоть бы Терентия-то вспомнила...

Варвара, молодая, нарядная, в голубом шелковом платье, туго, по-девичьи, затянутая черным лакированным ремешком со светлой пряжкой, выскочила на середку избы, топнула ногой.

– Помню! Тереша меня за веселье любил.

Говорят, что я бедова,

Почему бедовая?

У меня четыре горя

Завсегда веселая.

– Ну, разошлась офицерова вдова.

– Да, не хухры-мухры! – Варвара вскинула руки на бедра, с вызовом обвела всех бесшабашным взглядом. – Офицерова вдова!

Егорша дугой выгнул розовые мехи гармошки.

– Варка! Варка! Про любовь! – вдруг ожили женки.

На войну уехал дроля,

Я осталась у моста.
Пятый год пошел у вдовушки
Великого поста.

– Охо-хо-хо! Врешь, Варка! Врешь!
– Не вру, бабы! Песня не даст соврать:

Кто не знает – заявляю:
Я не избалована
Всю германскую войну
Ни разу не целована.

Варвара, лихо, с дробью отплясывая, схватила за рукав Илью, потащила из-за стола. Марья обхватила мужа за шею:

– Не приставай! Липни к другому.
– Фу, и спрашивать тебя не стану. Наши мужья головы сложили, а ты одна владеть будешь? Нет, не выйдет! Поровну делить будем. Приказа потребуем.
– Горько-о-о! Горько-о-о!..
– Да вы с ума посходили! Нашли забаву при детях... – У Марьи полыхающей чернью зашлись глаза. Она отшатнулась от напиравших со всех сторон баб, уперлась затылком в простенок.

– Горько-о-о! Горько-о-о!

Илья, улыбаясь, нащупал под столом жесткую, заскорузлую руку жены, глянул на открытые двери, в которых еще недавно горели черные горделивые глаза дочери, и начал подниматься, нельзя не уважить народ.

– Нет, нет! – завопили бабы. – Машка пущай! Пущай она!
– Целуйся, дура упрямая! А не то я поцелую.
– Давай, давай! Мы хоть посмотрим, как это делается!..

Ничто не помогло – ни упрашивания, ни ругань. Марья скорее дала бы изрубить себя на куски, чем уступила бы бабам в таком деле. Суровая, староверской выделки была у Ильи женушка. Даже в сорок первом году, когда он уходил на войну, не поцеловала его при народе.

И бабы, так и не добившись своего, наконец оставили их в покое, вслед за гармошкой повалили на улицу.

3

Михаил, окруженный братьями и сестрами, стоял, качаясь, за углом боковой избы и тяжело водил растрепанной головой. Его рвало.

– Натрескался, бесстыдник! Рубаху-то! Рубаху-то всю выгвоздал. Пойдем домой.
– Се-стра-а!
– Чего сестра?
– Се-стра-а! – Михаил топнул сапогом, рванулся к заулку, где шумно, под гармошку, веселились бабы, упал.

Татьянка с испугу заплакала, судорожно обхватила сестру ручонками.

– Бросьте вы его, ребята, – сказала Лизка двойнятам, которые с двух сторон кинулись на помощь брату. – Он девку-то у меня, лешак, всю перепугал. – Она обняла Татьянку, но тут же на нее прикрикнула: – Чего ревешь? Не убили!

Из-за угла избы выбежала с ведром воды Рая Клевакина. Жмурясь от солнца, едва удерживаясь от смеха при виде стоявшего на коленях Михаила, взлохмаченного, с бессмысленно вытаращенными глазами, она зачерпнула ковшом воды и плеснула ему прямо в лицо.

Михаил взревел, вскочил на ноги.

Раечка с визгом и смехом метнулась в сторону. Цинковое ведро опрокинулось. Михаил поддал его ногой, пошатываясь, побрел в заулочок.

Зулочок у Ставровых просторный, скотина в него не заходит – на крепкие запоры заперт с улицы, – и Степан Андреевич за лето два укоса снимал травы. Хорошая копна сена выходила. А в нынешнем году, похоже, травы не будет. Начисто, до черноты, выбили лужок. Желтые головки одуванчиков, раздавленные сапогами и башмаками, догорали по всему заулочку. И Лизка, по-хозяйски прикинув последствия нынешней гульбы, не смогла удержаться от слез.

– Сестра! Кто тебя обидел? Кто?

– Миша, Миша! – закричала Варвара от крыльца. Шальное, пьяное веселье кружило у крыльца. Скакали бабы, размахивая пестрыми сарафанами, визжала гармошка, Петр Житов, красный от натуги, прихлопывал здоровой ногой.

Варвара подбежала к Михаилу, потащила его в круг.

– Мишка, Мишка! – заорал Петр Житов. – Дай ей жизни, сатане!

Женки мигом рассыпались по сторонам. Варвара привстала на носки, и-эх! пошла работа. Ноги пляшут, руки пляшут, с Егорши ручьями пот, а она:

– Быстрее, быстрее, Егорша! Заморозишь!

– Мишка, Мишка, не подкачай! – кричали бабы. Михаил топал ногами на одном месте, тяжело, старательно, будто месил глину, тряс мокрой, блестящей на солнце головой, потом вдруг пошатнулся и схватился за изгородь.

– Все. Готов мальчик, – с досадой подвел итог Петр Житов.

А Варвара захохотала:

– Ну, кому еще не надоело жить? Эх, вы! А еще зубы скалите...

Никому не осмеять
Меня, вертоголовую.
Ребята начали любить
Двенадцатигодовую.

– Илюха! – с жаром воззвал Петр Житов к Нетесову. – Поддержи авторитет армии. Неужели такое допустим, чтобы баба верх взяла?

– У меня по этой части претензий нет, – сказал Илья.

– А у меня есть! – сказал Егорша. Он встал с табуретки, протянул гармонь Рае. – Раечка, поиграй за меня.

Затрещала изгородь у хлева.

Егорша живо подскочил к Михаилу, потянул его за рукав:

– Ну-ко, дядя, нечего с огородой воевать. Дедкино это строенье.

В толпе рассмеялись.

– Что? Надо мной смеяться? Надо мной? – Михаил яростно заскрипел зубами, отбросил в сторону Егоршу.

– Миша! Миша! – закричали в один голос женки. – Что ты? Одичал?

Федор Капитонович, спускаясь с крыльца, брезгливо бросил:

– Ну, теперь будет праздник.

– А, товарищ Клевакин! Наш северный Головатый! – Михаил изогнулся в поклоне.

Две-три бабы прыснули со смеху, но всех громче захохотал Петр Житов, потому что это он так окрестил Федора Капитоновича.

В сорок третьем году Федор Капитонович двадцать тысяч рублей внес в фонд обороны. О его патриотическом подвиге шумела вся область. Газеты его называли северным Головатым. Его возили в город, вызывали на каждое совещание в районе, и только пекашинцы посмеивались, когда на собраниях ставили им в пример Федора Капитоновича. Верно, внес Федор Капитонович деньги в фонд обороны, и деньги немалые. Да откуда они у

него взялись? Почему у других их нету?

– Иди-иди, – сказал, нахмурившись, Федор Капитонович Михаилу. – Мал еще, сопляк, с людьми-то разговаривать.

– Я мал? Я сопляк? Нет, ты стой! Стой. Как деньги за самосад драть, ты тогда не говоришь, что я сопляк!..

Михаила обступили бабы.

– Миша, Миша, – стала уговаривать его Варвара. – Разве так можно?

Она оттащила его в сторону.

– Варка, а ты мягкая... – сказал Михаил, обнимая ее.

Варвара рассмеялась.

– Молчи, не сказывай никому. Про это не говорят.

– А почему?

К ним подошла Лизка:

– Пойдем домой. Докуда еще будешь смешить людей?

– Домой? – Михаил топнул ногой. – Нет. Гулять будем. Егорша, где Егорша?

Егорши в заулке не было. Бабы расходились по домам.

Ворот новой рубашки у Михаила был распахнут сверху донизу. Одна пуговица висела на нитке. Лизка, вздыхая и качая головой, привстала на носки, оторвала эту пуговицу, и тут ей показалось, что еще одной пуговицы нет на воротах.

– Стой! – закричала она на брата, сразу вся расстроившись.

Но Михаил, подхваченный Варварой, уже двинулся вслед за бабами. Он ревуче запел:

Шел мальчишка бережком,
Давно милой не видал...

Лизка оглянулась по сторонам, увидела Петьку и Гришку.

– Ребята, хорошенько все обыщите. За избой посмотрите. Он, лешак, кажись, пуговицу потерял.

Затем она сбегала в верхние избы, закрыла окошки. Близнецы, присев на корточки, старательно оглядывали то место, где недавно топтался их брат. Сдвоенные голоса Варвары и Михаила доносились из-за дома с улицы.

– Ребята, – сказала Лизка. – Никуда не уходите. А придет Степан Андреевич, скажите, что я скоро прибегу. Уберу тут все. – И она побежала догонять брата.

4

Вставало утро. Познабливало. За Пинегой, над еловыми хребтами, разливалась заря – красные сполохи играли в рамах.

Варвара, слегка покачиваясь, шла пустынной улицей, простоволосая – платок съехал на плечи, – и злыми, тоскливыми глазами поглядывала на окна.

Господи, сколько ждали этого праздника, сколько разговоров было о нем в войну! Вот погодите, придет уже наш день – леса запоют от радости, реки потекут вспять... А пришел праздник – деревню едва не утопили в слезах...

Поравнявшись с домом Марфы Репишной, Варвара привстала на носки, яростно забарабанила в окошко:

– Марфа! Марфушка! Принимай гостей!

В избе зашаркали босые ноги. Темные гневные глаза глянули сверху на нее:

– Бесстыдница! Орешь середь ночи. Бога-то не боишься.

– А, иди ты со своим богом! Я плясать хочу! – Варвара топнула ногой, взбила пыль на дороге.

Немо, безлюдно вокруг. Сухим, режущим блеском полыхают пустые окошки. И тоской, вдовьей тоской несет от них... Ну и пускай! Пускай несет. А она назло всем петь будет –

хватит, нарвелась за войну!

И Варвара, круто тряхнув головой, запела:

Во пиру была да во беседашке,
Ох, я не мед пила да я не патоку,
Я пила, млада, да красну водочку.
Ох, красну водочку да все наливочку.
Я пила, млада, да из полуведра...

Тявкнула гармошка в заулке у Василисы, а затем петухом оттуда выскочил Егорша. Волосы сваялись, лицо бледное, мягкое, к рубашке пристала солома – не иначе как спал где-то...

– Ну, крепко подгуляла! Значит, из полуведра?

– Да, вот так. Еще чего скажешь?

– Ты хоть бы меня угостила.

Варвара скептическим взглядом окинула его с ног до головы.

– Кабы был немножко покрепче, может, и угостила бы.

– А ты попробуй! – вкрадчивым голосом заговорил Егорша.

– Ладно, проваливай. Без тебя тошно.

Варвара стиснула концы белого платка, пошагала домой.

– Ты куда? – обернулась она, заслышав сзади себя шаги.

– Вот народ! – искренне возмутился Егорша. – Праздник сегодня, а у них все как на похоронах.

– А и верно, Егорша! Праздник. Давай вздерни свою тальяночку.

И взбудоражили, растрясли-таки деревню. Бледные, заспанные лица завыглядывали из окошек. Но что-то невесело, тоскливо было Варваре, когда она подходила к своему дому. И даже восход солнца, нежным алым светом затрепетавший на белых занавесках в окнах, на ее усталом, осунувшемся лице, даже восход солнца не обрадовал ее.

Она тяжело вздохнула и толкнула ногой калитку.

– Спасибо.

Егорша сунул ногу в притвор:

– погоди! За спасибо-то и по радио не играют...

– Чего?

– Холодно, говорю. Погреться пусти... – Егорша зябко поежился и остальное досказал глазом.

– Ах ты щенок поганый! Глаза твои бесстыжие!

– Ну, нашлась стыдливая...

Калитка резко хлопнула. Белая нижняя юбка заплескалась над ступеньками крыльца.

Лицо у Егорши вытянулось. Жалко, черт побери! Не с того, видно, конца заход сделал. Но не в его характере было долго унывать: сегодня не выгорело, в другой раз выгорит.

Он развернул гармонь, голову набок – и пошел плевать крепкими, забористыми припевками.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Где-то по городам, далеко-далеко за синими увалами лесов, шумно шагала лучезарная Победа – об этом изо дня в день трубили газеты. Уже и первые эшелоны с демобилизованными загрохотали по Руси. А пекашинцам – черт бы побрал их глухомань! – только и оставалось, что ждать. И ждали. Ждали, томительно высчитывая дни: когда же,

когда же приедут родимые?

Девки и молодухи, вдруг вспомнив про свою молодость, весь июнь шуршали уцелевшими нарядами: выжаривали на солнце, выколачивали прутьями. Потом, уже перед самым сенокосом, принялись за избы. Мыли со щелоком, с дресвой, скоблили потолки и стены, густо прокопченные военной лучиной.

Лизка Пряслина тоже не захотела отставать от других. И как ни отговаривала ее мать ("Нам-то кого встречать, глупая?"), выгребла грязь из дому. Да мало того. Заручившись помощью Раи Клевакиной, взялась за боковую избу Ставровых: пускай и у них будет как у людей.

Егорша, вернувшись вечером со сплава, застал дома потоп. Он пришел в ярость. Кто просил эту лахудру разводить сырость? Он катал весь день бревна, бродил в воде – имеет право хоть пожрать по-человечески?

На крик из чулана выскочила Раечка – мокрая, румяно-вишневая, с высоко подоткнутой юбкой. Но, увидав в дверях мужчину, пугливо метнулась назад.

Лизка насмешливо хмыкнула:

– Вот еще! Нашла кого стыдиться! – И не долго думая протянула Егорше пустые ведра. – Помогай лучше! Глазунов-то нам не надо.

– Это можно, – вдруг уступчиво сказал Егорша. – Раз пошла такая пьянка... Даешь Берлин!

На Раечку-соседку Егорша давно уже косил глаз. Сила девка! Упитанности довоенной, за тело не ущипнешь – будто кочан капустный скрипит под пальцем. А груди! Господи благослови... Пушки не пушки, штыки не штыки, а навывлет, наповал бьют. И-эх! – думаешь: пушай у людей будет вечный мир, а мне хоть бы век из-под такого огня не выходить.

Разные ключи и отмычки подбирал Егорша к Раечке.

Сперва нажимал на гармонь. На лесозаготовках эта сваха действовала безотказно – к любому бабьему сердцу находила тропу. А с Раечкой не вышло. Поиграть, правда, поиграли, научилась Раечка разные тустепы да «поди-спать» выводить – все на чувствительное напирал Егорша, – а благодарности учителю никакой. Разве что по ходу дела, поправляя Раечкины пальцы, изредка срикошетишь куда надо.

Егорша решил: обстановка неподходящая. В избу к себе Раечку не затащишь, на маслозаводе постоянно вертятся люди, надо, видно, на природу выходить. Листочки, кустики, то се, тары-бары-растабары – растает.

В праздник он так и сделал. Выждал, куда не разбрелись от них люди, выгреб на горки против своего дома и давай зазывать Раечку гармошкой.

И Раечка пришла, села рядом в молодую траву.

– Егорша, тебе тоже невесело?

– Ой, невесело, Раечка! Кабы не эта природность кругом, кажись, с тоски бы удавился.

– А я тоже люблю, когда все цветет. Особенно черемуху люблю. – И тут Раечка, как в кино, томно вздохнула и начала молотить полными ногами по траве возле черемшины, так что белый цвет посыпался.

И – один раз бывает смерть! – Егорша очертя голову кинулся на штурм.

С того дня Раечка перестала с ним разговаривать. Вечером на улице или в клубе встретишь – не подходи близко. Как говорится, вилы над переносьем. И вот сегодня, когда уж он подумывал, а не поставить ли вообще крест на всю эту канитель (чего-чего, а юбок теперь хватает), Раечка сама заявила к ним в дом.

2

Громыхая цинковыми ведрами, Егорша выбежал из заулка, накачал воды из колодца Федора Капитоновича и легко, будто поутру, побежал домой. В заулке столкнулся с Михаилом.

– А, трудяга! Здорово. Видал, как у меня дело поставлено? – Он брякнул дужками,

опуская ведра с водой на лужок, кивнул на чулан, прислушиваясь к песне.

– Райка, что ли, поет? – спросил Михаил.

– Ага. Пойдем, я сейчас ее выкупаю – любо-дорого!

– Валяй, – вяло ответил Михаил.

– Тю, болван! Да ты что – все еще девок боишься?

Егорша схватил ведра, побежал, расплескивая воду. В заулке радугой занялся мокрый лужок, а вскоре и в избе пошла кутерьма: крик, визг, хохот.

Вышел оттуда Егорша, покачиваясь, насквозь мокрый, будто вынырнул из воды, но довольный.

– Досталось маленько, – сказал он, отряхиваясь и звонко шлепая себя по мокрой груди. – Ну да я тоже не остался в долгу. Целое ведро на Раечку вылил.

Они сели на бревно подле сарая с дровами, закурили.

– Когда на Синельгу? – заговорил Егорша. Он терпеть не мог всякою молчанку.

– Скоро.

– Чувак ты все – таки! Говорил – просись в кадру. Ну, ума нету – ишачь с бабами до белых мух.

Егорша повел прищуренным глазом в сторону воротец, остановился на столбе, затем, вытянув шею, цыкнул. Слюна точно попала в цель.

Внезапно сухой жар опалил щеки Михаила: в глубине заулка рядом с домом Федора Капитоновича, за которым был колхозный склад, показалась Варвара. Она шла по красной от вечернего солнца дорожке, и красиво, сполохами переливалось на ней голубое платье с белыми нашивками по подолу.

Егорша крикнул:

– Приворачивал на беседу!

Варвара поглядела в их сторону, щурясь от солнца, и, ничего не сказав, только белозубый рот блеснул в улыбке, – пошла дальше.

– Чего это она нонче притихла? – спросил Егорша. – И каждый день, как невеста, наряды меняет? Ах, хороши подставочки! – восхищенно цокнул он языком, обнимая глазами Варварины ноги. Помолчал и ткнул Михаила в бок. – Слушай: я все хочу у тебя спросить. Ты тогда, в праздник, не догадался?.. А?

Михаил тяжелым сапогом накрыл окурок.

– Неужели нет?

– Ерунду порешь.

– Ну, хрен с тобой! Секретничай. Мне-то все равно. У меня, кажись, на сто восемьдесят градусов жизнь поворачивается.

Михаил ни малейшего интереса не проявил к его сообщению.

– Да ты что, оглох? Я говорю: меня на курсы трактористов посылают. Понимаешь?

– Хорошо.

– Чего хорошо? – Егорша откинул голову, сбоку посмотрел на приятеля: чистый доходяга! – Ты, может, жрать хочешь, а? Есть у меня полбуханки. Получил сегодня.

– Нет.

– Знаешь что, – заговорил, вдруг оживляясь, Егорша. – Я сегодня подъязков под Белой видел. Такие дяди выворачиваются – как поросята. Давай закатимся на утренку.

Михаил покачал головой, встал.

– Тьфу, лопух! Попробуй свари с таким кашу.

На крыльцо с грязным ведром выскочила Раечка – босоногая, вся розовая в вечернем солнце. Глянула в их сторону и разом погасла.

Что за черт? Синие щелки Егорши подозрительно ощупали долговязую фигуру, выходящую из заулка на деревенскую дорогу. Неужто снюхались? И это называется друг! Втихаря, за спиной товарища? Ну погоди, друг-приятель: не последний день живем. Авось и мы сумеем свинью подложить.

Белая ночь заглядывала на повесть через щели в крыше, в воротах, запертых на жердяной засов. А ребята еще не спали – шумно, тузя друг друга, возились у его ног. И гремели каменные жернова в сенцах, и наконец уж совсем черт-те что: кто-то посреди ночи – не то мать, не то Лизка – начал отметывать навоз у Звездони. Как раз в том месте во дворе, над которым была его постель.

Конечно, стоило ему слегка прочистить горло, и живо бы все стихло, но именно этого-то пустяка он и не мог сейчас сделать. Не мог, потому что ему казалось, что все это – и чересчур шумная и смелая возня младших братьев, и небывалое ночное усердие Лизки и матери, – все это неспроста, все это делается с одной-единственной целью, задержать его дома.

И он долго, не шевелясь, будто спеленатый, лежал на спине и напряженно, до боли в шейных позвонках, всматривался в сгущающиеся сумерки над головой.

Первыми утихомирились ребята, затем смолкли жернова, затем оборвалась музыка внизу у коровы, и в доме наступила тишина.

Пора! Надо действовать.

Он приподнял голову и вдруг радостно вздрогнул, услышав легкий шелест сверху. Это березовые веники, их старые, прошлогодние листья начали дрожать и волноваться в предутреннем ознобе. Счастливый знак! Ибо так же было тогда, в то утро.

Тогда, в то утро, он проснулся – темень, голова раскалывается на части, и вдруг вот этот самый шелест над головой, все слышнее и слышнее, будто там, сверху много-много слетелось невидимых птиц и дружно забило крыльями.

Потом он услышал голос Варвары, уговаривающей корову: "Ешь, ешь, моя красавица", – и корова отвечала откуда-то снизу довольным мычанием, точь-в-точь как ихняя Звездоня, когда той задают корм с повети.

Но как он попал на повесть к Варваре?

Он помнил, как вчера вместе с бабами отплясывал у нее в избе, помнил, как его вдруг начало тошнить и он, зажимая рот рукой, кинулся вон, но разрази его гром, ежели он помнит, как оказался на этой повети.

– Который час? – спросил он хриплым, не своим голосом и с трудом повернулся на голос Варвары.

– А, проснулся! Белое пятно качнулось в темном углу слева, потом зашуршала солома, и Варвара подошла к нему, – ее глаза сверкнули в темноте. – Ну и спать же ты, Мишка! Я из-за тебя, дьявола, всю ночь в избе промаялась.

– Кто тебе велел. Повесть-то большая, много места.

Варвара притворно вздохнула:

– Тебя щадила. Думаю, проснешься, а рядом баба – еще родимчик с перепугу хватит. Вставай! Кавалер... Весь праздник проспал. А еще за Дуняркой за нашей вздумал ухаживать. Девка не старуха, она не любит, когда возле нее спят.

Вот эта насмешка, как потом не раз думал Михаил, и решила все. Он вскочил на ноги – ах, так! я сплю? – и пошел на нее, широко раскинув руки в стороны.

Варвара, отступая, захохотала:

– Проснись! Расшиперил руки-то, – не овцу имашь.

Он прыгнул вперед и, как клещами, сдавил ее горячее, упругое тело.

Она охнула, вырвалась:

– Дурак, нашел с кем играть. С ровней надо играть-то.

Потом она кричала: "Мишка, Мишка! – умоляла, упрасивала: "Будет, будет тебе!" – а он уже ничего не мог поделать с собой...

Наконец он зажал ее в угол – глаза в глаза, нос против носа, а когда она кинулась в сторону, он грубо, через колено бросил ее на охапку резко пахнувшей травы...

...Ворота не скрипнули – он загодя смазал проржавевшие петли.

Туман стоял страшный, такой туман, что не было видно ни земли, ни неба, и он бежал в этом тумане босиком, в одной рубашке, каким-то особым нюхом угадывал тропинку вдоль болота, верткую, капризную, то карабкающуюся по травянистой бровке у самой стены старого гумна, то опять круто ныряющую в мокрые кусты, в месиво разъезженной дороги.

У навеса над силосной ямой против молотилки он отдышался, прополоскал в росяной траве грязные ноги и быстро-быстро, уже пригибаясь и воровато оглядываясь по сторонам, поднялся по меже к Варварину амбару.

Три раза за эту неделю подходил он к этому амбару и три раза поворачивал назад. От стыда. От страха. Оттого что не мог решиться перебежать маленькую картофельную грядку, отделяющую амбар от заулка.

Он-то, правда, думал: ему не придется этого делать. Варвара сама догадается, что он тут, у амбара, ждет, когда она раскроет для него ворота на повети, – зачем еще переться через крыльцо? Чтобы кто-нибудь увидел? Но Варвара не раскрывала ворот, и он уже начал сомневаться: а было ли все это? Была ли эта теплая и духовитая повесть? Была ли Варвара, ее насмешки над ним, а потом эти непонятные злые слезы? Он так и ушел от нее, оставив ее плачущей на охапке травы.

А может, это приснилось ему? Может, это один из тех радостных и стыдных снов, которые ему часто снились в последние годы?

Нынешним вечером он специально отправился к Егорше, который давно уже блудил с бабами: подскажи, посоветуй, как быть. И, слава богу, все обошлось без Егоршиных советов: сама Варвара, неожиданна появившись на вечерней дороге, объяснила ему все своей улыбкой...

Он метнулся через картофельную грядку, с разбегу перемахнул изгородь, потом был заулок с дровяным сараем, со двором, бревенчатая стена которого еще дышала дневным теплом, деревянные мостки в клочьях тумана, крыльцо... и тут, на крыльце, когда он взялся за холодное, железное кольцо, на него опять напал страх. Неужели ворота заперты? Неужели ему придется стучаться? Ночью, под самым боком у Лобановых?

Осторожно, стараясь унять внезапную дрожь, он повернул на себя кольцо, мягко нажал мокрым коленом на ворота. И вдруг ликующая радость до жара, до колокольного звона в ушах прожгла его: ворота были не заперты.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

- Ходит, ходит Мишка к Варваре.
- Не плети, чего не надо! И слушать не хочу.
- А чего мне плести-то?
- А то. У меня Ваню убили на двадцать третьем годе, а я его носила, Варуха-то уж в сарафанце бегала – всяко ей годков пять было. Дак ну-ко, подсчитай, сколько теперь. Уж тридцать есть, не меньше.
- А хоть сорок – мне-то что. А я сама на днях видела, как Мишка к ней на повесть лез.
- На повесть? Что ты говоришь?
- Ей-богу, девка! Не вру. Я это вышла за травой середь ночи (Малёшка все мык да мык), на, господи, кто это, крадучись, как вор, от болота к Варухину дому пробирается? А то он, Мишка. К дому сзади подобрался, глазами зырк-зырк да на угол. А та уж его ждет, двери растворила. Сама вся в белом...
- Вот еще страсти-то какие!.. Да ведь он на Синельге. Мишка-то. На позже. Не святой дух, по воздуху не летает.
- А сивко-то-бурко на что?
- Дак это он на конике? Шесть верст туда да шесть обратно. Осподи!.. То-то та сука

блудливая кажинный день выражается. Как на праздник.

– А праздник у ей и есть. Как не праздник! Парня такого зауздала...

Да, было чему дивиться! Еще все шагали в военной упряжке, еще голодали, работали на износ, еще нет-нет да и похоронные залетали в Пекашино, а тут двое, словно взбунтовавшиеся лошади, сломали оглобли и понеслись сломя голову...

И за этими пересудами, не умолкавшими все лето, в Пекашине как-то даже мало внимания обратили и на новую войну – с Японией. Повздыхали, поплакали те, у кого еще было кого ждать, а остальные с языка не спускали Варвару и Мишку.

Анна Пряслина – такая уж материнская участь – узнала об этой беде последней. Она дожинала с бабами поле за болотом, когда вдруг Лукерья, посмеиваясь, сказала:

– Невестушку твою сегодня видела.

– Ну и как? Баска у меня невестушка? – тем же игривым тоном ответила Анна, потому что догадывалась, о ком говорит Лукерья: о Раечке Федора Капитоновича. Сохнет Раечка по Мишке. Это и она сама замечала, и бабы говорили ей.

Лукерья опять усмехнулась и сказала:

– Да уж чего-чего, а красоты твоей невестушке не занимать.

– А я, женки, нисколешеньки не сужу Варвару, – заговорила Матрена. – Баба молодая, на хлебном месте, а где они, мужики-то?

У Анны почернело в глазах, резкая боль обожгла руку.

К ней кинулись женки, помогли перевязать порезанный серпом палец.

– Анюша, Анюша, да разве ты не знала?

О нет, она знала, давно знала, что что-то неладное творится с парнем. С той самой поры знала, когда он пьяный в обнимку с Варварой пошел в верхний конец деревни. Всю ноченьку тогда она не сомкнула глаз, и сердце у нее так тосковало, будто пожар подбирается к их дому. А там, на Синельге, куда она смотрела? Разве не просыпалась она по ночам да не прислушивалась к его шагам? Вот бы и остановить его тогда: опомнись, парень! А она радовалась, думала, что Мишка опять где-то тайком от людей подкашивает сено для Звездони...

Женки примолкли. Сухо потрескивала солома под серпами – каждая, раздевшись до рубахи, гнала свою полоску. И Анна гнала. Гнала, всеми силами сдерживая рвущийся из пересохшего горла крик.

Господи, твердила она про себя, за что ей еще такое наказание? Сколько ее еще будет дубасить жизнь? Разве мало того, что война отняла у нее Ивана?

Страшно подумать, что она перенесла за эти годы. Люди воевали с врагом, с немцем, говорили: выстоять. А у нее один был враг, который ни минуты не давал ей передышки, – нужда. И она тоже выстояла. Сохранила ребят. И вырос Мишка есть на кого опереться семье. А что, что теперь будет?

2

Шесть пар умоляющих глаз смотрели на него. Мать, Лизка, Петька и Гришка, Татьяна, Федька. Да, и Федька. Когда ветер против семьи, тут Федька не на особицу, тут он заодно со всеми.

Шесть пар глаз смотрели на него с крыльца, заклинали: вернись! не ходи!

Нет, не будет по-вашему! Довольно! И, выйдя из заулка, Михаил на виду у них повернул в верхний конец деревни. И по деревне пошел тоже не таясь, открыто, потому что не было больше смысла таиться от людей. Потому что вся деревня теперь знала про скандал, который разразился у них на улице.

Мать прибежала с поля, вся трясется, задыхается, слова сказать не может. "Мати, мати, что случилось?" – "А, рожа бесстыжая, что случилось? На это отец тебя растил? Да у него бы кости в земле перевернулись, кабы узнал". А тут, как на грех, на улице против их дома показалась Варвара. С работы домой шла. Мать – на нее: "Сука... Тварь поганая..."

блудница!.." За матерью Лизка, ребята волчиной стаей налетели на Варвару.

Ну, он, конечно, не допустил до свалки. Схватил хворостину, одного огрел, другого привел в чувство. И вот после такого позорища мать и Лизка завели другую пластинку – слезами стали давить: "Миша, Миша, пожалей нас... Миша, Миша, что ты делаешь?"

А что он делает? Что? Может, он лишний кусок хлеба съел от них тайком? Может, за три года работы в лесу костюм завел себе? А мог бы. Висел в ларьке триковый костюм в белую полоску. А он не взял его, он о Лизке подумал, потому что тогда бы Лизка осталась без ботинок. Забыли про это? Не помните? А Егорша уехал на курсы трактористов – не мог бы он тоже? Из-за кого остался дома? Нет, погодите! Рано вам учить меня. Рано. И ты, мати, отцом не укоряй. Отец-то меня растил – это верно, а кто твою ораву растит?

Ах, как хорошо, не таясь, идти по деревне! Да, смотрите. К ней, к Варваре, идет Мишка. Ну и что? Эй, Василиса, чего отвернулась? Стыдно стало, святоша? А ты, Аграфена, чего глаза вылупила? Знаю, знаю твои повадки. Сейчас побежишь брэнчать от дома к дому. Ну и брэнчи на здоровье. Валяй!

Было еще довольно светло, ни одного огонька на деревне. А Варвара запалила лампу со стеклом. Как прожектор из окна бьет. Правильно! Так и надо. И катитесь все к дьяволу!

Трофим Лобанов, тюкавший топором под навесом у своего дома, привстал, когда он подошел к Варвариной калитке, – тоже любопытно. А он ничего: хлопнул калиткой, топнул сапогами по мосткам – смотри, смотри, старый хрен! – и первый раз не ползком, не на четвереньках, а как мужчина, с распрямленной спиной поднялся на крыльцо.

Но кто бы мог подумать, что Варвара не одна дома? А она таки действительно была не одна – с Анисьей Лобановой. И Михаил не то чтобы растерялся, а все-таки поежился, встретившись с той глазами. Вернее, почувствовал себя так, будто его нагишом выставили напоказ.

Он сказал:

– Шел мимо – давай, думаю, на огонек... Варвара бегло и презрительно посмотрела на него и хмыкнула. А когда вышла Анисья, скорым шепотом обожгла:

– Ты зачем пришел? – Она любила вот так его огоршить.

Михаил прошел к столу, хотел было убавить фитиль в лампе – к чему такой огонь! – но Варвара раздраженно шикнула:

– Не тронь! Хочу на тебя посмотреть.

Он пожал плечами.

– Ты у матери-то спросился, куда пошел?

– Давай, зачала...

– Я говорю, у матери-то спросился, куда пошел? Не слыхал, что она кричала? Ах, бедненький, ах, ребеночек!.. Его, вишь, Варуха совратила... А посмотрела бы она, как этот ребеночек кости Варухе выворачивал!

Михаил смущенно хохотнул:

– А чего и упрячилась?

– Кто упрявился?

– Кто? Не я же.

– А кто не я-то?

– Ну кто... Ты...

– А у этого «ты» есть имя, нет? Кавалер! Все лето к бабе выходил, а спросить, как зовут, и не сказать.

Это верно, он избегал называть ее по имени. Варвара – как-то не то. Варя тоже язык не поворачивается... Да разве и обязательно все это? Обходилась же она до сих пор без этих телячьих нежностей.

– Подумаешь, распсиховалась! Слушай побольше мать, она по своей дурости наскажет...

– Мне скоро проходу не будет. Все пальцем показывают. И не то что люди кусты-то придивились.

– Чему придивились?
– А тому, что с тобой, с молокососом, связалась.
– Опять ты про года! Года, между прочим, у деда Матюхи в Заозерье подходящие. Девяносто второй, говорят, пошел...

– Перестань! Самое теперь время хахоньки строить...

Он ни черта не понимал. Чего ей надо? Из-за чего вся эта муть? Из-за сегодняшней перепалки с матерью? Из-за того, что бабы на каждом углу судачат?

Он три дня не был в этом доме, три дня не жил, а задыхался, как рыба, выброшенная на берег. И вот тут она, рядом, только руку протянуть, и он чует запах ее жаркого тела, видит ее губы...

Люди будто сговорились сегодня. Кто-то опять зашаркал ногами на крыльце.

Анфиса Петровна!

Вошла, посмотрела на Варвару, посмотрела на него – усмехнулась.

– Какие это у тебя дела здесь завелись, Михаил? Раньше по вечерам я тут тебя не видала.

– Какие? – Михаил понял, сразу понял, что Анфиса Петровна неспроста зашла к Варваре, что она все знает. И еще он понял, что он должен сейчас сделать что-то такое, что бы раз и навсегда отбило у людей охоту вмешиваться в их дела.

Сумасшедшая мысль пришла ему в голову. Он глянул прямо в лицо Анфисе Петровне и не сказал, а выпалил:

– Мы жениться будем! Ясно? – И, не дав ей опомниться, крикнул: – А что разрешенья у тебя спрашивать?

Анфиса Петровна не удивилась, не закатила глаза на лоб. Она, казалось, заранее знала, что он скажет. Но Варвара? Почему Варвара молчит? Еще на той неделе, выпуская его рано утром из своего дома, она говорила, жадно припадая к нему: "Ох, Мишка, Мишка! Кабы моя воля, ни в жисть бы не отпустила тебя". Так в чем же дело? Давай возьмем волю.

Наконец Анфиса Петровна разжала свои сухие, еще с сенокосной страды запекшиеся губы.

– Дак вот что я тебе скажу, жених. В лес ехать надо.

– Мне? В лес?

– Да.

– Вот как! А с месяц назад что ты говорила? "Михаил, бригадиром будешь..." Говорила?

– Говорила. А теперь вижу: слишком голова горячая. У пня остудить не мешает.

– Ты меня пнем не стращай! Я с четырнадцати лет у пня. А на этот раз на, выкуси! Не поеду!

– Поедешь. Своей волей не поедешь – по суду отправим.

– Меня по суду? Это меня-то? Дак вот как ты... "Михаил, чем тебя и отблагодарить... Михаил..." В пояс принародно кланялась... А сейчас в суд Михаила? Из-под нагана в лес?

Ненависть, слепая, безрассудная ненависть захлестнула его. Он шагнул к Анфисе Петровне, до хруста, до боли сжал пальцы в кулаки.

– Я-то знаю, с кем ты это придумала. Знаю. Мати прибежала, да? "Спаси, Анфиса Петровна..." Да? А я вот возьму да к такой матери и Анфису Петровну, и мать... Всех!..

– Миша, Миша!..

– Нету больше Миши! Нету! – Михаил сапогом распахнул дверь, вылетел из избы.

3

Анфиса заговорила первой:

– Видишь, что ты натворила. Меня с парнем поссорила и семью с ума свела. Правильно он сказал: прибежала ко мне Анна... – Она перевела дух. – Мне говорили, сказывали, что Варуха с парнем связалась, ну, я не верила...

– А теперь веришь?

– Выбрось эту дурь из головы. Посмешила людей, и хватит.

Варвара с легкостью кошки вскочила с кровати, сдернула с гвоздя у порога парусиновую сумку, протянула Анфисе.

– Что это?

– А вот то. Наслужилась я тебе. А теперь проваливай. – И, сухо блеснув глазами, указала на дверь.

Анфиса подержала в руках сумку. Осенью сорок второго года эту сумку, тогда еще добротную, почти новую, привезенную с войны Петром Житовым, вручила она Варваре. Вручила, можно сказать, жизнь пекашинских баб и детишек, потому что в сумке этой были ключи от колхозных амбаров и складов. И надо отдать должное Варваре: честно, по совести вела она хлебные дела все эти трудные годы. В сорок четвертом году, когда в Пекашине привелось есть мох, кто вместе со всеми давился палками? Варвара, колхозная кладовщица. И не для показа давилась, а потому, что не могла иначе – Анфиса хорошо узнала за это время Варварино сердце. Все пополам делили они друг с дружкой: и муки, и горе, и надежды. А бывало, заем, жито надо внести в фонд обороны, картошку – с кого в первую очередь взять? "Придется нам с тобой, Варвара, поднатужиться. У нас детей нету". И Варвара не хныкала: "Ладно, Анфиса, после войны жить будем".

– Ты не глупи, Варвара, – сказала Анфиса и, отложив сумку в сторону, строго посмотрела на нее. – Тебе не семнадцать лет.

– Да и не сорок. И всю жизнь по твоей указке жить не собираюсь. Хватит покомандовала в войну. А теперь не лезь, куда не просят.

– Нет, полезу! Ты только о себе думаешь, а у меня деревня...

Варвара шумно задышала. Раздутые ноздри у нее, попав в полосу света, стали алыми.

– Врешь! Врешь! – крикнула она и топнула ногой.

– Не кипятись, Варвара. Я никогда не вру.

– Врешь! Врешь! Это кому ты сказки-то рассказываешь? Ха-ха-ха! Она о деревне думает, она святая, а я только о себе... А сказать тебе, когда ты о себе-то начала думать? Еще в войну, на втором году. Когда люди на фронте помирали...

– Чего ты мелешь... Опомнись...

– Не беспокойся. Я в своем уме. Ну-ко, кто из баб гонялся за мужиком до района? Кто? Может, я? Может, Грунька Яковлева?

Анфиса медленно опустила свою повинную голову. Три года никто не спрашивал с нее за те два-три часа бабьего счастья, что она вырвала у войны в ту ночь...

Был вечер, шумел дождь, и продрогший на ветру конь нетерпеливо переступал с ноги на ногу, тянул ее домой. А она не двигалась. Она все стояла, смотрела за реку и все ждала чуда: вот-вот еще раз красными искрами осыплется сигарка на том берегу и радостный голос донесется оттуда: "Анфиса, подожди! Я не уехал. Я не мог уехать..." Но чуда не случилось. Лукашин не подал голоса с той стороны. И в конце концов она пошла домой, вся мокрая, разбитая, ведя в поводу коня. Да только вышла от перевоза на луг, да подумала, что, может, ни разу в жизни больше не увидит Ивана Дмитриевича, и – что поделалось с нею – птицей взлетела на коня...

Не поднимая головы, Анфиса тихо сказала:

– То любовь, Варвара.

– Ах, любовь! Вот как! У тебя любовь, тебе можно. А у Варвары любви не может быть. Варвара собачонка. Снюхалась, перебесилась, и дальше. Так?

– Он мальчишка против тебя. Опомнись! Какая тут любовь!

– А где, где они, не мальчишки-то? Я виновата, что их на войне поубивали? Я?

По смуглым пылающим щекам Варвары текли слезы. И ее, как Мишку, трясло от бешенства, от ненависти. К ней, к Анфисе. За то, что она, Анфиса, встала между ними. И, внутренне вся содрогнувшись, Анфиса подумала: "Господи, да живите вы как знаете. Что я, жандарм, поп вам какой?.."

А вслед за тем она готова была и вовсе оправдать Варвару. Ну, связалась с молодым парнем... Так что же? Она первая? Разве такого не было до войны? А ведь тогда – не теперь: полно было мужиков...

Но так Анфиса думала недолго, может, минуту, может, две, до тех пор, пока на память ей не пришла Анна Пряслина, ее несчастные дети. В чем угодно можно упрекнуть ее, Анфису, все смертные грехи готова признать за собой, но только не черствость, но только не закаменелость. Нет. Тут она чиста. В войну, в самые черные дни, старалась хоть немножко, хоть горсть зерна подбросить многодетным матерям – так разве она допустит сейчас, чтобы на ее глазах разорили пряслинскую семью?

И она сызнова, с еще большей силой навалилась на Варвару. Она стыдила ее, распекала, взывала к совести, опять напоминала о годах, о возрасте – в общем, была по самому больному месту, по Варвариной гордости.

И та, совсем ошалев, кричала, топала ногами:

– Вон, вон убирайся из моего дома! Вон!

– Нет, нет. Варвара, – упрямо твердила Анфиса. – Не уберусь. Дай слово, что не будешь встречаться с парнем. Дай! Слышишь? Дай!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

За войну какие муки ни приняли пекашинцы, а лес сравнить не с чем. Лес всем мукам мука.

Гнали стариков, рваных-перерванных работой, подростков снимали с ученья, девчушек соплелых к ели ставили. А бабы, детные бабы, – что они вынесли за эти годы! Вот уж им-то скидки не было никакой – ни по годам, ни по чему другому. Хоть околел, хоть издохни в лесу, а в барак без нормы не возвращайся. Не смей, такая-разэдакая! Дай кубики! Фронт требует! И добро бы хоть они, бедные, пайку свою съедали, а то ведь нет. Детям сперва надо голодный рот заткнуть.

"Бабы, бабы, потерпите! Бабы, бабы, еще немного! – каждую осень, когда приходила пора выпроваживать их в лес, говорила Анфиса. – Будет, будет на нашей улице праздник, Не мной это сказано".

И вот он, праздник. Десять тысяч четырехста кубометров! Такого задания за всю войну не было.

– Евдоким Поликарпович, – слезно взмолилась Анфиса, – да что же это такое? Где я возьму столько народу! У нас со стариками да с калеками столько не будет, сколько вы в своей бумаге трудоспособных требуете.

– Что значит в своей бумаге? Это не моя бумага. Это государственный план. Понятно? А во-вторых, вот что, Минина, кончай с демобилизационными настроениями. Запомни: для кого война кончилась, а для нас, северян, только началась. Пол-России лежит в развалинах – каким лесом ее отстраивать? Опять тебя политграмоте учить?

Разговор этот был по телефону, а на другой день утром в Пекашино заявился уполномоченный райкома. И вот, как в прошлые годы, начали они с уполномоченным перебирать колхозников по спискам. Перебирали-перебирали, так и эдак перебирали – и сверху донизу, и снизу доверху, – девять человек выловили.

– Пиши повестки, – сказал уполномоченный. – Закон о трудовинности применим.

То, что у пятерых женок из девяти, попавших на карандаш уполномоченного, были малые ребята, об этом Анфиса уж не заикалась: дети не в расчет и раньше были. Но как же ей с хозяйством-то колхозным быть? Хлеб молотить надо? Надо. Сено возить с дальних пожен надо? Надо. А школу, а медпункт – можно их без дров оставить?

– Это уж твоя забота, – отрезал уполномоченный и сам стал выписывать повестки.

И, как в прошлые годы, в эти дни было много слез и ругани.

– В чем я в лес-то пойду? Ты погляди, на что валенки у меня похожи.

– У меня на войне мужик голову сложил – некому заступиться. Валяй, дави бедную.

– Ты еще в войну наш род невзлюбила. Девку четырнадцати лет в лес выписала – на всю жизнь калекой сделала. А теперь и мать загубить хочешь.

– Анфиса Петровна, да есть ли у тебя сердце-то? Я вся ломана-переломана. По ночам ревом реву...

Анфиса не оправдывалась, не спорила ("Плачьте, кричите, бабы, поедом меня ешьте, ежели вам от этого легче станет"), но была неумолима. На субботу назначена радиоперекличка – какой ответ она будет держать перед Подрезовым?

Радиопереклички созывались в году часто. Заело с посевной радиоперекличка. Худо идет подписка на заем – радиоперекличка. Не выполняется план по сдаче хлеба – так и знай, будет перекличка. В назначенный час приложат председатели колхозов и сельсоветов телефонную трубку к уху, раскатится подрезовский бас по всей линии, и пойдет разнос направо и налево. Крепко, со вкусом умеет разносить Подрезов. Подвернется мат под руку – и матом запустит. А ты сиди, да слушай, да за милость считай, что тебя на бюро райкома не вытащили. Потому что одно дело, когда в тебя щепка за тридцать верст летит, а другое дело, когда тебя наповал рубят.

Нынешняя радиоперекличка была назначена на семь часов вечера, и Анфиса побелела, когда, вбежав в контору и чиркнув спичкой, взглянула на часы: было двадцать минут восьмого. Задержалась она на скотном дворе из-за молодой коровенки, у которой был неправильный отел. Но разве скажешь об этом секретарю?

Зажигать лампу некогда, уши и в темноте слышат – Анфиса на ошупь подошла к телефону, взяла трубку.

Подрезов только еще входил в раж.

– Что? Что? – кричал он. – Двое мужчин? Когда?

– Думаю, ноября пятнадцатого-двадцатого.

По неторопкому, шепелявому голосу Анфиса признала в ответчике своего соседа – председателя колхоза «Октябрь».

– А почему не сейчас? – спросил Подрезов.

– Да их еще дома нету. Из армии едут.

Раздался дружный смех. Молодец Мерзлый! Посадил секретаря в лужу. Не все нашему брату шишки получать.

Подрезов тоже рассмеялся – всех покрыл своим басом, – а потом сказал:

– А я и не знал, что ты артист, Мерзлый. А ну-ка, возьми себе на заметку: двадцать пятого октября на бюро райкома. Посмотрим, посмотрим, какие у тебя артистические данные.

– Евдоким Поликарпович, да я, ей-богу, серьезно. Едут. Письма от обоих есть.

– И я серьезно. Записал? Ну вот, готовься к смотру.

Анфиса закусила губу: ее черед. Нет, Подрезов перемахнул сразу через пять колхозов. На Сидорова-старика навалился.

– Да, да, Сидоров у телефона. – Голосок писклявый, тоненький, еле слышно. Самый верхний колхоз у Сидорова.

– Сколько, спрашиваю, в лес за неделю вывел?

– Слушаю, слушаю, – опять по-козлиному заблеял Сидоров.

– Матюшин, – сказал после короткого молчания Подрезов. Это относилось к председателю ближайшего от Сидорова колхоза. – Съезди завтра к старому хрену. Скажи, чтобы на бюро ехал. Мы ему прочистим уши. Так и скажи.

– Хорошо, Евдоким Поликарпович, скажу.

Из отчетов председателей Анфиса поняла, что в других колхозах дело с выходом людей на лесозаготовки обстоит не лучше, чем у нее, а в некоторых колхозах даже хуже, и она уж было подумала: ну, кажется, сегодня отсидится за чужими спинами. Не отсиделась.

– Минина, – голос Подрезова приподнял ее с табуретки, – докладывай.
 – Пятерых за эту неделю послала.
 – Так. Значит, у тебя теперь в лесу сколько? Тридцать один? – Подрезов все знал и помнил, что касалось леса. Да, по правде сказать, и кто когда придавал значение северным колхозам? Лес, лес давай, а уж как ты там справишься с севом, с сенокосом и прочими делами – это твое дело.
 – Да, тридцать один, – подтвердила Анфиса.
 – А по плану?
 – Сорок пять, – упавшим голосом сказала Анфиса.
 – Ну и что же?
 – Да где их взять-то, Евдоким Поликарпович?
 – А ты поищи, поищи хорошенько. – Старый, излюбленный совет Подрезова.
 – Да уж искала. И я искала. И ваш уполномоченный целую неделю искал.
 – Нет, значит людей?
 – Нету.
 Подрезов басовито рыкнул, прочистил горло:
 – Возьми карандаш. Взяла? Пиши. Первое: Репишная Марфа Павловна! Есть такая?
 – Евдоким Поликарпович, да как же ее посылать? У человека годы на исходе и грыжа в обоих пахах.
 – А грыжу-то где она нажила? Не с попом ли?
 На проводе прыснул смех.
 – Кому это там весело? Тебе, Новиков? Потерпи маленько. Скоро уж твоя очередь.
 Смех сразу погас.
 – Записала, Минина?
 Анфиса промолчала.
 – Минина! Я кого спрашиваю? Или боишься, что молельня перестанет работать?
 Второй раз предупреждал ее Подрезов насчет молельни. Да, поговаривают в деревне – ходят к Марфе Репишной старухи. И раз даже, проходя мимо ее дома вечером, она сама слышала какое-то пенье в избе.
 А может, Марфа тут ни при чем? Когда она отличалась набожностью? Может, это Евсей Мошкин воду мутит?

2

– Пришла, Павловна... А я уж думал, замерзну, не дождусь...
 – Не мог людей-то не срамить! Мало я с тобой натерпелась? Вставай!
 Сено зашевелилось. Белый клубок пара вырвался оттуда, потом показалась обмотанная тряпьем голова. – Не встать. Обессилел.
 Тогда Марфа нагнулась к стогу, сграбастала мужа в охапку, посадила на санки, кинула ему в ноги его котомку.
 Дорогу перемело начисто – двое суток без роздыха лютовала метель. Марфа брела от вешки к вешке, смутно черневшим на вечернем лугу, месила рыхлую заметь, падала.
 Так дотащила до моста через Синельгу.
 – Живой?
 Митрий клацнул зубами.
 Она сняла с себя полущубок, набросила на мужа.
 – Что ты, Павловна... Сама-то замерзнешь.
 – Помалкивай! И без твоих слов тошно...
 Когда два-три часа назад ей сказали, что Митрий лежит у зарода на Марьиных лугах – отошал, идти не может, – Марфа готова была волосы рвать на себе. Господи! За что ей еще такое наказание? У всех мужья как мужья – на войне воюют, а ее ненаглядный даже для войны оказался негод – в трудармии, всю войну в тылу околачивается.

Но затем, одумавшись, она оделась, пошла на конюшню. Лошади свободной не было. Марфа сама впряглась в санки.

И вот тащилась она через луга, через лес – в одном сарафане, подол заледенел, грыжа разрывает паха, – тащилась, сцепив зубы, и на все лады кляла свою судьбу.

В избу Митрий вполз сам – у нее не хватило сил внести его.

Отдышавшись, Марфа зажгла лучину. Митрий, привалясь к косяку дверей, все еще сидел на полу у порога.

– Что, так и будешь сидеть? Без няньки не можешь?

– Отощал я, Павловна. Дай прийти в себя.

– А здесь, думаешь, рай? Скоро болота не будет – весь мох приели.

Сапожонки у Митрия, разбитые, перевязанные светлой проволокой, оттаяли, подтекли лужами. Тяжелое зловоние распространилось по избе.

– Замучила дизентерия, – виновато сказал Митрий. И не от жалости к мужу, нет, а по вековой привычке к чистоплотности Марфа затопила печь, согрела воды в чугунах, обмыла мужа в корыте.

Оказавшись в теплой постели, в чистом белье, Митрий расплакался, как маленький ребенок:

– Ну вот, теперь и помирать можно. Думал, не дойду. Иной раз репку съешь, иной день так. Где пустят ночевать, где в сарае приткнешься. Вошь, понос людей стыдно...

Скоро Митрий забылся, а Марфа, нагрев еще воды, принялась за стирку. Ее тошнило от вони, от вшей, которые серым слоем всплывали на воде в корыте, и она думала об одном: не приведи бог, чтобы кто-нибудь зашел в избу.

Выстиранное белье она развесила на печи, ватник и ватные штаны оставила мокнуть до утра в щелоче, подтерла вехтем пол. Оставалось еще разобрать котомку.

Она села на пол – ноги больше не держали, – развязала мешок с ляжками. И все, что было в нем, вывалила на пол. Тут было грязное, протертое до дыр вафельное полотенце, жестяной котелок – большая консервная банка с проволочной дужкой, пара старых рукавиц, шило с нитками, обмылок серого мыла, бутылка с керосином, обернутая в тряпку, и еще был грязный, растрепанный кочан капусты, зачем-то обвязанный шпагатинной.

Если бы не эта шпагатина, она бы просто выбросила кочан – коровы нету, кто будет жрать такой кочан? Но шпагатина пригодится, и она, положив кочан на колени, стала распутывать узлы, в душе своей последними словами понося мужа дурак безмозглый! Совсем из ума выжил. Где это видано, чтобы веревку на кочан наматывали?

Она распутывала, распутывала шпагатину – ногтями, зубами разгрызала узлы, наконец распутала. Не кочан – сверток. Сперва старой газетой обернут, затем платом, старинным аглицким платом, который она носила еще в девках. Плат этот Марфа искала всю войну. Перерыла все коробья, корзины, лукошки, думала: потеряла или кто украл. А он, оказывается, вот где всю войну пролежал – в грязной паршивой котомке. И тут Марфа едва не задохнулась от гнева. На кой черт ему было уносить этот плат из дому? Ведь она так обносила – голову в страду нечем прикрыть.

Зашипел сбоку в корытце с водой огарок. Марфа, не вставая, переменяла лучину в светце, развязала плат и просто обмерла: сладости... Розовые подушечки, слипшиеся, вываленные в чай, в сахарном песку, леденцы – красные, желтые, зеленые, сахар маленькими кусочками, чай в газетном кулечке и еще вдобавок к этому две белые сушки – давнишние, закатанные, крепкие, как камень.

Она и минуту, и две смотрела на все это неподвижными, остекленевшими глазами, а потом вдруг схватилась за голову и заревела громко, навзрыд.

Мужа своего Марфа не любила, сердце ее наглухо было закрыто для него, хотя она и честно несла крест, взваленный на нее отцом и братьями. Да и как она могла, любить его? За что? Слабосильный, чуть не на голову ниже ее. Ни топор, ни пила в руках не держится. Ему даже бороды бог не дал. Волос рос клочьями где есть, где нету. Как трава на болоте.

Но сейчас, в эти минуты, когда перед глазами у нее на коленях лежала куча сладостей;

она как бы заново увидела своего мужа.

Трудно, невысказанно даже вообразить, какой ценой собрал он это богатство. Не ел сам, откладывал по крохам из недели в неделю, из месяца в месяц, дорогой случайными репками пробавлялся – так ведь он говорил давеча, – а к сладостям не притронулся. И все для того, чтобы ублажить свою Павловну, которая за годы войны забыла, как и сладости-то пахнут. И бутылку керосина – в любой деревне можно было обменять на хлеб – тоже берег для Павловны, потому что знает: Павловна всю войну мается с лучиной.

А что он видел от своей Павловны?

"Павловна, Павловна, не беспокойся. Я подоил корову. Отдыхай".

И ох же как она ненавидела его за эту корову! Во всей деревне не было другого мужика, который бы копался в коровьих сиськах. "А мне, Павловна, люди не указ. Пуцай смеются. Тебе бы полегче".

А ночами-то зимними – господи! Отхожее место за домом – с фонарем готов провожать Павловну.

И что из того, что он не вышел телом? Разве его вина? А она-то сама вышла? Высоченная, широкая, угловатая. Как медведица. И все это враки, что у нее был жених до Митрия. Не было. Никому она, кроме него, не нужна была.

Митрий от рева Марфы очнулся, заметался на койке:

– Павловна, Павловна, что с тобой?

А когда Марфа встала с полу, да подошла к нему, да села на койку, он опять завсхлипывал, как малый ребенок:

– Ты уж прости, Павловна. Заболел. Можно было и там помереть, да не вытерпел – так хотелось еще перед смертью тебя повидать...

Марфу душили слезы, и она редела белугой, а Митрий все говорил и говорил:

– Сколько же ты намучилась со мной, Павловна! Сколько стыда-то из-за меня приняла! И зачем же вот было тогда у реки встретиться? Помнишь, с солью я шел? Грешен перед тобой. Сам слабый – на силу твою позарился Сгубил твою жизнь...

Митрий был в памяти до полудня, затем вдруг захрипел, потянулся к ней руками и помер.

Было это в конце марта сорок пятого года, в великий пост, а на пасху Митрий явился Марфе во сне.

Она лежала на печи. Вдруг дверь неслышно отворилась и в избу вошел Митрий – светлый, радостный, в новых сапогах.

"Павловна, спишь?" – тихонько окликнул он ее. "Нет, не сплю". – "Не бойся меня. Я не мертвый", – предупредил Митрий, так как знал, что Павловна боится покойников. Потом на цыпочках, как при жизни, подошел к ней. И глаза его голубые, кроткие, а голос вроде другой – как листья прошелестел: "Ну как ты без меня живешь?" – "Я-то что. По-земному. Ты-то как?" – "Хорошо, Павловна, хорошо. У речки живу, со староверами".

Тут Марфа открыла глаза. В избе было утро. Весеннее солнышко заглядывало в передние окошки.

"Ну, слава богу, – подумала она, – хоть на том-то свете хорошо живет. Подал весть – не расстраивайся, Павловна". Но затем, припоминая слова Митрия, она задумалась: почему же он живет со староверами? Правда, отец и мать у него были староверы, но сам-то он какой же старовер? Всю жизнь ел с ней из одной посуды.

В тот же день, встретив старуху староверку, она спросила:

– Как на том свете заведено? Порознь или вместе живут староверы и мирские?

– Порознь. Как не порознь, – убежденно ответила старуха. – Хватит, на этом свете погрешили с табачниками.

И вот, когда вскоре после этого в Пекашино вернулся Евсей Мошкин, доводившийся ей дальним родственником, Марфа решила: это знак свыше. Сам бог посылает ей Евсея.

Она перешла в старую веру.

С крыльца спустились две старушонки, сделали шага два-три навстречу ей и вдруг повернули назад, порысели на задворки.

Так, сказала себе Анфиса, Подрезов-то, видно, не зря предупреждает. А когда она вошла в избу, то сомнения у нее и вовсе отпали. На божнице в переднем углу теплится красная лампадка, медные иконы отсвечивают, стол сдвинут в сторону, на полу разостлана ржаная солома...

– Проходи, Петровна, садись, – смущенно сказал Евсей.

А Марфа – ни слова. Ждала, повернув к ней голову. Высокая, прямая, в черном платке, надетом по-старушечьи – клином. И глаза ее недобро сверкали в полумраке.

В избе крепко пахло подсыхающим деревом. Свежие доски и брусья белели на полатах, под потолком над печью. Все это были заготовки для ушатов, для кадушек, которыми Евсей снабжал не только пекашинцев, но и жителей соседних деревень. Поделывал он кое-что и для колхоза. Летом, например, он вставил новые рамы на скотном дворе, потом согласился сколотить три пары саней. Сани нужны были позарез, и Анфиса хотела было начать разговор издали, с этих самых саней, – поторопись, мол, Тихонович, – но, встретившись с откровенно враждебным, выжидающим взглядом Марфы, она отбросила дипломатию:

– Лампада горит – праздник у вас?

– Праздник. Воскресенье завтра, – отрубил Марфа.

– И праздновать будете?

– Будем.

– Вдвоем или еще кто будет?

– Кто придет, тому и рады. Хоть ты приходи, и тебя не прогоним.

– Ну вот что, Евсей Тихонович, – сказала Анфиса. – Жить живи, а людей не смущай.

Марфа опять полоснула ее своими глазами:

– Что, убивает кого Евсей-то? Помолиться нельзя?

– Да мы никого и не зовем, – сказал Евсей. – А ежели придет какая старушонка, как ее прогонишь.

– Я предупредила тебя, Евсей Тихонович, а остальное сам понимай.

С Марфой говорить было бесполезно. Она, не дожидаясь конца их разговора, повернулась лицом к божнице, подняла руку, сложенную двуперстным крестом, бухнула на колени и напоказ, с вызовом начала молиться.

"Что же это делается?" – думала Анфиса, выходя на улицу. С лучшими помощниками своими она поругалась – с Мишкой, с Варварой, а теперь еще и с Марфой. Ох как Марфа посмотрела на нее! Как будто она, Анфиса, ей первый враг... А Варвара? Век бы не подумала. За всю войну у нее не было человека ближе Варвары. "Анфиса, Анфиса моя! Сестры у меня нету, будь моей званой сестрой. И чтобы всегда нам вместе. До гробовой доски". И они обнимались, плакали, поцелуями скрепляли клятву. А теперь к этой званой сестрице близко не подходи – укусит.

Да, что-то менялось в жизни, какие-то новые пружины давали себя знать она, Анфиса, это чувствовала, – а какие?

Раньше, еще полгода назад, все было просто. Война. Вся деревня сбита в один кулак. А теперь кулак расплзается. Каждый палец кричит: жить хочу! По-своему, на особицу.

А может, она все это выдумывает? Может, лесная страда так придавила ее?

Под ногами скрипит снег, белеют крыши под лунным небом, а под крышами темно. Только в двух-трех обмерзлых окошках чадит лучина. А где жизнь?

Жизнь ушла из деревни в леса. Надолго. На всю зиму. До половой воды.

Так всегда на Севере, испокон веку. Нельзя северянину прожить без леса.

Но ох и поломал же ты, лес, народушку! Редкая баба, которая выстояла у пня несколько лет подряд, не проклинает тебя потом всю жизнь...

На повороте улицы из-за темного угла выскочила девчушка. Встала, руками

перегородила дорогу.

– Анфиса, Анфиса Петровна! Где это вас носит? Я весь вечер ищу. К вам гости приехали.

Анфиса по голосу узнала Лизку Пряслину.

– Какие гости?

– А вот не скажу! Догадайтесь! – И Лизка, блеснув глазами, рассмеялась, скользнула мимо и уже сзади крикнула: – Дорогие!

Что за гости? Кто мог к ней приехать? Какой-нибудь командировочный? Районщики любят останавливаться у председателей колхозов – посытнее. А может... Сердце у Анфисы дрогнуло, горячая волна залила грудь. "Нет-нет, не может быть", – сказала она себе, учащая шаг. Последнюю весточку от Ивана Дмитриевича она получила вскоре после победы, из Германии, и с тех пор ни одного письма...

В окнах ее дома горел яркий свет, заулок широко разгребен от снега. Кто бы это?

Григорий...

Она стояла под порогом, словно приросшая к полу, и во все глаза смотрела на подходившего к ней мужа.

– Ну, здравствуй, жена.

– Здравствуй, Григорий Матвеевич. С прибытием. – Анфиса протянула нахолодавшую руку, поклонилась.

– Да ты, Анфиса, разучилась, как и с мужиком обходятся, – сказал из-за стола Петр Житов.

– Разучилась, Петя. Верно.

Кроме Петра Житова за столом сидели Федор Капитонович, Степан Андреянович – этих она разглядела, а дальше изба пошла кругом: на глазах у Григория она увидела слезы и вдруг сама, припав к нему, громко, по-бабьи разрыдалась.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Ель напоследок попалась толстая, суковатая, и Михаил поплясал вокруг нее снег стоптал до ягодника.

По привычке он присел было на теплый смолистый пень, чтобы отдышаться и перекурить, но затем вспомнил, что все уже с делянки ушли, кроме него и Ильи Нетесова, и встал.

– Эй, поехали! – подал он голос.

Илья не откликнулся.

Михаил повернул голову на треск сучьев сзади себя и увидел, как в темной чащобе Илья разжигает огонь.

– Ты что – для медведя стараешься? Думаешь, замерзнет ночью?

– Для себя, – ответил Илья. – Худо вижу.

– А для чего тебе хорошо-то видеть?

– Да хочу еще ель-другую свалить.

– Ну-ну, валяй, – только и мог сказать Михаил. Видывал он на своем веку лесорубов. И сам не из последних: полторы нормы за день – это уж всегда. Но Илья Нетесов не в счет. Таких работяг, как Илья, больше нету. До двух с половиной норм выжимает. И еще бригадир. Вечером ложишься спать, а он еще за столом, с бумагами – дневной баланс по участку подбивает. А утром кто первый на ногах? Илья.

"Ему надо, – говорит Антипа Постников – Партейный".

Партийный-то он партийный, думал Михаил. Это верно. Но ведь и партийный не из железа сделан. Брюхо-то у всех одинаково: ему заправку подай. А какая заправка у Ильи?

Он, Михаил, и другие худо бедно, а все какое-нибудь подкрепление из дому получают – то картошку, то молоко, а у Ильи коровы нету, Илья сам должен подбрасывать семье. Вот он и старается, чтобы хлебная пайка поувесистей была.

Голод мучил Михаила. Горбушку хлеба, которую он взял с собой, он съел еще днем – пальцы наловчились – до тех пор ковыряют за пазухой, пока там не останется ни крошки.

Выбравшись с делянки на твердую, хорошо укатанную дорогу, по которой возили лес, он околотил валенки от снега, сбил с ватных штанов куски наледи.

Мороз еще не набрал силы – с декабря начнет корезить и ломать все живое, но дорога под ногами визжала уже по-морозному, а главное, радио стало слышно.

Радио играло на той стороне речки, на Сотюжском лесопункте. В теплую погоду его не слышно – три километра до лесопункта, – но как только начинают давить морозы, тут голос столицы докатывается и до них, колхозников.

Да, вот так и живем, думал Михаил, поскрипывая валенками по лесной дороге. Кто-то эту музыку, сидя в тепле, слушает. А кто-то под эту музыку пробежки вечерние делает. С топором, с пилой. А ведь, кажись, один лес заготовляем. И мы, колхозники, и леспромхозовские рабочие. А жизнь разная. За три километра друг от друга, а разная. Там тебе, на лесопункте, и красный уголок, и столовка, и ларек – все, что надо. А у них, на Ручьях, ни черта. У них, на Ручьях, все наоборот. В прошлом году, когда на участок к ним приезжал сам Подрезов, он, Михаил, поставил этот вопрос: почему так? Почему одним все, а другим ничего? "А ты с колхоза требуй, – ответил Подрезов. – У тебя колхоз есть". А что с колхоза потребуешь? Откуда возьмет колхоз?

Сзади зацокали копыта. Михаил обрадовался. До барака оставалось тащиться еще добрый километр – вот он и подъедет. Возчики частенько выручают их, рубщиков.

Ехала Нюрка Яковлева. Остановилась, блеснула глазами из-под заиндевелого платка.

– Садись!

– Ладно, ездай.

– А чего ладно-то – не укушу, – шаловливо рассмеялась Нюрка.

– Замерз, говорю.

– Вдвоем-то, может, скорее согреемся, – быстрой скороговоркой сказала Нюрка и опять рассмеялась.

– Проваливай, говорю! – уже сердито сказал Михаил.

Нюрка была лютая на любовь. В прошлом году все они на Ручьях к весне начали пухнуть от голода, и у нее лицо отекло. Но даже в то время Нюрка по-прежнему каждую субботу бегала на лесопункт. Одна. По темному лесу. Потом Нюрка спуталась с Егоршей, а с этой осени – Егорши нету – стала липнуть к нему. Михаил как-то проснулся под утро – что такое? Кто у него под одеялом бегаёт? Мышь забралась? А то, оказывается, Нюрка – руками его ощупывает, шепчет на ухо: «Подвинься».

Ну, он подвинулся – сунул кулаком как следует. Не лезь. Будет он после Варвары на какую-то потаскуху глядеть. Правда, глядеть у Нюрки есть на что. Высокая, фигуристая, и глаза – вода полая, любое дерево с корнем выворачивают. Недаром из-за нее все ребята и мужики на лесопункте передрались. Но, конечно, куда там Нюрке до Варвары.

С делянки донесся глухой шум падающей ели – Илья все еще мял лес. Небо вывездило. Стало посветлее на дороге. Зеленой искрой сверкал снег на еловых лапах.

Михаил бежал, прислушиваясь к радио, и думал о Варваре. За полтора месяца ему только на один вечер удалось вырваться в деревню. А Варвары он так и не видел. Куда пропала? Он выстоял у нее на крыльце чуть ли не всю ночь и вернулся домой на рассвете злой, продрогший до костей. Мать, конечно, принялась за старое. "Мы думали, ты хоть за дровами съездишь. А ты опять к той ведьме". – "Ах так! – взъярился Михаил. – Вам дрова надо? Дрова? Замерзли, бедные? Ну дак померзните еще!" – и укатил на Ручьи. Вот так он проучил своих. Дровами. Пускай попробуют, как из-под снега добыть. Может, хоть это чему-нибудь научит.

Варвара не выходила у него из головы. Он думал о ней в лесу, с ожесточением врубаясь

в дерево, думал, отдыхая у костра. Варвара снилась ему по ночам. И в этих снах она не смеялась над ним, не подкусывала его, а была такая покорная и тихая и все спрашивала. "А за что ты меня любишь? Скажи..."

В морозном воздухе запахло жилым дымком, затем вскоре донеслось хлопанье промороженной двери. Михаил оглянулся – он поднимался уже на холм.

Ноги у него ожили. Он быстро перевалил за хребтину темного ельника, и вот он, барак, внизу у ручья, – с огнями, с теплом, с горячим ужином.

2

Михаил любил свой барак. Любил, как всякий лесоруб, который, набродившись в снегу за день, наконец-то попадал в тепло.

Когда осенью в сорок втором году они с Егоршей, оба пятнадцатилетние подростки, приехали на Ручьи, тут вообще никакого жилья не было. Даже охотничьей избушки поблизости не было. И вот задача: за полтора месяца поставить избу, да такую, чтобы целой бригаде жить можно. Анфиса Петровна тогда сказала: "Хошь умрите, а изба должна быть. Не я прошу – война просит".

И они поставили. Поставили впятером. Он, Михаил, Егорша, сестры Житовы Клавдия и Манька – и старик Никифор.

Никифор каждую ночь по очереди выковыривал их из песчаной норы, в которой они, как звери, спали, зарывшись в сено: "Давай-давай, разомнись!" И они разминались. Бегали до тех пор вокруг костра, пока паром не начинала дымиться промерзлая одежда.

Первые не выдержали сестры Житовы. Манька схватила воспаление легких еще тогда, когда сруб не подняли до окошек. А у Клавдии так густо высыпали чирьи по всему телу, что она не могла ни лежать, ни сидеть, и всю последнюю ночь, как на молитве, выстояла на коленях.

Потом очередь дошла и до Никифора – обгорел старик. Заснул и обгорел. Они-то, молодняк, хоть с грехом пополам, а все-таки по ночам спали, а Никифор сколько подремлет, сидя у костра, и за топор, потому что если он заснет, то кто же их будет вытаскивать из норы для разминки?

И вот какой был старик! Не о себе горевал, не о том, что у него до костей сожжена спина и жить ему осталось ровно неделя, а о крыше: "Ох, ребята, ребята, что я наделал, старый дурак. Как вы без меня поднимете стропила..."

Стропила они действительно не подняли? Лабазом покрыли избу. Не хватило у них умения, у пятнадцатилетних подростков, сделать двускатную крышу. Да и некогда было – Сталинград кричал с Волги...

Барак, как это всегда бывает по вечерам, курился дымом. Дым лез из трубы, высоким белым столбом вздымаясь к звездному небу, дым лез из обмерзлых окошек и дверных щелей.

У крыльца, похрустывая сеном, горбилась заиндевевшая лошадь. Лошадь была в санях, и Михаил понял, что кто-то приехал из деревни. У него ворохнулась мысль: не Варвара ли? Не она ли легка на помине? Но когда он, скрипя промороженной дверью, переступил за порог, мысль эта так же быстро растаяла, как морозное облако, которое влетело с ним в барак.

Приезжим оказался Петр Житов. Петр Житов сидел у жарко топившейся печи лицо с мороза красное, в зубах цигарка – и, судя по тому, как вокруг него сгрудились люди, выкладывал деревенские новости.

Дым вполстены стоял в бараке. Лампа на стене горела как в тумане. Пригибаясь, Михаил поставил в угол к дверям «лучок», взял со стола свой котелок. Новости он еще успеет узнать – Петр Житов скорее всего заночует, – а пока не разморило в тепле, надо сходить за водой да навесить котелок: рассказнями сыт не будешь.

Однако Петр Житов чем-то здорово ошарашил людей – все говорили разом: "Что ты, что ты! Не плети. Не может быть". Антипа Постников два дня не встает с нар, болеет, а тут приподнялся – бороденка кверху, глаза в потемках горят, как фонари.

Михаил подсел к нему с краю:

– Чего он там заливает?

– Чего? Председательница скурвилась. С мужиком своим разошлась.

– Анфиса Петровна? – Михаил заморгал оттаявшими ресницами и тоже вытянул шею.

Петр Житов говорил:

– Баба что замок с секретом – никогда не знаешь, что выкинет. Какой-то у ей в войну хахаль завелся. Тут, говорят, был. Из фронтовиков.

– Был. Помним.

– Ну я-то не знаю. Да вот, родного муженька в отставку, а этого, значит, как его, ждет...

– Ну и ну! Вот уж от кого, от кого, а от Анфисы Петровны не ждали.

– Смотри-ко, что в тихом-то омуте водится.

– А Григорий-то? Воевал-воевал, а приехал домой...

Петр Житов ухмыльнулся:

– Да вы очень-то не убивайтесь об Григории. Ноне мужику по этой части безработица не грозит. Нашлись добрые люди – утешили.

– Кто же это?

– Кто-кто... Варвара Иняхина выручила...

Смехом залилась Нюрка Яковлева – это Михаил помнил. Помнил, как выбежал из барака, помнил, как вскочил на сани. А дальше все пошло колесом. Нет, запомнил еще Илью Нетесова, с которым столкнулся у ростани с делянки: "Михаил, куда? Что случилось?.."

В Пекашино он влетел еще при огнях. Мимо своего дома проскакал не глядя. И вот дом Варвары. Холодом блеснули оловянные окошки.

Он вбежал в заулок, вбежал на крыльцо и стоп: замок в пробое. Тяжелый замок, обросший мохнатой изморозью. И тогда он увидел еще – крыльцо занесено снегом, дорожка в заулке не расчищена. И он сел на крыльце в снег и заплакал.

Мороз потрескивал в поленнице под сараем, глухо стонали телефонные провода на дороге, а он все сидел на крыльце и чего-то ждал. Ждал и сам понимал при этом: ждать нечего.

3

Евсей спал чутко. Раза три, не больше, брякнул Михаил промерзлым кольцом в ворота, а в сенях уже шаги. Кто, зачем – не спросил. Зато Марфа, едва он переступил за порог, рыкнула с печи, треща лучиной:

– Кого еще середка ночи?

– Да лежи, лежи ты, господи. Человек с морозу – что за допросы?

Шаркая в темноте валенками, Евсей зажег керосинку, подошел к Михаилу, примостившемуся к теплой печи.

– Не обморозился?

– Не-е, – еле выговорил Михаил.

– Руки-то, руки-то чтобы в целости были. – Евсей стащил с его рук суконные рукавицы, сдавил пальцы. – Чуешь?

– Все в порядке, – ответил Михаил и устало откинул голову назад.

Меньше всего он собирался сегодня искать пристанища у старовера. Но так уж получилось. Коня он отвел на конюшню – нечего и думать было ехать обратно, не покормив его, а самому где отогреться? Домой идти? Но он и представить себе не мог, как бы он встретился сейчас со своими. Кто, кто разбил ему жизнь? Кто разлучил его с Варварой? Разве не они – не мать с Лизкой? Вот так он и завалился к Евсею Мошкину.

Ах, думал он, закрывая глаза и все плотнее прижимаясь спиной к теплой печи, помолотят теперь языками – и в лесу, и в деревне. Вот, скажут, как его Варуха захомутала. Ночью, не евши, не пивши, поскакал... А Петр-то Житов будет разоряться... Петр Житов

взыщет за коня, взыщет...

Его разбудил Евсей:

– Ну-ко, погрейся маленько. Я самовар согрел. Михаил с жадностью набросился на холодную картошку, на ячменные сухари, потом выпил несколько стаканов горячего кипятка, заваренного сушеной черникой.

– Спасибо, – сказал он. – А я как знал, что у тебя подкормиться можно. Приехал домой, а у них все начисто подметено.

Евсей опустил голову, вздохнул.

– Ну, что у вас нового? – спросил Михаил. Он не сомневался, что Евсей, заговорив о деревенском житье-бытье, не обойдет стороной и Варвару.

А Евсей опять вздохнул и сказал:

– Шел бы ты, Миша, домой.

– А чего я там не видал? Я только что из дому. Дай, думаю, пройду по деревне.

– Нет, Михаил Иванович, – покачал головой Евсей, – ты не из дому. Ты из лесу.

Михаил сдвинул брови Откуда ему известно?

– Ждут тебя там, Миша, ох как идут...

– Пушай. Это им полезно.

– Вечер встречаю мать твою да сестрицу. Дрова везут. Измаялись, замерзли, бедные. А дровишечки... Ну как мутовки...

– Ладно, – сказал Михаил. – Слыхали. – Ему надоело петлять вокруг да около, и он спросил напрямик: – Варвара с Григорием, говорят, ушла... Как это было?..

– Да что как было. Людям жизнь устраивать надо. Вот так и было. – Евсей помолчал, положил руку ему на колено. – Брось ты все это, Миша, забудь. Кровь молодая – знаю. А как же ты своих-то так? Я когда услышал: Михаил домой из лесу не показывается, – господи! За что же, говорю, их еще наказываешь? Разве мало их война потрепала?

– Ну, и что тебе ответил бог? – ядовито спросил Михаил, но, когда взглянул на старика и увидел на глазах у него слезы, пожалел о своих словах. Евсей всем сердцем переживал их беду.

– Иди, иди, Миша, домой. Ох уж как бы они обрадовались сейчас...

Да, обрадовались бы, подумал Михаил. Петька и Гришка, Татьяна... А если узнают на завтра, что он был в деревне и не зашел домой, – что тогда с ними будет?

– Иди, иди, Миша. Самому легче станет. Вот вспомнешь меня, старика...

Михаил, все еще не решив, как ему быть, поднялся с лавки.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

20 декабря. 1945 г.

Ст. О-ская.

Здравствуй, друг сердечный, таракан запечный!

Сегодня решил написать письмо, так как от тебя все равно ни хрена не дождешься. Ну ладно, посмотрим, что запоешь, когда увидишь меня на стальном карьке. Умные люди здесь говорят: копыта последние годы в лесу ищачат, так что скоро огласим наши северные леса могучими моторами. Лес – это золото, сам знаешь.

Насчет жратухи, то я тебе врать не стану, со столовских обедов шибко не разбежишься. Но я тут сделал разведку боем и прикрепился к спецмагазину. Баба на вывеску так себе, но отоваривает хорошо. Когда ни придешь – пол-литра да закусь обеспечена. И между прочим, культурная, имеется патефон. А меня зовут Жорой, потому что это у нас, в деревне, Егор, а ежели по-культурному, то Георгий. Вот так и проходят молодые годы вдали от родины.

А как у тебя жистянка? Вставили вторые рамы в бараке? Ты бы, лопух, все-таки описал, как и что. Охота знать про свой белоснежный край.

На Новый год думаю с одним корешом съездить в Архангельск. У кореша брат работает на пивном заводе, так что пивка попьем. А потом заеду к Дунярке. В прошлый раз я у ей был, на Октябрьской. Вот, брат, как надо устраиваться! Квартирка из трех комнат, свекор – большая шишка, литерную карточку получает, ходят по коврам, и тут же, в коридоре, имеется кабинет задумчивости, туалетом называется. В общем, житуха у Дунярки на большой.

Дунярка встретила меня хорошо, то есть по-свойски. Имеется задел, то есть беременна. Все дивилась да охала, как это ты тетку Варвару обгулял. А ты, между прочим, тоже жук хороший. От меня свои шуры-муры скрываешь, а тут весь Архангельск знает. Ладно, я не злопамятный, но узелок завяжу.

Привет пинежским соснам и елям, а также всем товарищам лесорубам. Работайте, да так, чтобы родина сказала спасибо. Лес на сегодняшний день – это основа. И передай всем: Суханов-Ставров овладевает, и скоро его стальная песня зазвучит на зеленых просторах.

С трактористским приветом

Г. Суханов-Ставров.

2

Добрый день, веселый час, пишу письмо и жду от вас!!!

Здравствуй, дорогой брателко! С приветом к тебе сестра Лиза, а также вся наша орава.

Во первых строках сообщаю, что все мы живы и здоровы и того и тебе желаем. А Звездоня, Миша, в этом году рано на отдых просится. Мама-то говорит, что это она за войну отпуск просит, ведь всю войну наскрозь доила. Так что на сметану покуда не надейся, не собрать. И теперича покамест посылаем тебе картошки да соленых сыроег туес.

Петр Житов пьяный пришел, чего, говорит, Михаилу передать, а сам на ровном месте не стоит. Ладно, говорю, ты хоть себя-то доведи, а я сама напишу. Вот и села письмо писать.

Миша, дрова у нас покуда есть, а с нового года ждем тебя. Может, отпустят хоть на денек. Петька да Гришка, твои любеюшки, уж дни высчитывают, скоро, говорят, к нам Миша приедет. Ждут тебя, как красного солнышка. А на того беса рыжего выруби вицу здоровенную – на улице живет, ничего не учится. А у Татьяны, Миша, зуб выпал, на самом переду оконышко, дак нынче все за печь заглядывает, когда ей мышка новый зуб даст. Ладно, хоть меньше трещит.

Миша, писать такого больше не знаю. Мама все на молотилке убивается, а я, известно дело, с телятами. Каменку в бане Евсей переключал, хорошо теперь – не горько, а денег не взял, молока, говорит, сколько плеснете.

Ну и все, до свиданья. Писала твоя сестра Лиза.

Миша, не хотела я тебе про это писать, да уж больно обидно. И ты не сердись на меня, я ведь это не со зла.

Тут Семеновна нам говорит, что на днях тебя видела в деревне ночью. А я говорю, не плети чего не надо. Чтобы наш Михаил, говорю, в деревне был да не зашел домой, этого, говорю, и быть не может Тебе, говорю, со сна это привиделось, больно много спишь. Я и маме сказала, чтобы не плакала. Где это, говорю, видано, чтобы наш Михаил да домой не зашел.

Приехал бы ты поскорее сам да успокоил бы их всех, глупых. Я-то сама не верю, да разговоры-то такие слушать не дай бог.

Татьяна под ухом жужжит: передай от меня особый привет Мише. На, принимай особый.

Холодяк с пота не пей, об нас не тужи. Войну выжили, а теперь уж что, не пропадем.

Говорят тут у вас, нет, а к нам приехал Першин Денис из армии, Петра

Емельяновича сын. Ходит в хромовых сапогах, никакие морозы не берут, и в войну, говорят, самого Сталина караулил, а теперь не знаем, куда и сядет. Может, в районе, а может, у нас, в деревне – идет такой слух.

Поклон тебе от Степана Андреяновича. Нынче все болеет, нездоровится, война, видно, выходит. А тому бесстыднику напиши, где у него совесть-то. Дедко его ростил-ростил, а он и письма не хочет написать. Уехал на города, и за сколько месяцев одно письмецо было. Разве это дело.

Ну и хватит. Вся вспотела. Топор легче в руках держать, чем этот карандаш. Да соскучилась, дай, думаю, все выговорю, и бумага привелась – Раечка вчерась целую тетрадку дала.

Любящая сестра Лиза.

3

Не время почивать на лаврах

...Декабрьский план лесозаготовок под угрозой срыва.

Особенно нетерпимое положение создалось в ряде колхозов области, там, где демобилизационные настроения захлестнули самих председателей колхозов.

Пора с этим кончать – решительно и бесповоротно!

Да, война кончилась. Нет больше военных фронтов на карте Родины, но лесной фронт остался. Вот чего нельзя забывать ни на минуту.

(Из областной газеты)

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1

Много, не перечесать, сколько раз ездила Анфиса в район – и весной, и летом, и в грязь, и в стужу, в любую погоду являлась на вызов, а возвращалась оттуда чаще всего с накачкой, с выговором. И сегодняшняя поездка ей тоже не сулила ничего хорошего. Декабрьский план по лесозаготовкам выполнен на сорок пять процентов – а была на исходе последняя неделя декабря, хлеб обмолочен наполовину, с займом заколодило – весной, победы дождались, старый и малый подписались. И ей бы сейчас не о себе думать – о делах. А дела на ум не шли...

Бежит, бежит заиндевелевая лошадка знакомой дорогой, повизгивают полозья в зимней тишине, леса и луга меняются по сторонам, а на уме все то же: Лукашин да Григорий, Григорий да Лукашин, вся та немислимая круговерть, которая началась с возвращения Григория.

Она знала: вот-вот должен нагрязнуть Григорий. Еще в первые дни после победы извещал: приеду по первой демобилизации. И все-таки его приезд – как снег среди лета на голову.

Григория будто подменили на войне. Он весь как-то размяк, раздался вширь, у него даже волос поредел, – она это сразу увидела, как только он поднялся из-за стола и пошел ей навстречу. И уж совсем была непривычна для нее слеза, блеснувшая на его глазах.

Вот тогда-то она и заголосила навзрыд – поняла, что наделала своей бабьей жалостью. И самое страшное во всем этом было то, что Григорий утешал ее и счастливыми, прямо-таки восторженными глазами смотрел на гостей: вот, мол, поглядите, люди добрые, как меня встречают. А потом, когда они остались вдвоем, он медленно обвел глазами избу и сказал: "Ну вот. Четыре года ждал я этой минуты". И тут уж она больше не выдержала – рубить так рубить: "Зря ты ждал, Григорий. Нам с тобой не жить".

Крики, проклятия, кулаки – да, все бы это было легче для нее. Так нет же! Григорий –

это Григорий-то, который раньше одним взглядом вгонял ее в дрожь! стал умолять ее одуматься, забыть, что было раньше. Еще до войны она предлагала взять ребенка в детдоме – вспомнил и это: "Давай возьмем для полноты жизни". А может, у нее за эти годы неустойка по женской части вышла, так ведь и это он понимает. Сам не без греха.

Три дня терзал ее своим великодушием Григорий, а на четвертый день уехал в район. Да не один, а с Варварой Иняхиной.

И Анфиса, когда узнала об этом, только что не перекрестилась от радости. Пускай, пускай будут счастливы! Видно, не зря приняховались друг к другу еще до войны. Судьба... А сколько она слез тогда пролила? И из-за чего? Из-за того, что бабы на каждом перекрестке судачат да языком чешут. Нет, нет, не из-за ревности она слезы проливала. К тому времени у нее и в помине не было любви к Григорию. А из-за гордости, из-за того, что бабы на тебя смотрят с обидной жалостью да подленьким любопытством: "Ну-ко, скажи, скажи нам, за что тебя свой мужик не жалует. Какой такой изъян в тебе есть?"

– Ох, бабы, бабы, – сказала Анфиса вслух, – кто вас разберет...

Эти слова она часто произносила в последнее время, потому что и в самом деле не понимала, почему от нее отвернулись бабы. Из-за Григория? Так вот же он, бедненький, – с молодой женой медовый месяц справляет. А ей чего завидовать? Она покамест на том же вдовьем положении, что и остальные.

Лошадь громко, с выхрапом прочистила заиндевелые ноздри и вдруг без всякого понукания затряслась мелкой рысцой.

Смеркалось. Высоким розовым столбом вздымался дым над районной пекарней.

При въезде в райцентр Анфису обогнал начальник сплавконторы Таборский. Привстал на санях, крикнул в лицо, обдавая винным перегаром:

– Здорово, молодка! Не на свадьбу? Слыхал, слыхал, что мужика замуж выдала. – И захохотал.

И вот, выезжая на главную улицу райцентра, Анфиса больше всего боялась встретиться с Григорием да Варварой.

Она не встретила ни Григория, ни Варвару.

В тот вечер на бюро райкома ее сняли с председателей.

2

Михаила и еще трех лесорубов вызвали на собрание с Ручьев. Лошадь подогнали к делянке, так что они даже в барак не заходили. Прямо от пня да на бал. Весело! В брюхе волки воют, а ты обсуждай колхозные дела.

Да что обсуждать? Картина ясная, не сбрежали люди: новый председатель уже выставлен напоказ, за красным столом по правую руку от Подрезова сидит, а Анфиса Петровна тоже, надо полагать для наглядности, в тень задвинута, так что Михаил не сразу и разглядел ее на сцене.

Подрезов не стал метать громы и молнии – видно, отметал еще у себя на бюро. Сказал просто:

– Мы, райком, долго возились с Мининой. Со всех сторон ее подпирали. Но, как говорится, изба на подпорках не изба. Пора и у вас, в Пекашине, подвести под войной черту.

И вот эти последние слова насчет того, что хватит, дескать, жить войной и по-военному, шибко пришлись по душе людям.

– Пора, пора... Дай-то бог...

– Но, товарищи, надо бы нашему председателю за войну сказать спасибо... Это Илья Нетесов неуверенно подал голос от печки.

Михаил поморщился, как от зубной боли: ну, будет сейчас мокряди. Бабы откроют свои шлюзы – затопят собрание слезами.

Но, к его немалому удивлению, все молчали. Что такое? Подрезовской команды ждут? Или еще не раскачались?

Лицо у Анфисы сделалось белое-белое. Как снег. Да, это не шутка. Столько лет трубила-трубила, а на поверку оказалось, что у людей и доброго слова для тебя нет.

Кто-то сзади, кажись, Александра-скотница, Трофима Лобанова дочь, зашептала беспокойно:

– Скажи, скажи, Михаил. Разве трудно тебе?

Сказать? А почему и не сказать? Можно сказать. Он сложил руки ковшом, крикнул басовито:

– Голосуй! Все ясно. Сколько еще можно назад оглядываться!

Да, вот так он сказал. Он не Егорша. Это у того слово и камнем летит, и соловьем поет, а тут получилось что надо. И ежели у какой бабы и было еще намерение повздыхать о прошлом, а заодно и Анфису Петровну добрым словом помянуть, то после его выкрика поворот на сто восемьдесят градусов. После его выкрика все потянулись глазами к новому председателю, потому что сообразили: с ним, с новым председателем, жить, из его рук кормиться.

А Михаил встал. Встал во весь рост и пошел на выход. Авось бабы сумеют проголосовать и без него. Зато Анфиса Петровна лишний раз увидит, кто ее срезал. Пускай посмотрит. Он не таится. Квиты! Ты мне насолила, жизнь разломала, и я не остался в долгу. Сполна рассчитался.

3

– Ну, ты выдал! Прямо под дыхало ей... – заговорил Петр Житов, спускаясь с крыльца.

Хлынувшие вслед за ним из клуба бабы едва не сбили его с ног. А когда выбрались на твердую, накатанную дорогу, дали волю своим языкам. Два черных говорливых ручья покатались от клуба.

– Вот оно когда, собрание-то, у них началось, – заметил Петр Житов.

К ним, попыхивая сигарками, подошли еще мужики: Иван Яковлев, Костя-атаман, Василий Иняхин.

Петр Житов в ознаменование наступления мужского царства в Пекашине предложил скинуться по тройку. Все предложение это приняли и без лишних разговоров двинулись к Марине-стрелехе, так сказать, на нейтральную территорию, где будут исключены всякие домашние помехи.

Михаил дошел с мужиками до правления и вдруг раздумал: завтра рано выезжать в Ручьи, а он еще и дома не был. Что там делается? В прошлый раз, как ни упрашивал его Евсей Мошкин, он не мог заставить себя заглянуть домой. Походил-походил вокруг да около и поехал в район: будь что будет, пускай под суд его отдадут, а он должен увидеть Варвару. Своими глазами. Ну а после этой вылазки в район ему и вовсе не до семьи было.

Да и вообще, думал Михаил, подходя к своему дому, можно было бы и сегодня не заходить. Пускай на своей шкуре испытают, что это такое – дрова из-под снега добывать. Полезно! А то, когда за людей всё другие делают, хамеж у них развивается.

Войдя в заулок со стороны задворок (враспloch хотелось нагреть), он все-таки заглянул в дровяник.

Дрова есть. Правда, мутовки. И сразу видно, кто добывал. Бабью работу по зарубу узнаешь – кряж со всех сторон изгрызен, будто и не топор в руках был. Может, только одна баба и умеет в Пекашине рубить по-мужицки – Анфиса Петровна...

"А ну ее к дьяволу! – выругался про себя Михаил. – Кой черт на память лезет!"

У крыльца он поскользнулся и едва не упал. Оказывается, у ребят почти впритык к крыльцу сделана ледяная горка.

– Чего смотрите? – заорал он, вламываясь в избу. Это относилось к матери и Лизке. – Те скоро с крыльца ездить будут. Через окошко влезать в дом?

Тут, бешено вращая разъяренными глазами, он увидел на своей койке ребят (сколько раз говорено: не спать на моей койке!) и раскричался еще пуще.

Хлебного в доме не было ни крошки. Михаил помял холодной картошки с капустой (корова не доила, самовар довели: труба протекает) и приказал, чтобы мать сняла с печи все валенки, какие там есть, а сам пошел в сени за ящиком, в котором хранился сапожный инструмент, потому что чертова семейка – ежели не положить как следует, все растащат.

Мать накидала на середку избы целую кучу рвани – из овчин, из старых ватников, из отцовского суконного пиджака, в общем, собака знает, почему вся эта заваль, раскисшая, вонючая, называется валенками.

Он повертел в руках один чужак, повертел другой и пришел в ужас: ничего не сделать за ночь. Нечего даже и приниматься.

– А эта чего сидит? – заорал Михаил, наткнувшись глазами на Лизку, которая все еще, с той самой поры, как он вошел в избу, сидела на прилавке у печи, облокотившись одной рукой о подпечек. И в пальтухе. – Может, не домой пришла в гости?

– На собрании была, – ответила за Лизку мать.

– На собрании? В клубе? Вот-вот, тебя там только и не хватало. А еще, говорят, обутки нет. С чего же у вас обутка будет, коли вас в каждую дыру тянет! Ну что, – злорадно усмехнулся Михаил, – посмотрела, как на председателей решку наводят? Вот так! Не копай другим яму.

– Это Анфиса-то Петровна яму копала? Кому? Бессовестные! "Анфисьюшка... родимушка ты наша... желанная..." Давно ли еще о празднике причитали, а тут воды в рот набрали... – Лиза всхлипнула.

Мать, вздохнув, сказала:

– Да уж, Анфиса помогала людям. Куска лишнего не съела... Я помню, раз на пожню пришла – как раз мы разобрались с едой. Ну, Грунька и говорит: "Давай-ко, председательша, угости нас своими колобками". А председательша достала колобки – никто и не позарился: тот же мох да древесина.

– То-то и оно, – заговорила опять, давясь слезами, Лизка. – А могла бы и на муке замешать. А тут увидели этого Першина – в рот готовы ему смотреть. А Анфисы Петровны кабыть и нету.

– Першин тут ни при чем, – отрезал Михаил. – А об Мينيной райком сказал ясно.

– И никакая она нам не Минина. Кабы не Анфиса Петровна, может, и нас-то сейчас на свете не было. Вот.

– Я говорю, после райкома у нас не принято говорить. Дошло?

– Ну и что, – не унималась Лизка, – то райком, а то люди. Райком сказал, и вы бы сказали. Спасибо, мол, Анфиса Петровна, за труды твои великие, за то, что с тобой все беды да напасти пережили...

Михаил с ехидством улыбнулся:

– Вот ты бы и сказала, раз такая смелая.

– И сказала бы! Да я думала, мужики сидят, с Ручьев нарочно вызваны, скажут, не потеряли еще совсем совести.

– Дура! Люди жить хотят. Мало настрадались? За что тут благодарить? Ни пожрать, ни обуть! – Михаил бросил разъяренный взгляд на кучу валенок. – Ну и ясно – обрадовались: новый председатель будет. Чула, что сказал Подрезов? "Надо, говорит, кончать с бабьим царством. Пора, говорит, и у вас подвести черту под войной". Поняла? – Он зло постучал кулаком по своему лбу. – Черту под войной. Ясно?

– Ну и что, – по-прежнему продолжала твердить свое Лизка, – не отвалился бы язык, ежели бы и сказали.

– Да пойми ты, чертова кукла! – заорал вне себя Михаил. – Надоело людям понимаешь? Сколько она говорила в войну: вот война кончится – заживем, вот война кончится – заживем. А как зажили? Где эта жизнь распрекрасная? Дак, может, хоть теперь, с новым председателем, получше будет. Понятно тебе, о чем люди думают?

– Ну и что, она не виновата. Не она одна, все так думали...

Михаил трахнул валенком о пол (он таки взялся было за материн чужак), заорал на всю

избу:

– Гасите свет! Что еще за моду взяли – по ночам с огнем сидеть!

Свет погасили.

Мать сразу же убралась на печь, а Лизка, раздевшись, опять присела на прилавок и начала давить ему на психику, по-кошачьи сверля его из темноты своими зелеными глазами. Потом пустила в ход слезы – это уже лежа на печи. Вот, мол, словами не говорю – не придерешься, а все равно при своем осталась. Хоть убей, хоть на куски изруби, а буду Анфису Петровну защищать.

Над головой, скрипя полатницами, ворочались ребята – эти всегда просыпаются, когда он начинает окуривать их снизу.

А может, Лизка и права, подумал вдруг Михаил. Может, и надо было спасибо сказать. Ведь все-таки, ежели рассудить по совести, заслужила. А почему ей спасибо? – резко возразил он себе. А почему ему никто не сказал за войну спасибо? Мало вкалывал? Нет, все-таки Анфиса Петровна сказала. На празднике. Крепко сказала. Да и вообще всегда его отмечала – не скупилась на похвальное слово.

И тут Михаил вспомнил то, что все время отодвигал в сторону. Раз, когда Илья Нетесов подал голос насчет того, чтобы поблагодарить Анфису Петровну, ему показалось, что Анфиса Петровна кого-то ищет глазами в зале. Может, его искала? К нему взывала: скажи Михаил!

Малиновый окурок прочертил избяную темень и зашипел в тазу под рукомойником.

Нет, голубушка, мысленно сказал Михаил и стиснул зубы. Ошиблась. Не по тому адресу обратилась. Ты суд надо мной да над Варварой устроила, а я принародно в пояс тебе кланяться?

И опять эта мысль, которая должна была распалить в нем ненависть к Анфисе Петровне, неожиданно сменилась другой, прямо противоположной. А крепкий же она человек, подумал Михаил про Анфису. Весь вечер высидела. Как гвоздями прибитая. Не дрогнула, не охнула...

Спать, спать, сказал он себе и круто повернулся на правый бок, к стене.

Лизка на печи все еще плакала.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

– Эхе-хе-эй! Нет ли тут у вас одного пекашинского чувака? Че-чѐ? Нету? А почем ваши утушки – белые, шейки? Че? Непродажные? Но-но, прикройся! Пушай сами скажут. У нас, между прочим, равноправие...

Егорша побрел дальше. В одной руке веточка ивовая – от оводов, в другой через плечо – пиджак. Не тяжелая ноша. А пот лил с него градом. И не только от жары.

В последние две недели он покачал в себя горячего. Сперва дома по случаю возвращения с курсов трактористов, потом в родном Заозерье на встречах у дяди.

Вот тут они развернулись. Музыка – две гармонии (его тальянка да дядин трофей со светлыми перламутровыми планками), закусь – баран на столе, а винцо, какое винцо! Не сучок, не табуретник доморощенный, а коньяк-виноград, злое солнышко. Дядя привез этого добра из Германии целую канистру, и сколько можно было бы еще заправляться, да Егорша сказал себе: стоп! Пора в район. Пора насчет работенки подходящей пошуровать, а то, чего доброго, и с правами за пень встанешь: ведь тракторов в районе покамест нету. Вот так он и попал из-за праздничного стола на райцентровский воскресник по сплаву.

Правда, его никто не неволил – он мог и день, и два отлеживаться на сеновале у начальника райтопа, старого знакомого по отцу. Да надо же соображать немножко! Голова-то день и поболит – не отвалится, а когда еще подвернется такой случай, чтобы все районное начальство было в сборе? И Егорша, не долго думая, – багор в руки, гармонь за плечо, да в первых рядах на Выхтемскую косу, на самый боевой участок лесного фронта.

Проклятье, боже наказание для пинежан эта Выхтемская коса! Всегда на ней лес, какая бы вода в реке ни была. В маловодье понятно: древесина садится на песок, и тут никакими бонами не спасешься. Но на ней, на этой косе, и в сырое лето не бывает безработицы. В сырое лето вода кругом разольется – мосты наставит в кустарниках да в низинах. Вот и выходят, что на Выхтемской косе всегда худо: и в дождь, и в ведро.

– Эй, – закричал опять Егорша, поравнявшись с новой кучкой сплавщиков, на этот раз состоящей почти исключительно из мужиков и подростков. – Есть пекашинские!

– Нету. Дальше они.

Егорша посмотрел вдаль на крохотных человечков, бродивших посреди реки, и выругался.

Ах, олухи пекашинские! Не могли отвертеться. Загнали-таки на Артюгину плешь, от которой еще в войну все, как от чумы, отпихивались. Потому что ревматизм тут верный. Негде обогреться и обсушиться, ежели сверху дождь. А в такую жару, как нынешняя, тоже не курорт. Сгоришь к чертовой матери. Шкура ключьями сползет. И поэтому раньше, в те годы, как делали? Требовали, чтобы кадровых рабочих на Артюгину плешь занаряжали. Неужели Мишка забыл про это?

Егорша еще не меньше полукилометра отшагал по жаре, по скрипучему, раскаленному песку, затем бросил пиджак на пружинистый куст ивняка, сполоснул лицо, прополоскал горло и только тогда, сложив руки ковшиком, прокричал на реку.

Мишка, по счастью, услышал сразу.

– Иду-у-у!

И вот уже отделилась от острова знакомая сутуловатая фигура – и тяп-тяп по песчаной отмели. И были видны белые, сверкающие на солнце ступни, и отсюда, с берега, казалось: человек идет по воде.

– Ты как Христос расхаживаешь, – сказал Егорша и, очень довольный этим неожиданным для самого себя сравнением, рассмеялся.

– Христос, мать его за ногу! – Михаил, выйдя из воды, с трудом разогнулся.

– Что, опять водяная болезнь?

– Да, замучили чирьи.

Они легли в тень под ивняк.

От Михаила пахло сырьем, прелой одеждой. Кожа на ногах, размытая водой, была белесо-розовая, дряблая. Он болезненно щурился и мигал. Это от солнца, от слепящего зеркала воды – чисто сплавная болезнь.

– Дозвольте доложить, – начал Егорша шутливо, но в то же время и не без гордости, – тракторист Суханов-Ставров вернулся с десятимесячных курсов. Вот моя книжица.

Он полез в один карман, полез в другой, и вдруг лицо его сделалось белым, как мука.

– Неужели я их где выронил?

– Чего выронил?

– Права! – закричал, зверея, Егорша и быстро-быстро начал разгружать карманы.

На песок полетели-посыпались разные вещи: светлая алюминиевая расческа, химический карандаш, две авторучки – Егорша любил при случае выдать себя за начальника, – паспорт, комсомольский билет...

– Вспомнил! Я их у дяди оставил. Ну да! Я еще, когда показывал, сказал тетке: убери подальше, тут моя жизнь. Чего ты губы в бок? Думаешь, заливаю? Потерять права – все равно что голову потерять. Так нам говорили на курсах.

– Егор-ша-а-а... – донесся издали женский голос.

Вялости и усталости у Егорши как не бывало. Он живо приподнялся на локоть, глянул

вниз по реке.

Белый платок трепыхался в конце косы, под застругами. Потом еще один вскинулся.

– Мне сигналият, – сказал Егорша. – Роздых кончился, або начальство подошло, художественную часть требует. Я ведь знаешь как сюда? На одном плече багор, на другом гармонь. Сам Подрезов приказал: "Ты, говорит, Суханов, подъем перво-наперво мне обеспечить". Цени. Все бросил, а пошел друга разыскивать...

Егорша снова растянулся на песке, подмигнул с намеком:

– А голосок-то узнал?

– Какой голосок?

– Но-но, вбивай, Ерема, кривые гвозди. Гадюка! Все секретики... Мы с Дуняркой обхохотались тогда об этом деле. Я это вкатываюсь к ней насчет подкрепления – вдребезги с одним корешом прогорел, не на что в училище убраться, и вот Дунярка меня етим самым раз по кумполу: "А ты знаешь, говорит, что моя тетушка-то учудила? Первого пекашинского мужика захороводила".

– Как там наши? – спросил Михаил.

– Чего? Наши? Ты меня с фарватера не сбивай. Сперва предоставь полную отчетность. В смысле картошки дров поджарить... – Егорша хохотнул. – Я, между прочим, по дороге сюда спрашивал. Не отрицает...

– Был, говорю, у наших? – снова резко и нетерпеливо оборвал его Михаил.

Егорша старательно облизал пересохшие губы. Внутри у него все кипело и клокотало. Кто они, в конце концов, с Мишкой? Друзья? Или первые встречные-поперечные? Он, Егорша, ради друга все бросил, на жару махнул, а тут пришел – и дверь на замке. Подумаешь, важная государственная тайна – с бабой переспал. Но Егорша сдержался и ответил спокойно, даже с потугой на остроту:

– А чего наши... Все пока кверху головой.

– Мне ничего не наказывали?

– А как им наказывать? Я ведь нынче через Заозерье трассу в райцентр пролагал...

– Значит, и Першина не видел?

– Видел. Но, между прочим, тебе привета не передавал.

– А на кой черт мне его привет?

– Не скажи. Председатель!

– Он лучше бы, гад, замену мне давал. На две недели послал сюда, а сегодня у нас какое?

– А чего тебе? Живи. Думаешь, кисельные берега ждут тебя дома?

Михаил не ответил. Он смотрел за реку, на пестрый луг, по которому медленно со стрекотом ползла конная косилка.

Так вот в чем дело, догадался Егорша. Пожня, сенокос у него на уме. И бесполезно теперь о чем-либо с ним толковать. Не поймет, не услышит. Как глухарь на токовище.

И Егорше, пожалуй впервые за много-много лет их дружбы, вдруг стало скучно и неинтересно со своим приятелем.

2

Ребята звон подняли на всю улицу:

– Миша, Миша пришел!

А мать-то, мать-то обрадовалась! Слезой умылась, встречая его у крыльца.

И только Лизка все сразу поняла, все уразумела.

– Ладно и сделал, что ушел. Как не уйти! Бывало, об эту пору какие зароды стояли, а нынче что?

Он сел на нижнюю ступеньку крыльца, так, чтобы голова оказалась в тени, а если бы ему сейчас приказали забраться на крыльцо, то еще неизвестно, как бы это у него получилось.

Тридцать километров отшагал он по жаре, да с чирьями на теле, да босиком вдребезги разбил, искровенил ноги. Нельзя, ни в коем случае нельзя было отправляться босиком в такую дорогу после двухнедельного брожения в воде.

Но, по правде говоря, он не столько переживал сейчас из-за ног, сколько из-за сапог. Ноги – что. На ногах новая кожа вырастет, а вот на сапогах не вырастет. Сапоги съела Выхтема. По существу, только голенища он и принес в корзине, а головки сгнили, сопрели от жары и сырости.

Михаилу стало немного полегче, когда Лизка принесла тазик с холодной водой и помогла ему вымыть ноги. Затем на сбитые, израненные места она положила свежий подорожник и обмотала ступни ветошью.

Первую и самую главную новость выложила Татьяна.

– Муки-то нам не дали, – сказала она сердито. Оказывается, на днях тем, кто едет на дальний сенокос, правление выписало по три килограмма ячменной муки, а им ни шиша. Почему?

– Вот то-то и оно, что почему, – заговорила Лизка. – Я уж ему, борову, вчера доказывала.

– Кому? Председателю?

– Ну. Нарочно ходила в правленье. Мама наша разве пойдет. Что, говорю, у нас разве Михаил-то не поедет на пожню? Всю страду будешь держать у реки? "А когда поедет, тогда и получит". А мы, говорю, с мамой не робим? Я три года телят обряжаю. Да пропади они пропадом и телята, говорю, коли на то пошло. А тут как раз в контору Павел Клевакин вошел – только что с Германии приехал. Добра, говорят, всякого воз целый привез. Ну и вот: получай, Павел, пятнадцать килограмм муки. Тот даже и не просил. Почто, спрашиваю, так? "А пото, что закон такой есть. Полагается. Всем, кто с войны возвращается, мука положена". Ну, тут я и слова сказать не могу. Залилась слезами. Какой же это закон, думаю! У нас папа жизнь положил, а нам ни зернышка, а тут здоровый мужик к семье вернулся, да ему же еще и мука...

– Ладно, – сказал Михаил. – Чего впустую кулаками размахивать.

– Да ведь как не размахивать, – возразила Лизка, ширкая носом. – Он, дьявол, на нас взъелся – житья нету. А из-за чего? Что мы ему исделали? Три человека в колхозе роят – ну-ко, много ли таких домов в Пекашине?

Тут Лизка немного покривила душой. На самом-то деле она знала, из-за чего взъелся на них председатель.

Из-за критики. Из-за того, что он, Михаил, против шерсти погладил Першина.

Дело было нынешней весной. Михаил в числе первых выехал из лесу на посевную. Выехали с радостью, с надеждой: ну-ко, новый председатель, покажем, как надо настоящий урожай с весны закладывать.

И вот тут-то вдруг выясняется: в колхозе нет семян. Семена наполовину скормлены лошадям в лесу.

Орали, кричали много, из района приезжало начальство, а что толку? Ответил за это Першин?

"За неправильное использование семенного фонда председателю т. Першину поставить на вид".

"За успешное выполнение плана вывозки леса объявить товарищу Першину Д. П. благодарность с вручением денежной премии в сумме 1500 рублей".

Да, такое вот вышло решение. Михаил сам обе бумаги читал. И что же после этого удивляться, что Першин залютовал, начал на каждом шагу прижимать тех, кто хотел спросить с него за семена?

Больше всего Михаилу хотелось сейчас забраться на поветь да отлежаться в холоде на

траве, да потом – в баню, на полоч. И все это нетрудно бы сделать, все в своих силах: поветь рядом, баню – стоит только сказать – мигом затопят.

Но он посидел-посидел на крыльце и побрел в контору. Черт его знает, что там теперь делает Першин. Может, пока он тут расслаживается, Першин уж все провода оборвал, с милицией его разыскивает. Такой у них председатель. Ему ты на мозоль наступил, а он тебе за это ногу рвет напрочь.

3

Все вышло так, как думал Михаил. Правда, через милицию Першин его не разыскивал, во всяком случае при нем не заводил речь об этом, а все остальное – точь-в-точь, тютелька в тютельку.

– Ты откуда это сбежал, а? Ты чего бросил, понимаешь? Лесной фронт – так говорю? А знаешь ли ты, как у нас с теми поступают, кто с фронта дезертирует?..

Да, вот так, на таких басах начал разговаривать с ним Першин.

И что ты ему скажешь, что возразишь? Верно, и чирьи замучили, и обещание с его стороны насчет замены было, а все-таки факт остается фактом: самовольно, без разрешения ушел со сплава, а ежели все ставить точки над «и», то и так сказать можно: дезертировал.

И вот в эту самую минуту – подмога. И от кого же? От Анфисы Петровны.

Когда, откуда она вошла в контору – с улицы, из бухгалтерской, – он не заметил. А услышал вдруг голос возле себя, радостный-радостный:

– Михаил, ты? Ну какой ты молодец! А я уж думала – без тебя нам нынче на пожню ехать.

– Так и будет – без него! – сказал Першин. – А я его знаешь куда отправлю? На казенные сухари.

– Куда? На какие сухари?

– А ты как думала? Человек со сплава удрал...

– Не плети, чего не надо. Удрал... Где это слыхано, чтобы со сплава на пожню удирали! Умному человеку скажи – засмеет. А ты скотину-то думаешь, нет, зимой кормить? Да председатель ты или начальник сплавконторы?

И тут Михаил вздохнул: Першин вцепился в Анфису Петровну. Можно сказать, с радостью вцепился, потому что если он, Михаил, и еще кое-кто и суют палки ему в колеса, то Анфиса Петровна сует целое бревно. Это она, Анфиса Петровна, схватилась с Першиным на правлении из-за семян, а он, Михаил, да Петр Житов, если говорить правду, только облай со стороны вели. Да и по всем остальным вопросам кто всегда режется с Першиным? Анфиса Петровна.

Михаил постоял минут пять, спокойно и невозмутимо наблюдая за сражением со стороны, и вышел из конторы: крепко, всеми зубами увяз Першин в Анфисе Петровне, и теперь ему не до него.

Пока стоял в правлении, Михаил ни разу не подумал о своих ногах, а сейчас – только ступил на твердую жаркую землю – покачнулся от боли. Великую глупость сотворил он, что сорвал повязки с больных ног. Сорвал, когда уже входил в контору. Потому что подумал: а вдруг Першин, взглянув на его обвязанные ноги, скажет что-нибудь в том смысле, что будет, мол, тебе сироту-то разыгрывать. Знаем этот приемчик – давить на жалость.

В знойном воздухе пахло дымом, гарью – не иначе как кто-то затопил баню. А может, лес где-то поблизости горит? Должны быть лесные пожары в этом году. Сухая молния часто палит по горизонту над лесным обводьем.

Все же он выдержал: и заулочек правления, и угорышек перед медпунктом, и дорогу от лавки до клуба прошел не ахнув, не охнув. Не дал поторжествовать Першину, ежели бы тот, к примеру, вздумал выглянуть в окошко: вот, мол, какого страху я на него нагнал, идет – и на улице качается.

Зато у клуба шабаш – сел на ступеньку крыльца. Хорошо тут. Тень, травка зеленая. И –

ах – приятно бедным ногам! Как в воду опустились.

Да, подумал с издевкой о себе Михаил, храбро ты прошел под окошками правления. Выдержал марку. А подлец, все равно подлец! Анфиса Петровна, выручая тебя, можно сказать, на пулемет, на амбразуру бросилась, а ты? А ты, как самый распоследний негодяй, – драпать. Нашел время счеты сводить.

И вот еще из-за чего было погано у него сейчас на душе. Из-за того, что надул Анфису Петровну. Ведь как Анфиса Петровна всю эту историю с его возвратом домой приняла? А так, как сказала. Что вот, дескать, подошла страда, и Михаил не подвел. Все бросил: и заработок бросил, и палку хлебную бросил, а на сенокос пришел. Моей, мол, человек выучки. За колхоз болеет.

А разве это так? Разве сенокос у него на уме был, когда он удирал со сплава?

То есть, конечно, он и о сенокосе думал. Особенно в последнее время, когда за рекой, напротив Артюгиной плещи, начали косить. А как не думать? Кто за него нароет сена для Звездони? Но удирал-то он все-таки не из-за сенокоса, а из-за Варвары.

Зимой он целый день выстоял на морозе напротив милиции, где, как он узнал, Варвара работала уборщицей. Можно сказать, жизнь свою на кон ставил, в решку играл, потому что разговор мог быть коротким: и сам с Ручьев удрал, и лошадь угнал. И все ради нее. Все ради того, чтобы увидеть ее, чтобы она сама, своими губами сказала, из-за чего ихнюю любовь порушила.

Сказала: "Не срами меня. Я не девчонка, чтобы меня на улице имать. У меня муж есть". И пошла, запоскрипывала новыми валенками, а то, что еще месяц назад чуть ли не волосы на себе рвала: "Мишка, Мишенька, скажи: неужели разлюбишь меня?" – это не в счет. Это так, пустяки, вроде художественной части.

И вот когда Егорша ему намекнул, что тут, у реки, Варвара, Михаил понял: надо удирать. Немедленно удирать. Потому что невозможно угадать, что взбредет в голову Варваре. А вдруг она захочет сделать из него олуха? Для собственного удовольствия, на потеху районной публике. И сделает. Не постесняется. А это свыше его сил. На все согласен, все готов перетерпеть ради нее! И скажи она, к примеру: "Мишка, докажи, что любишь, – оттяпай свой пальчик". На, пожалуйста. Любой, на выбор. Но быть посмешищем – нет. Никогда! Даже если бы этого хотела она, Варвара...

4

Кто-то кашлянул или чихнул поблизости. Михаил поднял голову и увидел своих двойнят. Петька и Гришка робко, вполглаза поглядывали на него из-за некрашеной трибуны, с которой говорили речи в Первомайские и Октябрьские праздники, и заискивающе улыбались.

– Чего тут делаете? – спросил Михаил.

– Ничего. Мы так.

– Как так? Где были?

Двойнята замялись. Врать они не умели совершенно, но в то же время им и правду говорить не хотелось. В конце концов они признались: сидели на бревнах в заулке правления.

– В заулке? – удивился Михаил. – Как же я вас не видел? А вы меня видели?

– Видели.

И тут Михаил понял, что они ожидали его. Боялись, как бы с ним чего не случилось. А кроме того, соскучились. В первые дни после его возвращения из лесу или со сплава двойнята ни на шаг от него – это завсегда.

– Ну, чего стоите? Идите сюда. Ободренные его улыбкой, ребята подошли к крыльцу. Михаил потрепал того и другого по голове.

– Рыбу-то нынче удите?

– Не. Не клюет. Вода цветет.

- Худо дело.
- А у нас махра есть, – сказали ребята.
- Махра? Какая махра?
- Курить котору.

Михаил, ничего не понимая, развернул газетный кулечек, который протянули ему братья, и верно: махорка, самая настоящая махорка.

– Откуда она у вас? Вы не курить ли у меня вздумали?

– Не. Это Егорша, когда у нас пьяный был, Лиза попросила. Отсыпь, говорит, немножко для Михаила. Не жадничай. Вот Егорша и отсыпал.

– Это вы хорошо с Лизкой придумали. Молодцы! – сказал Михаил.

Последнюю сигарку он выкурил на Марьиных лугах часа четыре назад, не меньше. И если говорить начистоту, то непредвиденное бегство с Выхтемы, пожалуй, дороже всего ему обошлось по табачной линии. Ибо стоило ему дожидаться сегодняшнего вечера, и он получил бы целую пачку махры – сплавной паек за неделю.

Трудно сказать, сигарка ли выкуренная взбодрила его, или немного полегче стало ногам в прохладной траве, или, наконец, жара не так давила теперь, под вечер, но Михаил, ковыляя домой, уже не морщился, не кусал губы на каждом шагу. Да и на душе у него поспокойнее стало. И скоро мысли и заботы пошли по привычному кругу.

Он начал думать об обулке, о том, что надо срочно где-то разжиться новой косой (старая в прошлом году лопнула), о харчах и хлебах – в общем, обо всем том, что связано с выездом на сенокос.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Странное, необычное то было лето.

Кругом горели леса, деревни по неделям не вылезали из дыма – точь-в-точь как в войну, когда бомбили Архангельск и его пригороды. Люди измучились, мотаясь по пожарам. Только потушили один пожар, взялись за косы – на, опять нарочный скачет. А на пожне тоже не развеселишься. Хлещешь, хлещешь косой, бегаешь, бегаешь с граблями – а где сено?

Жара. Сушь На болотах журавль кричит от безводья, скотина замаялась от гнуса...

И, однако же, шальная гульба захлестывала деревни в то лето – возвращались фронтовики. Правда, не густо, не теми косяками, какими уходили на войну. Но возвращались.

И была радость у людей. Были свадьбы и скороспелая любовь на лету.

И были плачи великие. От земли до неба. По тем, кто не вернулся с войны...

2

Весной и летом за последние годы Пряслиных выручала Пинега. Петька и Гришка редкий день не приносили рыбешки на латку – на две, а если еще похвалить, готовы сидеть у реки с утра до ночи.

Нынешним летом рыбки не поели. На ямы да на заструги забила от жары рыба. Лес тоже подвел. Ни гриба, ни ягоды не видали за все лето. И, наконец, Звездоня, их главная кормилица. Раньше возвращается из покотины – как баржа плывет, задние ноги распирает от вымени. А нынче скоком, порожняком бежит домой, спасаясь от гнуса.

Егорша, как и в прошлом году, подбивал Михаила:

– Перебирайся в леспромхоз! Сообрази, что будет: вся Россия горит на корню. Хочешь, помогу? Я ведь теперь – охо-хо! – на одной подушке с Подрезовым сажу...

Да, Егорша мог замолвить словечко – шоферил в райкоме. Сумел устроиться, сукин

сын!

Его товарищи, те, что были с ним на курсах, – «лучок» в руки и снова к пню. А что же еще делать, раз трактора в район не завезли? А Егорша – нет. Егорша потолкался с недельку в райцентре, все разнюхал, повыведал, тому зубы заговорил, этому заговорил – сел на райкомовскую легковуху. И пошла писать губерния. Куда ни заехал, куда ни заявился – первый человек. Председатели колхозов на задних лапах перед ним, потому что пес его знает, что он напоет хозяину, когда останется с ним с глаза на глаз.

Соблазн от Егоршиных слов был велик, и на первых порах Михаил воспрянул: наконец-то и он на фарватер выплывет. Уродилось, не уродилось на полях – твое дело маленькое. Пайка тебе обеспечена.

Но так говорил он себе поначалу, сгоряча. А затем, спокойно пораскинув умом, започесывал затылок. Нет, не так-то просто, оказывается, отчалить ему от колхозного берега. И дело не только в нем самом. А как быть со Звездоней? Ведь если он перейдет в леспромхоз, значит, прощай и Звездоня. Мать со Степаном Андреевичем в лучшем случае за страду два копыта вытянут, а остальные два кто? Вот ведь какая нынче золотая коровушка! А без коровы тоже не житье зачахнут ребята.

– Ну, мое дело предложить, – сказал Егорша. – А ежели тебе ни хрена, кроме рогатки, на горизонте не маячит, то я не виноват.

3

Однажды – был уже конец августа – райкомовская легковуха подкатила к самому дому Пряслиных. Лихо подкатила. С посвистами.

Ребятишки – Пряслины как раз ужинали – пулей вылетели из-за стола.

– Привет от пинежских чухарей!⁵ – бодро сказал Егорша, входя в избу. Постоял под порогом, цыкнул слюной и вдруг со всего маха бросил на серединку избы глухаря.

Анна ахнула:

– Что ты, Егорша! Ты бы хоть старика своего накормил.

– Хватит и старику. Пинежские леса, между прочим, большие.

– Это ты сам застрелил? – спросила Лизка, переводя удивленный взгляд с краснобровой птицы на Егоршу.

– А то дядя... У меня и сам неплохо теперь стреляет. Втянул я его в это дело на свою беду. Бывало, всю дорогу храпит, а теперь только и зыркает по сторонам. С громом ездим.

С улицы раздался гудок. Егорша подошел к окошку, погрозил кулаком ребятам, облепившим машину. Затем, подсаживаясь к Михаилу, покровительственно сказал:

– Ну что, коля, – это на Егоршином языке означало: кореш, приятель, – все в разрезе колхозного сектора думаем?

– А иди ты... – выругался Михаил.

Егорша захохотал.

– Между прочим, гостя иначе встречают. Ладно уж, знаю, что у тебя ни хрена нету. – И вытащил из кармана поллитровку.

– Ох, Егорша, Егорша, – вздохнула Анна, – сопьешься ты на этой работе.

– А сельсовет-то мне на что даден? – Егорша грязным, промасленным пальцем постукал себя по лбу. – В этом чемодане, между прочим, не все опилки.

Он подмигнул Михаилу, ловким ударом разрядил бутылку.

– Вот что, братиша, – сказал Егорша и вдруг принял серьезный вид. – Давай выпьем за нового бригадира.

– За какого бригадира?

– А есть такой дуrolом в Пекашине. Бревно лежащее.

⁵ Чухарь – местное название глухаря.

– Давай ты без загадок...

– Патрет не ясный? Автобиография требуется? Могу. Год рождения одна тысяча девятьсот двадцать восемь, русский, семейное положение...

– Чего?

– А, узнаешь?

– С кем это ты надумал?

– Хо, с кем... Сообрази! Мы теперь кое-что значим. Я тут как-то подсчитал. Знаешь, сколько я в этом месяце заседал с Подрезовым? А больше всех членов бюро райкома. Не веришь?

– Верим, верим, – ответила за брата Лизка. – Дальше-то что?

Егорша опрокинул в рот стопку, поморщился, сплюнул.

– В общем, так, коля: завтра принимаешь бригаду.

– Мама, мама, – весело рассмеялась Лизка. – Чуешь, что тот наворачивает? Нашего Михаила на бригаду ставит.

– Чую, – отозвалась Анна от печи. – А председателя-то, Егорша, менять не будешь?

– Верно, мама, – поддакнула Лизка и опять рассмеялась: – Уж коли ты такой большой начальник, то председателя-то в первую очередь менять надо. Слышал, что люди говорят? Все Анфису Петровну вспоминают.

– Да, не мешало бы, – с ухмылкой протянул Михаил.

Егорша петухом вскинул голову, встал:

– Поехали! Я тебе докажу, что земля имеет форму чемодана.

– Не выдумывай – строго прикрикнула на него Лизка. – Я-то ведь знаю, какие у тебя чемоданы на уме. Опять рюмки собирать по деревне.

Михаил заколебался. На вечер у него была работа: он еще утром договорился с Ильёй Нетесовым, что после обеда приедет в кузницу подтягивать болты и гайки у жатки (сушь, камень на поле – жатка скачет, как худая телега). Но, с другой стороны, когда еще зайвится в деревню Егорша? А ведь у него, если честно говорить, только и веселья, когда приезжает Егорша. И потом – какого дьявола! – имеет он право хоть один-то вечер за всю страду побездельничать? Почему у Егорши могут быть выходные, а у него нет?

По улице только что прогнали колхозное стадо, и густая пыль стояла на дороге.

Егорша, спускаясь с крыльца, пронзительно свистнул – два пальца в рот. Ребяшня – со всего околотка сбежалась к машине, – сыпанула по сторонам.

– Ну, как поедет? С ветерком? – спросил Егорша. – У меня сам другой езды не признает.

– Можно, – сказал Михаил, плюхаясь на переднее сиденье рядом с ним.

"Газик" развернулся, взвыл, но тут на дороге показалась Уля-почтальонша.

– Егорша, Егорша! – замахала она обеими руками.

– Ну, чего тебе? – заорал Егорша, высовываясь из-за дверцы.

– Из райкома звонили. Срочно велено ехать. Чтобы сейчас же.

– Да, – присвистнул Егорша, – вот наша шоферская жизнь! Это не иначе Подрезов на охоту надумал. Без меня не поедет. – Он сказал это не без гордости.

Михаил вылез из машины. Ну и хорошо, что так все кончилось. По крайней мере он хоть Илью Нетесова не подведет. И он, не оглядываясь, пошагал в кузницу.

– Ничего, коля, – крикнул ему вдогонку Егорша, – мы свое возьмем! Будет праздник и на нашей улице!

К Егоршиным выходкам у Пряслиных привыкли – каждый раз что-нибудь отмочит, – и потому на другой день никто даже и не вспомнил, что он тут трепал накануне.

Но, оказывается, иногда и Егорша говорит правду. Вечером Михаила вызвали в колхозную контору, и Денис Першин объявил: назначаешься бригадиром.

– Ну как, – спросил он, заметно бледнея, словно для того, чтобы подчеркнуть важность момента, – справишься? Найдешь общий язык с народом?

– А чего его находить? Я покуда еще по-русски говорю.

– Валяй, Пряслин! – Першин взмахнул кулаком. – Покажем, на что способна советская молодежь. – Опять взмахнул кулаком. – Партия тебе доверяет...

И пошел чесать языком – про эпоху, про восстановительный период, про кадры. Как будто с трибуны высказывается. А ведь было время, и совсем недавно, каких-нибудь полгода назад, нравилась, очень нравилась Михаилу першинская речистость. Зимой, бывало, приедет на Ручьи да как начнет про международную политику выкладывать – комиссар! Кино не надо смотреть. И эх, думалось радостно, с этим-то мы рванем! Этот не чета Анфисе Петровне. Этот нас выведет на светлые рубежи.

Михаил так и ушел из конторы, не сказав ни да, ни нет.

Разговор настоящий начался дома.

Лизка, та, ни секунды не колеблясь, высказалась за.

– Соглашаться надо. Худо ли: при доме будешь.

– Да уж знамо дело... – сказала мать. И хотя сказала, по своему обыкновению, уклончиво, без нажима (ты хозяин, тебе решать), а гнула-то в ту же сторону, что и Лизка.

Понять Лизку и мать было нетрудно. Год предстоял тяжелый. На трудовни, раз на юге засуха, едва ли что дадут. Грибов да ягод не запасли – все лето пустой лес. Как жить? А ежели он, Михаил, останется дома, все-таки будет полегче. Скорее что-нибудь из того же колхоза перепадет. Вот что было на уме у Лизки и матери. Да и малые, наверно, так же думали. Петька и Гришка глаз не сводили с него.

– А как же с деньгами? – спросил, помолчав, Михаил. – Колхозные палочки в налог не берут.

– Как с деньгами? – живо возразила Лизка. – Я поеду.

– Куда поедешь? В лес?

– А что? Люди же ездят.

– Люди! – Михаил с досады махнул рукой. – Молчи уж лучше. Первым суком задавит.

Лизка надулась: в самое больное место попали – не везет с ростом; но раз уж она что забрала себе в голову, доведет до конца.

– Ты думаешь, с телятами-то легче валандаться? Охо! Одной воды сколько надо перетаскать – руки оторвешь. А дрова-то? Сколько я раз ездила эту зиму, мама?

– Ездила, – кивнула мать.

– Не пугай, не пугай лесом, Михаил Иванович. Видали! – сказала Лизка и оскорбленно поджала губы.

А может, и в самом деле это выход? – заколебался Михаил. Какие-то бабешки каждую зиму в лесу путаются – неужели она хуже их?

– Ну а ты что присоветуешь? – спросил он, улыбаясь, у Федьки.

Все прыснули со смеха. Дело было решено.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

За свои шестнадцать лет Лизка немало натоптала верст. Но все дороги и дорожки, исхоженные ею до этого, в тот же день приводили ее домой. А нынешняя дорога была иная. Нынешняя дорога уводила ее от дому. И не на день, не на два, а на месяцы. И, тихо покачиваясь на телеге сзади брата, она задумчиво смотрела по сторонам. А смотреть-то было не на что. Потому что как ни смотри, а, кроме сосен да елей, ничего не вымотришь.

Только раз, когда они спустились в ручей, Лизка не на шутку разволновалась. По берегам ручья росла трава – высокий, пожелтевший от заморозков пырей, и она подумала,

что хорошо бы было эту траву скосить для Звездони. Ведь где только они не собирали этим летом траву, а тут вон сколько ее пропадает. И, подумав так, она опять перенеслась мыслями домой, вспомнила мать, зареванную Татьянку, вспомнила босоногих братишек. Петька и Гришка все утро не сводили с нее своих преданных и ласковых глаз, а потом, когда пришло время прощаться, зарыдали навзрыд и, как она ни уговаривала их, как ни кричал на них Михаил, гнались за телегой до самой Синельги – босые, посиневшие от холода.

– Не замерзла? – спросил Михаил.

– С чего? – ответила Лизка и сглотнула слезы.

– Скоро приедем. Три версты осталось. Лошадь повернула налево, телега запрыгала по корневищам.

Вскоре они выехали к речке, и Лизка увидела на той стороне крутую красную щелью, а на щелье – белые бараки.

– Это не Сотюга? – спросила она, вытягивая шею.

– Сотюга.

– Прямо деревня целая.

– Ну хоть не деревня, а лесопункт большой. Тут теперь лес валят без передышки, круглый год. А вот дорогу большую сделают – трактора завезут. Первый механизированный лесопункт в районе будет.

– А Егорша-то как же? – спросила, помолчав, Лизка. – На тракториста учился – поедет сейгод в лес?

– Не знаю, – сквозь зубы промычал Михаил. – А тебе-то что, не все равно?

– Да мне что. Я так.

Выехав из еловой гущи, Михаил остановил лошадь, слез с телеги. Постоял, поглядел вокруг, потом свернул в сторону и начал рубить сосну.

Лизка ничего не понимала. Зачем ему эта сосна? Чем не угодило дерево – в стороне стоит. Или замерз, погреться решил?

Все разъяснилось, когда брат свалил сосну.

– Иди сюда со своим топором! – крикнул он ей. И вот тут она догадалась: ее учить хочет.

Она вся вспыхнула:

– Я не знаю, ты со мной как с маленькой. Не в городе выросла. В лесу.

– Ладно-ладно. Потом будешь разговаривать. Пришлось подчиниться. Она достала из-под сена, со дна телеги, свой топорик, аккуратный, с новым топориком – любо в руки взять, брат специально для нее сделал, – и, подойдя к лежащему дереву, рубанула по суку.

– По погону, по погону руби, – подсказывал Михаил.

– Вдоль?

– Да. И топор к стволу прижимай. Не оставляй мутовок.

Лизка дошла до вершины сосны и заодно и вершину обрубил.

– Ну, как? – спросила она, шумно дыша. – Годяво?

– Пойдет, – сказал Михаил и поощряюще улыбнулся. – Знатный лесоруб из тебя получится.

После этого они быстро доехали до колхозного участка.

Место невеселое. Стоит изба в низине у ручья, большая, приземистая, а кругом ели мохнатые – шумят, качаются на ветру.

– Все это и есть наши Ручьи, – сказал Михаил, когда они подъехали к бараку. – Здесь, на Ручьях, мы с Егоршей фронт держали. – Затем, спрыгнув с телеги, стал объяснять ей, какая из построек баня, какая кухня, какая сушилка.

С треском растворилась дверь. Из барака вышел Антипа Постников, заспанный, с всклокоченной рыжей бородашкой. Покосился насмешливо на Лизку, зевнул:

– А, подмога приехала. Ну, теперь пойдет дело.

Михаил вскипел, рот у него передернуло:

– Ладно, иди, куда пошел. Тоже мне стахановец. Опять нары давишь.

А Лизке так стыдно стало за себя перед братом, что она готова была сквозь землю провалиться.

Вошли в барак. Сыро, нетоплено. Застоялый чад самосада. В одном окне торчит клок сена. Стекла вздрагивают от ветра.

Михаил обошел нары – сплошной дощатый настил вдоль стен, – остановился возле печи.

– Иди сюда. Здесь будешь спать.

– Да тут кто-то уже поселился, – сказала Лизка, разглядывая то место, на которое указал брат. – Давай где свободно.

– А ничего. Попросим!

Она понимала, почему брат хочет устроить ее возле печи. Тут теплее и в стороне. Но ей не хотелось начинать свою новую жизнь с ругани и ссоры с людьми, и она стала упрашивать его:

– Не надо, Миша. Смотри, еще сколько свободного места.

– Черта с два! – вдруг ожесточился Михаил. – Я с четырнадцати лет здесь сплю. Сам барак строил. Имею я права на это место?

И он не послушался, сделал по-своему: свернул чужую постель, переложил на другое место.

Они занесли ее пожитки: старую плетенку из бересты, ту самую, с которой раньше ездил в лес Михаил, мешок с картошкой, набили сенник для спанья, застлали постель.

– Печь тут топят на ночь, когда из лесу приходят, – объяснил Михаил. – А можно и сейчас. Затопить?

– Не надо. Успеется.

Михаил, подняв глаза к черному, закоптелому потолку, сказал:

– Ну тогда все. Давай еще посидим на прощанье.

И они сели: он на скамейку к длинному, во весь барак, столу на крестовинах, а она напротив него на краешек нар.

Михаил закурил.

– Ты овцой-то не будь. Наготове зубы держи. Со здешней публикой иначе нельзя...

Лизка слушала наставления, кивала в ответ и не сводила глаз с красного уголька сигарки. Вот скоро догорит сигарка, и брат встанет, а она останется одна...

Но еще раньше, чем догорела сигарка, в барак вошел старик Постников, и Михаил поднялся.

На улице шел снег. Первый снег в этом году. Ели стонали, охали.

– Дорогу-то домой не забыла? – пошутил Михаил. – А то засыплет снегом – и не найдешь.

И тут Лизка не выдержала – обхватила брата руками, расплакалась.

– Ну, ну... Сама напросилась...

– Да я не о том. Я вспомнила, как ты дорогой-то меня сучки обрубать учил. И топорик исделал...

Михаил вскочил на телегу, круто завернул лошадь.

Оглянулся он назад, когда въехал в гору. Лизка все еще стояла у барака маленький черный пенек, – и снег густыми хлопьями засыпал ее сверху.

2

– Отвез сестру? – спросил конюх и сам, по своей охоте кинулся распрягать коня.

Михаил закоченел совершенно. Мокрый снег, на открытых местах ветер-зубодер, и вдобавок еще конь захромал – всю дорогу тащился как улита. Но о доме и думать не смей. Иди в правление. Оказывается, за ним уже два раза прибежали сюда, на конюшню.

– А чего им надо? Разве я не говорил, куда еду?

– Да, вишь, с обозом с этим, красным, несработка вышла, – вздохнул конюх. – Одну

подводу вернули.

– Вернули? – Михаил крупно выругался. Он предупреждал Першина, и колхозники предупреждали: зерно сырое, прямо с молотилки – надо просушить. Нет, ногами затопал, глазами завзводил: везите! Да еще красные флаги на подводах приказал выбросить: вот, дескать, как я первую заповедь выполняю. Но, по правде сказать, Михаил даже рад был, что все так обернулось. Возни, конечно, с этим зерном будет немало, да зато того, шалопутного, проучили.

Вечерело. Свежий снег пружинисто скрипел под подошвами. По привычке он посмотрел на телятник. Бывало, по пути в правление он любил заглядывать к Лизке. А теперь не заглянешь. Что она делает сейчас, сию минуту?

Он всю дорогу не мог простить себе, что не затопил печь. Все-таки ей веселее было бы остаться у огня. А то завез в нетопленный барак, бросил и укатил. Как в той сказке, где отец по наущению злой мачехи завозит в холодный лес свою злосчастную дочку.

Около клуба Михаил обогнал Луку Пронина. Идет, кряхтит с мешком на спине. Затем, недалеко от сельповского магазина, обогнал еще трех мешочников: одного старика и двух баб. И с нижнего конца деревни к складу сельпо тоже подходили люди с мешками. Налогоплательщики. Тащат ячмень и картошку со своих приусадебных участков. Так всегда бывает осенью перед выездом в лес.

В колхозной конторе принимали мясо. Самый тяжелый налог для мужика. Тех, у кого была корова, выручал теленок, а бескоровникам как быть? А бескоровников в деревне не меньше половины. И вот по тридцать, по сорок рубликов за килограмм платили. Своему же брату-колхознику, тем, у кого оставался лишек от теленка.

Михаил посочувствовал в душе Ивану Яковлеву – это он сейчас был в работе. Обложили беднягу с трех сторон – спереди – уполномоченный райкома, с флангов Денис Першин и учитель Озеров, парторг, бледный с непривычки, и еще Ося-чахоточный, налоговый агент, тоже клюет в большое темечко.

Иван и так и эдак: один лаз попробовал, другой – крепко зажали, не выскочишь.

– Даю тебе два дня, – объявил последнее решение уполномоченный. – Не уплатишь – пеней на себя. Опишем имущество.

– А есть такой закон? – спросил Иван Яковлев.

– Есть.

– Ну нет, товарищ Черемный, это ты малость призагнул. Теперича не прежние времена. Это старики, бывалось, рассказывали...

– Не призагнул. А язык советую попридержать. Лучше спать будешь. Давай следующего.

– Иняхин Павел! – выкрикнул по списку Ося-агент и навел свои железные очки на двери.

– Павел, тебя... – раздался голоса в коридоре. Мимо Михаила – он стоял у дверей, – шумно прочищая легкие от махорочного дыма, прошел Павел Иняхин.

– Здравствуйте, товарищи...

Иван Яковлев поднялся с правешней табуретки, кулаки сжал – аж хруст пошел по правлению. Но что тут делать ему со своими кувалдами? Не на войне. Так и понес, не разжимая, на выход.

У Михаила прошел запал срезаться с председателем, и, когда Першин начал снимать с него стружку, – забыл, сукин сын, кто виноват? – он только перекатывал на лбу кожу да косил глаз в сторону уполномоченного: скоро ли тот трахнет по нему из своей крупнокалиберки?

А трахнет обязательно, думал он. Не может не трахнуть, потому что он, Михаил, тоже значился в списке Оси-чахоточного. Правда, с их семьи мясоналог был со скидкой – двадцать килограммов, – но овцу придется отдать. Это давно всем ясно, даже Татьянке ясно. И казалось бы, так: сдавай скорее ее к дьяволу, лишний килограмм сена корове останется. Ведь все равно она не твоя. А нет, не сдаешь, до последнего тянешь.

– К утру чтоб зерно было в полной кондиции! – распорядился Першин. – Сам повезешь. – И при этом надул грудь, расправил гимнастерку под ремнем с медной, до блеска начищенной звездой. Маршал! На войне не был, так хоть теперь покомандую.

Выход был один – развезти зерно по печам колхозников. Так делали во время войны.

Первый мешок Михаил завез к Степану Андреяновичу – тут надежно. Один мешок он высыплет к себе, еще мешок можно к Марфе Репишной. А остальные два? В первый попавшийся дом не завезешь. За ночь так может усохнуть – полмешка не соберешь.

Как раз в это самое время у Нетесовых в избе прорезался огонек, и Михаил, наматывая на колеса свежий, нетронутый снег, свернул к их дому.

– Печь свободна? – спросил он, просовывая в дверь голову.

– Не видишь? – Марья, черная, как лихорадка, с горящей лучиной в зубах, снимала с печи сноп ячменя. Изба на время была превращена в овин.

Хозяин, судя по стуку, был на повети. Михаил решил поговорить насчет Лизки. Илья, как и в прошлом году, был назначен бригадиром на Ручьи. Пускай-ка возьмет сестру себе на заметку.

В темных сенцах на ощупь отыскал лесенку, поднялся на поветь.

Картина была знакомая. Илья при лучине, которой светила старшая дочка, обмолачивал сноп.

– Ну, как усовершенствованный комбайн? – беззлобно пошутил Михаил.

– Да, комбайн. – Илья повертел в руках отполированный до блеска цеп. – Я этим комбайном знаешь когда действовал? – Подумал – зря слова не скажет. – В двадцать седьмом.

"А мы всю войну так", – хотел было сказать Михаил, но смолчал.

Илья зашарил по карманам гимнастерки. Дырочки на груди еще светлые, не потемнели: больше года звенел своими доспехами.

– Валентина, – кивнул он дочке, – сбегай-ка за табаком.

– У меня есть, – сказал Михаил.

Но покурить не пришлось. На поветь втащила Марья с новой партией сухих, пахучих снопов, и Илья застучал цепом.

О том, что надо было сказать Илье насчет Лизки, Михаил вспомнил, уже садясь на телегу. Но ему предстояло еще устроить два мешка, а кроме того, он был голоден как собака – с утра ничего не ел. И он махнул рукой. Пускай-ка она сама держится на своих ногах. На подпорах далеко не уйдешь.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Провевя деревянной лопатой жито, Илья сгреб его в кучу, подмел веником вокруг – каждое зернышко выковырял из щелей меж половиц, – потом снял со стены большую берестяную коробку. Коробка, если насыпать ее с краями, весила ровно двенадцать килограммов. Но все же он не стал полагаться на мерку: каждую коробку взвесил на безмене. И так до трех раз. Затем еще отвесил пятнадцать килограммов. Домашний мешок, длинный и узкий, наполнился под завязку. Это налог.

Остальное зерно он ссыпал в кадку.

Хлеб на своем участке у них родился неплохо: поле у болота и жарой не прихватило. Но они начали есть его еще в первых числах августа и за два месяца основательно ополовинили. И сейчас, заматывая остатки зерна, он думал о том, как будет жить Марья с ребятами эту зиму. Правда, сколько-то должны дать на трудодни, а трудодней они с Марьей выработали порядочно. Ну а вдруг ничего не дадут? Юг, по слухам, выгорел начисто – откуда-то должно государство брать хлеб.

Илья запер ворота на деревянный засов, затоптал огарок и спустился в избу.

Сыновья уже спали – убегались за день, – а Валя, его любимица и помощница, готовила уроки.

– Ешь! – рывкнула Марья на ребенка, которого кормила грудью. – Она, дьявол, зубов нету, а кусается – всю грудь мне искусала.

Ребенок заплакал.

– Ну еще! Поори – давно не орала. Мати с тобой и так света белого не видит.

Да, ребенок их связал. Когда забеременела жена, Илья обрадовался – давай еще одного солдата, а теперь хоть бы и вовсе его не было. Марье даже со скотного двора пришлось уйти.

Он сполоснул руки из рукомойника, достал со шкафа свою домашнюю канцелярию – берестяную плетенку с крышкой.

– Ну-ко, доча, пусти отца к столу.

В плетенке хранились разные бумаги: обязательства на поставку государству мяса, картофеля, зерна, яиц, шерсти и кожи, извещения на сельхозналог, самообложение, страховку, квитанции об уплате налогов. Еще тут были его довоенные грамоты за ударную и стахановскую работу на лесозаготовках, военный билет – запас первой очереди, старые довоенные билеты – осоавиахимовский, мопровский, стопка денежных переводов, которые он посылал домой с фронта – все до единого сохраняла Марья, – и орденские книжки. Сами ордена и медали лежали тут же, на дне плетенки. О них теперь он редко вспоминает, разве в такие вот минуты, когда разбирает бумаги, ну и еще когда на улице ветер: холодит, будто шилом тычет в проколы на гимнастерке поверх карманов.

Первое время Илья совал бумаги куда придется: в шкаф с чайной посудой, на полку, за рамки с карточками. А потом увидел – надо наводить порядок, иначе запутаешься. Да и люди подсказали: у каждого теперь своя канцелярия. На слово не верят. Слово, как говорится, к делу не подошьешь. Вот он и завел эту плетенку – специально смастерил нынешним летом на сенокосе.

Надев очки, Илья начал раскладывать бумаги. Одни бумаги, сшитые по углу суровой ниткой, он положил слева от себя – это квитанции и расписки, по которым уплачено. Другие – по ним надо платить – справа. Из этих, последних, бумаг он, в свою очередь, отобрал голубой листок, согнутый вдвое (извещения на сельхозналог и страховку его не беспокоили – тут у него порядок; и насчет зерна – серенькая бумажка – можно не смотреть, завтра отнесет).

Ему незачем было читать этот полинялый голубой листок, согнутый пополам. Он знал его наизусть.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
НА ПОСТАВКУ ГОСУДАРСТВУ В 1946 ГОДУ
МЯСА, МОЛОКА, БРЫНЗЫ-СЫРЦА, ЯИЦ
И КОЖЕВЕННОГО СЫРЬЯ

Сверху – герб с колосьями, снизу – печать уполномоченного Министерства заготовок по Архангельской области, а по краям – его собственные печати. Пальцы. Много раз побывал уже этот листок в его руках.

Он повертел-повертел листок и начал читать с конца, в обратном порядке:

6. Шерсти:

а) овечьей полугрубой по норме... 900 граммов
скидка

10 % надбавка колхозникам..... 90 граммов

Всего подлежит сдаче шерсти..... 990 граммов

Уплачено!

5. Кожевенного сырья (шкур) качеством
не ниже II сорта:

а) мелких кож (овечьих шерстяных и полушерстяных или козьих, размером не менее 35 квадратных дециметров каждая в парном виде)..... 0,5 штук

Есть договоренность с Лукой Прониным: будет сдавать овчину – обещал принять в пай.

4. Яиц..... 30 штук

Во всей деревне две куры да петух. Уплачено деньгами.

3. Брынзы-сырца.....

Прочерк. Про такую в Пекашине не слыхали.

2. Молока базисной жирности.....

Илья тут каждый раз улыбался. Улыбнулся и сейчас: Ося-агент разбежался было – вкатил триста двадцать восемь литров, а потом зачеркнул. Коровы у Ильи нет. Анфиса Петровна, когда еще была председателем, обещала дать телку, но теперь едва ли что выйдет. С планом по животноводству колхоз отстает. Придется, видно, ребятам еще с годик на довольствии у самовара посидеть.

Дальше Илья читать не стал. Сколько ни хитри, ни обманывай себя – хоть с конца, хоть с середины читай, – а все равно к мясу придешь.

– С бараном-то как будем? Сама сдашь или мне задержаться?

– Ты сперва барана-то выкорми. Я без тебя его завела. Мой баран-то.

Илья посмотрел под потолок, где жужжали мухи, – все еще не подошли, окаянные.

– Ты разговариваешь так, будто мы надвое живем.

Марья отняла от груди ребенка, сунула дочери, затопала в задоски.

– Баран у нас в мясе, – сказал Илья. – Думаю, килограмм до пятидесяти вытянет. Так что ты на первое время еще с деньгами будешь. А потом у меня в лесу получка будет.

– Я сказала – не дам!

– Ну давай будем ждать, когда с описью придут.

– Пущай приходят. Чего описывать-то?

– Да пойми ты в конце концов. Я ведь партийный...

– А-а, партейной! А кой черт тебе, партейному-то, дали? Каждый партейной куда-нибудь ульнул...

Илья встретился глазами с Валею, растерянно улыбнулся ей, кивнул на задоски:

– Вот как она у нас понимает. Думает, в партию затем и вступают, чтобы должность заполучить.

– Да уж зачем-то вступают. Бригадиром-то, я думаю, могли бы поставить. Невелик пост. Разве парень не мог бы в лесу?

Если честно говорить, то он и сам не понимал, почему не его, а Мишку Пряслина назначили бригадиром. Правда, ничего не скажешь: парень работающий, хозяйство знает, но ежели бригадир еще и кузнечным делом владеет, то разве в убыток бы это было колхозу?

– Ладно. Не будем об этом говорить.

– Ну и о баране нечего говорить.

– Да пойми ты, дурья голова, – опять начал объяснять Илья. Не для жены, конечно, – ту колом не прошибешь. Для дочери. – Страна такую войну перенесла... Везде нехватки. Нынче засуха. А города-то нужно кормить? Там ведь не жнут, не сеют...

– Ну ясно. Городские без мяса не могут. А мы можем. Ты скажи лучше, когда наши дети последний раз мясо ели?

Илья обеими руками сгреб со стола бумаги, втолок их в плетенку, затем схватил ватник и – подальше от греха – на улицу.

Три дня назад членов партии вызвали в правление. Вопрос – добровольная сдача хлеба государству.

Семен Яковлев взял обязательство на двадцать пять килограммов, Анфиса Минина – на тридцать семь. Ну а что ему оставалось делать? Подписался на пятнадцать – меньше нельзя. Такая установка райкома. И вот из-за этих-то пятнадцати килограммов у них с Марьей и загорелся сыр-бор. А доводы у Марьи одни – горло.

Сидя на ступеньке крыльца, Илья докурил сигарку, размял окурочек на ладони, ссыпал остаток махорки в баночку.

Сосны за баней шумели. Из сырого угла дул ветер-шелоник, и, надо полагать, нынешний свет не удержится. И тут, вглядываясь в невидимый в темноте сосняк, Илья вспомнил про силки.

Силки – сорок пять штук – он поставил в конце августа за Оськиной навиной. Думал: какая душа ни попадет – все харч. Но никто не попал. Нет сейчас ни дичи, ни векши на бору. Южная засуха достала и Север. Не спасли Пинегу тысячеверстные леса.

Силков Илье было жалко – пропадут, если не снять. Но когда он успеет сходить за ними? Люди уже неделю как в лес уехали. Начальство рвет и мечет: бригадир дома. А он все со дня на день откладывал выезд. Хотелось самому домолотить хлеб. Страшное дело этот индивидуальный участок. Собираешь навоз, нужники опоражниваешь, потому что без навоза что родится? А дождешься хлеба как измолотить? Раньше было просто – овин набил, и дело с концом. А теперь овинов нету (все разорили за войну) – суши снопы на печи да околачивай по снопу на повети.

Илья встал. Сколько ни сиди на крыльце, а с мясом надо что-то делать. Занять денег у кого-нибудь? Он обернулся к двери – пусть она подавится своим бараном. Но у кого занять?

Выйдя на деревню, он мысленно начал перебирать тех, у кого могли быть деньги. В верхнюю часть деревни можно не ходить. У кого там деньги? У Трофима Лобанова? У Мишки Пряслина? Правда, там жил Евсей Мошкин. У этого должны быть деньги. Кадушки, рамы впроход делает, налогов с него нет – старик, из годов вышел.

Евсей не откажет ему – Илья не сомневался в этом. Но как-то неловко было обращаться к попу. Дать-то он даст, а про себя что подумает? Вот, скажет: партийный человек, а за деньгами-то ко мне пришел.

Нет, сказал Илья себе. Пойду-ка я к Федору Капитоновичу. Правда, он, Илья, в должниках у Федора Капитоновича: с месяц назад брал два стакана самосада...

У Федора Капитоновича огня в окнах не было, зато рядом, у Постниковых, изба ходила ходуном. Пляс, песни, гармонь – Константин приехал.

С Костей Постниковым они уходили на войну в один день, и надо бы пожать ему руку, тем более что неизвестно, когда еще их дорожки опять сойдутся. Костю семья не вяжет – кто его знает, куда потянется. Но тут из заулка напротив донесся протяжный бабий вой, и он передумал. Голосила Дарья Софрона Мудрого оба сына не вернулись с войны. Так весь год: в одном доме песни от радости, а в пятерых вой по убитым.

К Анфисе Петровне он не собирался заходить. Откуда у нее деньги? На тех же трудоднях сидит. Но у нее был свет, и он свернул в заулок. Чем черт не шутит! А вдруг да выгорит.

Анфиса сидела, приткнувшись к столу, и держала перед глазами какое-то письмо (конверт распечатанный лежал на столе). А по щекам ее текли слезы.

Илья смутился, кашлянул. И вдруг Анфиса повернула к нему лицо, и мокрые, заплаканные глаза ее просияли.

– Проходи, проходи, Илья Максимович.

Илья сел к печи.

– Что за депеша такая – и слезы и радость вдруг?

– Да уж верно, что слезы и радость... – Анфиса вытерла рукой глаза. – Не знаю, как тебе и сказать. Ну да все равно, таить нечего... Слышал, наверно, что тут про меня плели?

Илья поднял брови.

– Ну про фронтовика моего? Слышал. Был тут у нас в войну один человек...

Илья кивнул. Еще бы не слышал. Помолотили языками и в лесу, и в деревне, когда

Григорий ушел из дому.

– Ну дак от него письмо. Сюда собирается... То-то опять начнут перемывать косточки...

– А, плевать, – сказал Илья. А сам, глядя на нее, белозубую, улыбающуюся, покусывающую губы от смущения, – никогда не видел ее такой, – подумал: "Какой же дурак Григорий! С такой бабой не мог ужиться!"

– Я тут разболталась. Ты ведь без дела не заходишь.

Илья вздохнул.

– В лес-то когда?

Из-за утра думаю. Да вот надо как-то еще деньжонок раздобыть. С мясоналогом рассчитаться.

– Где же ты раньше-то был? Я завтра теленка сдаю, вот бы в пай и взяла. А то я Петру Житову посулила.

Денег у Анфисы, как он и предполагал, не оказалось. Сто двадцать пять рублей – какие по нынешним временам деньги? И все-таки он не жалел, что зашел к ней. Как-то теплее стало на душе. И когда он вышел на дорогу и, прикрыв рукой лицо (мокрый снег лепил глаза), зашагал по ночному Пекашину, ему еще долго виделись ее глаза – сияющие бабьи глаза, промытые легкими слезами.

Анфиса ему нравилась. Всегда нравилась – еще с той поры, когда была девчонкой. И не подвернись тогда Григорий – где же ему было тягаться с таким франтом: из города приехал! – как знать, может, он и не шлепал бы сейчас по этой слякоти...

Илья остановился, покачал головой. Ну и ну! Нашел, о чем думать. Самое подходящее времечко выбрал, чтобы молодость свою вспомнить.

Снег валил густо. Огней не видно. К кому пойти?

3

Было без пяти три, когда он вернулся домой.

Нет, не так это просто насобирать тысячу. Не он один налоги платит. И он потопал, помесил снежной каши – вдоль и поперек прочесал деревню. А уж о гордости и говорить нечего. Поп не поп – лишь бы деньги.

Раздевшись и разувшись – все мокрое было на нем, – он разостлал на печи возле стены (у трубы спала Валя) одежду и портянки, прошел к столу. Первым делом надо было записать для памяти нынешние долги. И он, оторвав четвертушку от районной газеты, записал школьной ручкой дочери:

Взято на мясоналог

1. Софрон Игнатьевич. . . .320 руб.

2. Клевакин Ф. К. 270 "

3. Минина А. П. 125 "

4. Мошкин Е. Т. 350 "

Последнюю фамилию он дважды подчеркнул, что означало – вернуть долг в первую очередь.

Затем, просушив бумажку над керосинкой – теперь этот клочок газеты становился денежным документом, – Илья спрятал его в свою берестяную канцелярию.

В крынке на столе было небогато – несколько холодных нечищенных картошин. Так всегда бывает, когда опоздаешь к ужину. Марья не позаботится, а ребятам что – им бы только брюхо свое набить.

Илья потыкал-потыкал холодной картошкой в солонку с серой зернистой солью, вытер ладонью рот, поправил усы – они были все еще мокрые.

Дома, в избе, он не курил, да и вообще старался пореже попадаться с сигаркой на глаза жене ("Хорошему делу научился на войне! Валяй – жги денежки. Богаты!"). Но сейчас ему

ох как не хотелось выходить на сырость, и он, виновато посмотрев на Марью, пристроился на скамейку к печи.

Марья с ребенком спала на полу у кровати, с которой доносилось легкое посапыванье сыновей. Рот беззубый открыт, одна грудь вывалилась из ворота рубахи – ребенка кормила на ночь, – а черные ершистые брови даже во сне сдвинуты: его, наверно, ласковыми словами вспомнила на сон грядущий или Валю калила – отвечай, девка, за отца.

Илья развел рукой дым над головой – там, наверху, была Валя – и опять, глядя на спящую жену, жалкую, беззубую, с худой постной грудью, вдруг вспомнил Анфису. А ведь она лет на пять старше Марьи, подумал Илья.

Он жадно затянулся в последний раз, бросил окурок в таз под рукомойник, даже не вытрусив из него табак, как это всегда делал, прошел босыми ногами к столу, задул керосинку.

Ни единый мускул не дрогнул у Марьи, когда он прилег к ней с краю. Ну и пускай. Надоело ему кланяться каждый раз.

Но заснуть он не мог. Какое-то неосознанное чувство вины точило его. И, лежа на спине, он настороженно прислушивался к дыханию жены. Странное дыхание. Дышит редко, со всхлипами – будто во сне плачет. А может, она и на самом деле плачет? Наяву разучилась плакать – во сне свое горе выплакивает?

И, подумав так, Илья устыдился своих недавних мыслей об Анфисе. Тоскливая, под стать сегодняшней погоде жалость сдавила ему сердце. Он повернулся на бок, нащупал в темноте теплую грудь жены, потом осторожно просунул свою руку ей под мышку и привлек ее к себе.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Дожди, начавшиеся вслед за первым снегом, лупили целую неделю. Пинега ожила, с Северной Двины потянулись пароходы, буксиры с баржами.

На одном из этих буксиров в район прибыло два первых трактора.

"Новый этап в лесозаготовительном деле", – писала районная газета.

И кто же возглавил этот новый этап? Егорша!

Было это среди бела дня – Михаил с женками молотил хлеб на нижней молотилке, и вдруг – гром и грохот за старой смолокурней. Бабы выбежали на дорогу – что такое? Легковуху знают, грузовик видали, самолет тоже примелькался – все лето над пожарами кружился, – а это что за диковина?"

У смолокурни, возле дороги, спокон веку сосняк. Сосны немалые – дрова рубить впору. И вдруг эти сосны начали валиться одна за другой, затрещали, как карандаши.

Бабы суматошно завизжали, попяtilись к гумну. Один Михаил остался на дороге – он-то сразу догадался, что это за штука.

Громадный гусеничный трактор, рыча и вздрагивая, остановился в двух шагах от него. И вот тут-то все и увидели Егоршу. Вылез из кабины в кожаных рукавицах по локоть, спрыгнул на землю.

– Ну, как машинка? Ничего работает?

Михаил посмотрел на поломанный сосняк, на который кивал Егорша, промолчал.

– Черт бессовестный! Вздумал людей пугать. Мы и так пуганы-перепуганы.

– Чем сосны-то ломать, ты бы лучше снопы нам подвез из навин.

Егорша, довольный, похохатывал, скалил на баб зубы, потом хлопнул Михаила по плечу:

– Давай! Цепляй какие в колхозе найдутся телеги да сани. За один раз привезу весь ваш урожай.

– Ладно, герой выискался...

– А что, Михаил, – заговорили бабы, чем лошадей маять, пущай прокатится.

– Еще чего! Играть будем или хлеб молотить?

– Суровый у вас начальник, – сказал Егорша. – Ну-ну, ишачьте на здоровье.

Он легко и щеголевато вспрыгнул на верхнюю гусеницу, хлопнул дверцей.

Трактор взревел, рванулся вперед. Бабы закашлялись от угарного дыма. А от деревни, от бань на рев мотора уже бежали ребяташки. И взрослые откуда-то взялись. Работать некому, а глазами хлопать да языком молотить – тут народ всегда найдется.

Ну Егорша и показал себя. Рядом с баней Софрона Мудрого стоял старый, продымленный сарай – бывшая пивоварня. Вмиг не стало пивоварни. Трактор наехал – только пыль пошла. А дальше – больше. Развернулся – пошел на деревню.

– Ну и парень! – заахали и заохали бабы.

– Сколько он теперь огребать будет?

– Да уж не с наше! Маленько побольше.

– Давай на гумно! – заорал Михаил, – Дядя за вас будет молотить?

Было глупо завидовать – для чего же человек на курсах учился? Ведь и он, окончи курсы, сидел бы сейчас за рулем. Да, все это так, все это понятно. И тем не менее злоба кипела в нем.

Он совал в прожорливый барабан ячменные снопы, покрикивал на баб, а мысленно сопровождал Егоршу по деревне.

Тот, конечно, постарался сегодня. До тех пор будет утюжить деревенскую улицу, пока не сгонит с печи последнюю старуху.

Ну почему так? Почему он по целым дням торчит на гумне – копать, пыль глотку затыкает, – а тот как жеребец – играючи идет по жизни?

И главное – так всегда, всю жизнь. Поехали они второй раз в лес. Мальчишки. По шестнадцати лет. Кой черт еще делать в лесу, как не махать топором! И он, Михаил, махал, всю зиму махал. А Егорша помахал недельку-две учетчиком стал. Ладно. Зиму отработали, выбрались домой. Голод. Ребята еле ноги переставляют. Просил, умолял: дайте на сплаве поработать. Все какой-никакой хлеб. Черта лысого! "Что ты, Михаил? А кто пахать, сеять будет? Колхоз распускать?" А Егорша – тот колхозу не нужен. Егорша вывернулся. Вот когда еще все началось...

От нижней молотилки до Ставровых рукой подать, но после работы Михаил пошел домой. Нет уж, пусть другие хлопают глазами, а он насмотрелся – с него хватит. Ребят дома не было, а где – не надо спрашивать: у Ставровых.

– Ты бы все-таки глядела за ними, – рыкнул он на мать. – Ведь сказано было – после школы обутку не трепать.

– Да разве их удержишь? Ехал тут Егорша – вся деревня за ним бежит.

Мать собрала на стол.

– Сестра-то как? Ничего не будем посылать?

– А чего? Пряников пошлешь?

– Ну-ну, сам знаешь, – сразу согласилась мать. – Я ведь так, к слову. Думаю, свой человек в лес едет...

– Свой человек! Нашла родню.

Мать непонимающими глазами смотрела на него. А разве сам он понимал что-нибудь? Черт знает почему он так распахивался сегодня! И мать, конечно, права: кто им еще ближе, чем Ставровы? Есть у них дядя родной – рядом деревня. А раз хоть в чем-нибудь выручил их этот дядя?

– Ладно, – примиряющим тоном сказал Михаил, – достань с погреба картошки. Да творогу пошлем.

У Ставровых, как в праздник до войны, горела десятилинейная лампа. Свой теперь керосин – не надо экономить. А под окошками, возле трактора, видимо-невидимо ребятишек. Сбежались со всей деревни. Была тут, конечно, и его саранча. Все четверо.

Татьянка подскочила в темноте, глазенки горят:

– Миша, а меня Егорша на тракторе катал, вот!

– А нас тоже катал, – доложили Петька и Гришка.

– Не врете! Вы-то на телеге, а я на самом тракторе.

Да, будет теперь разговоров у малых. На всю зиму хватит. Егорша додумался: связал две телеги, сани – садись, ребятня! И если летом, когда он еще на легковухе ездил, ребятня по целым дням караулила его, то что же теперь?

– Марш домой! – круто распорядился Михаил. – Ну, кому я говорю?

Федька наловчился было нырнуть в ребячью гущу, но Михаил успел схватить его за шиворот, дал подзатыльник.

– И вы тоже! – пригрозил он остальным. – Живо!

– Кусать хочешь? – спросил его Егорша, когда он вошел в избу.

Михаил скользнул глазами по столу: раскрытая банка с консервами – треска в масле, краюха магазинного хлеба – настоящего, ржаного. Сглотнул слюну.

– Не, поел только что.

– Ну а другого угощенья нету. Дедко не припас.

– Поменьше пить надо было, – с осуждением сказал Степан Андреянович.

– Ладно. Слыхали, – вяло огрызнулся Егорша. – Подумаешь, бутылку-две на прощанье с корешами раздавил.

– Не знаю уж, сколько раздавил, а без копейки домой приехал. Так будешь хозяйничать – хорошо заживем.

– А на что тебе копейка-то? Слышал, что Сталин говорит? Готовьтесь, говорит, к коммунизму... А у тебя на уме копейка...

Егорша, подмигивая, кивнул на склонившегося над хомутом деда: послушай, мол, что сейчас начнется.

– Я картошки да творогу для Лизки принес, – сказал Михаил, указывая под порог, – Передай.

– Ладно, – сказал Егорша. – Передам.

Затем он пошарил глазами по полу, нацелился на сук в половице – как раз посредине избы, – цыкнул слюной. Недолет. Со второго раза попал точно.

– Ну, что будем делать? – сказал Егорша, вставая с лавки. – Дедко в дотации отказал. Хочешь, прокачу на своем стальном?

– Давай-давай, – заворчал Степан Андреянович, – Самое время теперь народ пугать.

Егорша накинул на плечи промасленный, похожий на кожанку ватник, подошел к зеркалу. Кепку новую! – с крохотным козырьком и пуговкой посадил на самую макушку, светлый чуб распушил пятерней – берегись, девки!

3

– Ты что ничего не спрашиваешь? – спросил Егорша, когда они вышли на крыльцо.

– А чего спрашивать? Вижу – на трактор пересел.

– Да, брат, все, – заговорил, загораясь, Егорша. – С райкомом рассчитался. Подрезов сперва на дыбы: "Не пущу. Другого шофера мне не надо". А я ему политическую подкладку: хочу на передовую. Правильно сделал?

– А чего неправильно? Райкомовская легковуха зимой на приколе – не сидеть же тебе сложа руки.

– Чухлома! – с разочарованием сказал Егорша. – Райкомовская легковуха! Разве в этом соль? Почитай районную газетку от десятого октября. Там ясно сказано насчет этого коняги. – Егорша, подойдя к трактору, горделиво постучал кулаком по радиатору. –

Переворот в лесном деле! Ребятишки и те понимают, что к чему. Видел, как они ликовали?

С подгорья доносился глухой шум ледохода, а за деревней над черной стеной леса дружно играли сполохи – к морозам.

– Куда пойдем? – спросил Егорша. – В клуб?

– Какой теперь клуб. Все в лесу. Одна Райка в деревне.

Егорша посмотрел на дом Федора Капитоновича – на кухне свет.

– А знаешь что? Давай выманим Раечку. Продавцом работает – неужели на бутылку не разорится?

– Ну да! Буду я еще по домам собирать.

– Подумаешь, гордость! Хрен с тобой. Пошагали к Першину. Даве он меня звал.

– А меня не звал.

– Ну и что – со мной.

– Да за каким он дьяволом мне сдался? – рассердился Михаил. – И так каждый день глаза мозолит. Уж по мне – лучше дома кирпичи давить.

Егорша схватил его за рукав:

– Да погоди ты, кипяток! Друг еще называется. – Он выпустил рукав Михаила, сказал, помедлив: – А с Першиным, между прочим, советую не ссориться. Не забывай, кто его поставил.

– Ну и что?

– А то. Подрезов не таким, как ты, хребет ломает.

У Пачихиных – хозяин работал лесником – завывала Векша, единственная собачонка в деревне. Остальных порушили еще в войну.

– Музыка, – сказал Егорша. – Да, вот дыра собачья – некуда и сходить. – И вдруг воскликнул: – Порядок! Поехали на собеседование к дяде Евсе.

К Евсею Мошкину они заходили и раньше. Старик приветливый – забавно послушать. А то, что он религией чокнутый, так ведь они не старухи – мозги на месте.

Марфы, на их счастье, дома не было – ушла с ушатами в Водяны.

– Проходите, проходите вперед, – сказал Евсей, указывая на боковую лавку. – Только уж уговор, ребята: у меня не курить. Ладно? А я сейчас.

Он быстро загреб в кучу щепу и стружку – строгал доски, – снял керосинку с матицы, поставил на стол, подсел к ним. Крепкий, медноволосый – жаром налит.

Михаил всегда удивлялся его здоровью. Вроде бы старик, и харчи не лучше, чем у других, а утром выйдешь на задворки – кто там из-за болота выкатывается? Евсей Идет, с вязанкой сосновых поленьев вышагивает – только веревка поскрипывает. Без шапки. А летом еще и босиком. Остановится, поздоровается, да еще приветливое слово скажет: "День-то какой сегодня баской! Заслужили люди". И так всю поленицу в заулке – а ее у него костры – перетаскал на себе. Из лесу. За километр, за полтора.

И сейчас, присматриваясь к этому загадочному для него старику, широколобому, кряжистому, с тугими ребячьими щеками, до багряности разогретыми рубанком, Михаил подумал: работой держится. Но, с другой стороны, кто нынче не работает?

– Ну что, ребята? – сказал Евсей. – Чем вас угощать? Может, самовар согреть?

Егорша ухмыльнулся, повел глазами в сторону задосок:

– Воды на свете много – всю не перехлабаешь. Евсей понял намек, улыбнулся щелчками:

неладно бы сегодня за рюмкой-то сидеть. Пятница. Грех великий. Ну да гости у меня не каждый день. – Он встал, пошел в задоски.

Егорша, потирая от удовольствия руки, толкнул Михаила в бок: дескать, учись, как дела делать!

На столе появился пузатый графинчик старинного литья, темная крынка с нечищеной картошкой, три луковицы.

– Хлебца сегодня нету. Не обессудьте.

– Нам не на мясо, – ввернул Егорша. – Можно и ниже средней упитанности.

Себе Евсей налил в граненую стопку – тоже старинного подела, а им – в толстые стаканы.

– Ну, будем здоровы. – Перекрестился, выпил, закусывать не стал – только ладонь приложил к губам,

– А у тебя это ловко, дядя Евся, – сказал Егорша. – Есть тренировочка.

– Вино надвое разделено, – уклончиво ответил Евсей. – Умному на веселье, глупому на вред.

– А старухи ничего? – продолжал задирать Егорша. – За штаны не берут? В разрезе религии?

– Не пытайте меня, ребяташки. Поздно меня переделывать. Я с малых лет ногами в земле, глазами в небе...

– Это как? – спросил Егорша.

– А, стало быть, так – духовной веры жажду.

– Ха, – ухмыльнулся Егорша. – Опеум.

– А ты откуда знаешь?

– Знаю.

– Ничего ты не знаешь. Ни я ничего не знаю, ни ты ничего не знаешь. Много ли птичка из моря выпьет? Прилетит, раз-раз клювиком, а море все такое же. Так и человек насчет знаний.

– Смотря какой человек. Я, например...

Евсей быстро перебил Егоршу:

– А "я"-то последняя буква в азбуке. А почто? Скажи, коли все знаешь.

Михаилу все это было знакомо. Третий раз они с Егоршей заходили к Евсею, и третий раз Егорша задирает старика. Он недовольно крикнул.

– Ладно, хватит, – сказал Евсей. – Пущай ты все знаешь. Ты вот лучше скажи – у начальства близко, все ходы-выходы знаешь: хлопотать мне насчет пенсии?

Егорша откинулся назад:

– Тебе? Пенсия? А за что?

– Да ведь годы-то мои на семой десяток покатались. Сколько я еще топором намашу. Вишь, рука-то... – Евсей поставил на стол правую руку, согнутую в пальцах. Пальцы вздрагивали.

– Нет, – сказал Егорша. – Автобиография неподходяща. Поп.

– Да какой же я поп? Почто ты меня все попом-то обзываешь? Ежели я со старушонками помолось вместех, утешу какую ласковым словом, дак разве я поп? Попы-то все грамотные, службой кормятся... А я чем? Не тем же разве топором, что люди? Ну-ко, спроси у старух: взял ли я хоть у одной копейку?

Егоршу это не убедило. Он сказал, что не важно, как называть, поп или не поп, а факт остается фактом: антисоветский элемент.

Тут уж не выдержал Михаил. Какой же, к дьяволу, он, Евсей Тихонович, антисоветский элемент? Все-таки надо думать, что говоришь. А потом, добавил Михаил, возвращаясь к тому, из-за чего загорелся сыр-бор, может, Евсей Тихонович вовсе и не за себя хочет получить пенсию, а за детей? Так ведь, дядя Евся?

– Так-так, Миша, – живо закивал Евсей, – за детей. За Ганьку и Олешу. Два сына на войне головы сложили.

– Это другое дело, – сказал Егорша. Подумал, добавил: – Нет, все равно ни хрена не выйдет.

– Ну да! – возразил Михаил. – Все за убитых получают, а он что, не отец?

– Да что вы ко мне пристали? – начал злиться Егорша. – Я что, райсобес? Там, между прочим, тоже не дураки сидят. А ну-ко, скажут, предъяви документы, когда поил-кормил?

– Господи! – всплеснул руками Евсей. – Я уж злодей своим детям, да? Я не поил, не кормил? А кто же их поил-кормил? Кто? – И Евсей вдруг всхлипнул, размазал по румяным щекам слезы. – Мне и ребята свои против не говаривали.

– И зря, – сказал невозмутимо Егорша. – Из-за кого же они страдали? Я бы такому отцу прописал.

– Ладно, не будем об том говорить. То особо дело. Не ты мне прописывал. Федька Косой, в исполкоме сидел, уж как, бывало, не страдал! "Снимай крест, стриги волосы. В землю зарюю!" А где теперь? Сам раньше меня зарылся. Злом человека, ребяташки, не наставишь. Зло не людям делаешь – себе. Мне мати-покойница, бывало, говорила: "Кабы зло, Евсейко, исделал да на небо улетел..."

Егорша ухмыльнулся:

– А на небо ты, дядя Евся, не очень рассчитывай. Там тоже с отбором принимают.

– Что пустое молоть.

– Не пустое. По твоей религии. Водочку любишь... – Егорша загнул палец.

– Погоди, – Михаил сдвинул брови. – А дальше что?

– Вишь вот, Михаил Иванович понимает. Даром что годами от тебя не ушел. Ох, ребята, ребята, – вздохнул Евсей, – всего не перескажешь. Все прошел. А как дети свои выросли – и не видел. Уж когда домой вернулся, в сельсовете объявили: оба геройски погибли. За родину. – Евсей развел руками. – Не судьба. Федька, Федька Косой меня упек. Ох, зверь-человек, царство ему небесное. Уж как он, бывалоча, меня топтал да мял! И заданьем твердым обкладывал, и из лесу по месяцам не выпускал... А и зазря, как потом выяснилось. Тамошние власти поумнее – с меня и вину всю сняли. Не виноват, говорят, отец, а что по религии живешь, дак это твое дело. Закон дозволяет.

– Ну ладно, – важно, как если бы он вел собрание, сказал Егорша. – Этот вопрос для ясности замнем. А теперь давай антракт – чего-нибудь в части мурукурок. Ох, бывало, у нас в Заозерье на эти штуки Вася-ножовик мастак был. Как раз незадолго до войны из-за проволоки вышел. Этот самый знаменитый Беломор строил. Который еще на папиросах обозначен. Ну почнет живые картины на своем теле показывать да про этих мурок-урок рассказывать – заслушаешься. Такие, говорит, там шмары имеются – пальчики оближешь.

– А кто тебе сказал, что я за проволокой был? Да я, ежели хочешь знать, ни одного дня там не был.

Егорша аж затылком долбанул простенок – до того неожиданно было то, что сказал старик. Михаил, к этому времени начавший было томиться и позевывать, тоже вскинул голову.

– Нет, ребята, – после небольшого молчания снова заговорил Евсей, никаких шкурок-мурок и не видал. Я с ссыльным листом на чужбине был, да и то зазря. Тамошние власти, спасибо, разобрались, все права мне дали. – Евсей вдруг застенчиво улыбнулся, покачал головой. – А по первости-то тоже всяко было. Что уж скрывать. Я приехал в поселок на рождество. Зима, мороз, степь голая. И не то что лесины – кустика вокруг не увидишь. А мне и притулья нет. Как хошь живи. И насчет пропитанья тоже сказ короткий: кормись как знаешь. Да, так было-то. А потом, когда уезжал, – ох! Не то что все прочие – сам председатель уговаривал: не езд, говорит, отец. Оставайся у нас да обогревай людей теплом. Я все, вишь, печи клал. И до войны клал, и после, когда отпускную дали.

– Постой, – сказал Михаил, – а когда же тебе отпускную дали? Разве не после войны?

– Нет, нет, раньше. Еще на первом году войны, осенью.

– И ты остался там? Не поехал домой?

– Сообразил, что дома не коржики с медом, – вставил с ухмылкой Егорша.

– Да почто ты все меня в корысти-то винишь! – воскликнул Евсей. – Разве я по корысти живу? Людей надо было спасать от холода. Вот из-за чего остался.

– Че-го, че-го?

– Вот тебе и чего. Ты, поди, и не слыхал про то, что у нас за Волгу целые заводы перебрасывали? Нет? – Евсей от обиды повернулся к Михаилу. – Да-да, Миша, завод пересек мне дорогу домой. Я уж было совсем собрался, с людьми простился. А тут вдруг к председателю зовут. Срочно. Ну, думаю, не судьба. Обо мне чего-нибудь перерешили. Нет, насчет завода. Завод вакуирован, на станцию привезли. Поселок надо строить. А мне, значит,

чтобы печи класть. Нет, говорю, не могу, гражданин начальник. У меня дети есть. Я детей давно не видел. А тот и говорить не стал. Меня в санки – да на станцию. А на станции – о господи! Люди, люди. Женщины. Ребятишки плачут. Костры горят... Ну я и остался. Простите, Ганька да Олеша. Вы-то сейчас все же во тепле, в детском доме, а тут-то что будет, когда морозы падут?..

Егорша, свертывая сигарку, спросил с издевкой:

– Так. Значит, добровольно, так сказать, по сознательности остался?

– А уж не знаю как, а остался. Так своих ребят и не увидел. – Евсей опять всхлипнул.

– А может, господь бог внушил? А?

– Ну чего ты, понимаешь, в бутылку лезешь? – попытался урезонить Егоршу Михаил.

– А то! Он тут который час нам на мозги капает, а ты и вздыхаешь: вот, дескать, божий человек. А этот божий человек небось ряху наел. Ну-ко, кто у нас в Пекашине с таким зеркалом из войны вышел?

– Да что это, господи! – Евсей схватился руками за голову, расплакался. Зачем тогда ко мне приходите? Я тебя принял, я тебе почет оказал, а ты все мне поперек. Все лаем да пыткой.

Михаилу вдруг нестерпимо стыдно стало и за себя и за Егоршу. В самом деле, на что это похоже? Пришли, уселись за стол и давай отчитывать старика. Егорша, положим, завелся, – с ним это бывает. А он-то куда смотрит?

Он положил руку на плечо Егорше:

– Ты все-таки думай, что говоришь, голова еловая.

– Это ты думай! – Егорша резким движением сбросил с себя его руку. – Я в райкоме работал – закалку имею.

– В райкоме работал! Хоть за колесо райкомовской легковухи держался.

– Может, и за колесо, а тебя в бригадиры вывел.

– Что? Ты меня в бригадиры? Ты? На пол со звоном упал стакан. Михаил, рванув Егоршу на себя, вытащил из-за стола.

– Ребята, ребята! – закричал Евсей тонким, плаксивым голосом. – Что вы? Что вы делаете?

Затем, плача и охая, схватил их за шиворот, растащил по сторонам.

– Пусти! – злобно прошипел Егорша, вырываясь.

– Нет-нет, ребята, не пущу. Покайтесь друг другу, ну? Покайтесь, ладно? Что вы не поделили, что? Пришли ко мне друзьями, а уходите врагами. Разве можно так? – Евсей упрасивал, усовещивал их...

– Да пусти ты, мать твою так! – заорал Егорша, зверяя.

Пальцы Евсея сразу разжались. Он закрыл глаза руками, застонал:

– Ох, ох, нехорошо, Егор. Матерное-то слово самое тяжелое. Грешешь против своей матери, против мать-богородицы и против мать сырой-земли...

– Ладно тебе! Запричитал... – Егорша сдернул свою кепку с матицы, выбил о колено, надел.

– Оставайся! – крикнул он из-под порога. – Он тебя под свой крест подведет!.. – И так хлопнул дверью, что песок посыпался с потолка.

Михаил прислушался к шагам Егорши, сбежавшего с крыльца. Потом все затихло, и он услышал всхлипывание. Плакал Евсей. Плакал, как ребенок, обхватив руками голову.

Тускло горела коптилка.

– Ничего, – сказал Михаил. – Остынет маленько и вернется.

Они сидели безмолвно, тот и другой вслушиваясь в ночную тишину, и ждали.

Егорша не вернулся.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Кончался еще один год. Страна подводила итоги.

Завистью пухло сердце у Михаила, когда он по вечерам, заглянув в колхозную контору, натыкался глазами на центральную газету.

Где-то шумела большая жизнь, где-то жили крылатые люди-богатыри, которые ежедневно и ежечасно совершали подвиги во славу родины и красочно рассказывали о них в своих письмах и рапортах.

А что в Пекашине? Какая жизнь?

Снежные суметы вровень с окошками. Мутный рассвет в десятом часу утра.

Днем прочиликает, утопая в сугробах, стайка детишек, возвращающихся из школы, проскрипит воз с дровами или с сеном, еще покажется в своем ежедневном обходе очкастый Ося-агент, от которого, как от чумы, шарахаются бабы, – и вечер. Длинный вечер с дымной лучиной, с одной и той же заботой – что будем жрать завтра. Потом ночь. Хочешь – дави печную кирпичину, хочешь – смотри бесплатное кино: северное сияние. Хоть всю ночь. И со звуком. Проклятая Векша из себя выходит, когда в морозном небе за деревней начинают плясать и переливаться серебряные сполохи.

Нет, не о такой жизни мечтал Михаил...

2

Все спали. Ребята спали на полатах, мать с Танюхой на печи, а он не спал. Он сидел в дрожащем кругу розового жара и тоскливыми глазами смотрел на догорающие в печке дрова.

И еще было в избе одно существо, которое томилось в этот вечер. Елка. Она лежала под порогом в темноте и на всю избу источала смоляной аромат.

Елку он вырубил в сумерках, возвращаясь с сеном с Верхней Синельги. Думал: вот обрадуются ребята! А ребята посмотрели недоуменно на него и отвернулись. И Михаил понял: что им какая-то обмерзлая елка – в лесу выросли. А вот если бы эту елку да обвесить конфетами и пряниками, а еще лучше хлебными горбухами вот тогда бы – да! Тогда бы они глаз не сводили с нее. Так и осталась лежать елка под порогом.

Новый год не торопился. Стрелка на часах – они сонно потикивали на дощатой заборке за спиной – никак не могла перевалить за десять.

А ведь есть, есть на земле люди, думал Михаил, которые сейчас с минуты на минуту ожидают прихода Нового года. И сами они такие же нарядные, как та елка, которую он видел на днях на обложке «Огонька». И в их квартирах столы с белыми скатертями, вино, всякая жратва. И вот они сядут за эти столы и поднимут бокалы под звон кремлевских курантов...

Дрова прогорели. Михаил помешал кочергой в печке. Подложить еще? А что ему сдался этот Новый год? Ну, дождется, когда часовая стрелка подойдет к двенадцати, это нетрудно. А дальше что?

Михаил подождал, пока не растаяли синие, угарные огоньки над раскаленной россыпью углей, потом еще раз помешал кочергой, закрыл листик в трубе.

На ночь он решил выбросить елку на улицу. Зачем – чтобы она еще утром мозолила всем глаза?

Но елка не хотела на мороз. В темноте она кололась, крупными слезами заливала ему руки. И Михаил раздумал: ладно, оставайся до утра.

В ночном небе ярко горели звезды. Михаил запахнул полы полушубка – морозец что надо, – вышел, рыхля свежий снег, на дорогу.

Куда пойти? Ни одного огонька не было вокруг. Дорогу замело, загладило. Пухлые сугробы залегли вдоль изгороди.

Он поглядел в ту сторону, где за деревней неясными увалами чернели ночные леса. Там была Сотюга. И он пожалел, что не поехал туда. А ведь собирался было: давно пора

проведать Лизку – как уехала, ни разу не была дома, – а заодно повидать и Егоршу. Сколько еще дуться? В каких переплетах они раньше не были, всю войну вместе расхлебывали, а тут, в тот вечер у Евсея Мошкина, удила закусили и давай лягать друг друга. И из-за чего?

Признаться, он, Михаил, поджидал сегодня Егоршу. Вот-вот, думалось, загремят ворота, ввалится с мороза: "Ну что, коля, не ждал?"

Уши и нос пощипывало. Обмерзлый ушат потрескивал на крыльце.

Эх, жизнь, жизнь... Ну что изменилось от того, что он стал бригадиром? Только ходьбы прибавилось – каждое утро надо обежать деревню. А в остальном все то же: сено – дрова, дрова – сено...

Он прошел на задворки, наколупал в пазах моха. На курево.

3

И все-таки Дед Мороз не обошел Пряслиных. Ночью Михаил проснулся – стучат. Он спрыгнул с кровати, подбежал к боковому окошку, ткнулся разгоряченным лицом в заледенелое стекло. Никого. Неужто ему показалось?

И вдруг оттуда, с холода, донеслись притворно-жалобные слова:

– Пу-сти-те по-греть-ся...

– Мати, мати! Лизка приехала!

Ночная тишина в избе будто взорвалась. Мать со словами "иду, иду!" уже открывала двери (она-то, наверно, еще раньше его услышала стук в окно), а на полатах, на печи загорланили ребята: "Лизка, Лиза приехала..."

Михаил кинулся искать спички.

В их семье не принято было обниматься и целоваться. Но когда из морозного облака под порогом вдруг блеснули знакомые глаза, густо запорошенные инеем, он не удержался – сгреб сестру в охапку.

– Лиза, Лиза, мне, – запричитала Танюха, слезая с печи.

И Лизка, протягивая к ней руки, расплакалась:

– Иди, иди, моя хорошая. По тебе-то я больше всех соскучилась.

А потом она обнимала остальных – Петьку и Гришку (эти обхватили ее оба вдруг), Федюху, насупленного, не спускавшего взгляда с корзины, которую вслед за Лизкой внесла в избу мать, – и для каждого находила особое словечко.

Михаил первый опомнился.

– Мати, чего стоишь? Наставляй самовар. А может, ты замерзла – баню затопить?

– Да что ты, парень? – удивилась Лизка. – Какая ночью баня?

Лизку раздевали всей семьей. Кто стаскивал с ног обмерзлые валенки, кто расстегивал ватник, кто снимал с головы шаль.

И она, растроганная, непривычная к такому вниманию, только качала головой:

– Я не знаю, вы со мной, как с маленькой. Я ведь не откуда приехала – из лесу.

– А я уж думал, не приедешь, – сказал Михаил. – Ждал-ждал – лег...

– Что ты – не отпускали. Хорошо, Илью Максимовича на совещанье в район вызвали.

Как хотите, говорю, поеду – девять недель дома не была. Я ведь теперь за повариху.

– За повариху?

– Ну да. Разве Петр Житов не сказывал?

– Нет, ничего не говорил.

– Третью неделю варю. Ничего – люди не жалуются.

– Ну, это ты молодец! – радостно сказал Михаил.

– Худо ли, – подтвердила мать. – Все не в снегу. И лишняя ложка похлебки достанется.

В задосках зашумел самовар, и ребята, как по команде, уставились на корзину.

И корзина, та самая берестяная корзина, с которой раньше ездил в лес Михаил, раскрылась.

Буханка ржаного хлеба, другая. Сухари. И еще сахар – целую горку мелко наколотого

сахара насыпала Лизка из мешочка на стол.

Ребята ахнули. А Михаил, растерянно моргая, только махнул рукой. Ну что ты скажешь? Не дура ли девка? Бывало, в лесу намерзнешься за день – только и радости чайку горячего попить, а если приведется огрызок сахара – праздник. А эта, дура набитая... Ах...

И была зимняя ночь. И за окошком лютовал мороз – с треском, с яростью, как голодная собака, вгрызаясь в промерзшие углы.

А им – что! Им плевать и на ночь, и на мороз. Красный самовар клокочет на столе.

Ешьте, пейте, ребята! Новый год идет по земле.

4

– Бежите, разгребите дорожку на задворках, – говорила шепотом мать.

Ребята заулыбались – она это почувствовала, не глядя под порог, – и хлопнули дверью.

– А ты, бес, не вертись! – зашипела мать на Татьянку. – Дай поспать человеку.

– Да я, мама, не сплю, – сказала Лизка и открыла глаза.

В избе было уже светло. С оледенелых окошек красными ручьями стекала заря на белый пол.

Татьянка вскочила на залавок, приподнялась на цыпочки и крепко обхватила ее холодными ручонками за шею.

– А ты чула ли, как я вставала? Я уж пол подпахала, вот.

– Подпахала... Все утро, как кобыла, скачешь. Человек из лесу приехал, а тебе хоть говори, хоть нет.

– Дак ведь она не спать приехала, – возразила матери Татьянка. – Да, Лиза?

– Да, да.

Лизка слезла с печи, босиком прошлась по избе. На Ручьях в бараке так не пройдешься – там всегда холодина под утро, – и она скучала не только по родным. Все тело ее скучало, а пуще всего ноги скучали по этому вот избяному теплу.

– Да, теплом-то мы, слава богу, не обижены, – сказала мать, словно угадывая ее мысли. – Осенью, как ты уехала, Михаил опять подконопатил стены.

Пока Лизка умывалась да расчесывала волосы, мать принесла с повети веник.

– Собирайтесь в баню.

– Что, уже истоплена?

– Как не истоплена! – Мать улыбнулась, разглядывая ее на свету. – Разве не чула, как брат из-под тебя лучину доставал?

– Нет, – призналась Лизка и покраснела. – Я намерзлась дорогой – как убитая спала. А где он сейчас?

– Михаил-то? Не говори – весь прибежался. Да он и глаз не смыкал. Баню затопил, заулок разгреб – в лес побежал. У Петра Житова ружье взял. "Не могу ли, говорит, кого убить. Чем гостью-то, говорит, кормить будем".

– Я не знаю, мама, вы как с ума посходили. Какая я гостья?

– Ладно. Пушай. Рад ведь – сестра праздник привезла. И копейка снова в доме завелась... – Мать коротко всплакнула.

– А ты разве привезла денег-то? – спросила Татьянка. – Пошто я не видела? Где они?

– Поменьше спать надо, – сказала Лизка и рассмеялась от радости.

Ночью, после чая, – Татьянка сразу же убралась на печь, – она дала брату полный отчет. Сколько заробила, сколько прожила – все, до последней копеечки выложила. И Михаил только – руками разводил: "Вот никогда не думал, что из твоих рук деньги принимать буду..."

Улица ослепила ее своим блеском. Заулок расчищен до изгороди. Пушистая елочка выглядывает из свежего сугроба, нарытого к крыльцу. Откуда она взялась? Не из леса же за ней прибежала?

Но особенно растрогала ее Звездоня. Узнала, нет ли ее по шагам, когда она поравнялась

с воротами двора, а голос подала. Ворота для тепла были заставлены ржаными снопами. И от них шел белый парок, приятно пахнувший жилым теплом и навозом.

На задворках Лизку встретили братья с лопатами. Щеки покраснелись, глазенки блестят.

– Иди. Мы до самой бани дорожку разгребли.

И она пошла по этой дорожке. Пошла неторопливо, бездумно любуясь сиянием зимнего дня.

Семеновна, черпавшая воду из оледенелого колодца, не признала ее:

– Чья ты? Худо ноне вижу...

– Давай – "чья ты"! Соседку не узнала...

– Ли-иза! О господи... Вот как ты выросла... В байну пошла?

– В байну. Заходи в гости – я чаем с сахаром напою.

Сзади слезы, всхлипывания:

– Вот какая девка у Анюшки выросла... А я и не узнала. Заходи, говорит, чаем с сахаром напою...

Татьянка, бежавшая впереди, быстро обернулась и осуждающе посмотрела на сестру:

– Ты чего это ее звала? Мы и сами сахар-то съедим.

– Ой, какая ты жадюга, Татьяна! Как язык-то у тебя повернулся. Глызку сахара старухе пожалела...

– Ну и что, – не сдавалась Татьяна. – Это ты каждый день чай с сахаром пьешь, а мы-то все без сахара.

Лизке вспомнились Ручьи, барак, лесная жизнь. В делянку идешь в потемках, в барак возвращаешься в потемках. Ватник скрипит, как шлея на лошади, задубел, заледенел: побродил-ка целый день в снегу до пояса.

Нет, нет, не сахарная была у нее жизнь на Ручьях. Но ради вот этого дня, который она проживет сегодня дома, она бы начала эту жизнь сызнова.

Да, это был ее день. Для нее топил брат баню, для нее ходили на цыпочках все утро, пока она дрыхла на печи, для нее ребята разгребали вот эту дорожку, по которой она шагает сейчас.

5

Михаил удивился – дома сидели без огня.

Задеревеневшими от холода руками он чиркнул спичкой, зажег керосинку на столе. Где ребята? Ловушку какую-нибудь приготовили для него?

Ребята были на печи – в сутемени сухо сверкали их глаза.

Он вынул из-за пазухи закоченевшего рябчика, положил на стол. Тот стукнул, как деревянный.

– А где у нас гостя?

Молчание.

– Где, говорю, Лизка? Чего на печь забрались – печку не затопите?

– Уехала... – ширнула носом Татьяна и громко заплакала.

– Уехала? Как уехала?

– Петр Житов увез. Собирайся, говорит, ехать надо.

Вот так хреновина... Да как же так? Ведь они и не поговорили как следует...

– Давно уехала?

– Недавно... Мама провожать ушла...

Михаил кинулся вон из избы и едва не сбил в дверях мать.

– Бесстыдник! В кои-то поры девка домой выбралась, а он в лес укатил. На весь день...

– Да разве я знал? А у тебя-то кочан на плечах? Кой черт случилось бы – и завтра уехала.

– Не своя воля. По судам-то ей еще рано ходить.

– По судам! Так уж сразу и по судам. И ночью бы в крайнем случае отвез.
– То-то много ты к ней ездил. Девка без мала три месяца в лесу выжила бывал ли хоть раз?

Михаил сел на прилавок к печи, достал банку с махоркой. Махорочку – три пачки – привезла сестра. Не забыла, что надо брату. А он, выходит, как та скотина: ей сено в пасть суют, а она рогами да копытами. Но разве он для собственного удовольствия целый день убивался в лесу? Ведь хотелось как лучше. Сестра приехала, а чем кормить?

Рябчика он свалил с ходу в Поповом ручье. Обрадовался – вот, думал, какая везучая у нас Лизка: не успел в лес зайти, а уж оперился. А потом ходил-ходил, мял-мял лыжами пухлый снег, все ельники по занавинам выходил – никого. Вымер лес...

Михаил поднял голову, глухо спросил:

– Валенки-то у ей как? Целы? Это внимание с его стороны к сестре несколько смягчило мать. И она, затопляя печку, стала рассказывать, как Лизка ждала его целый день. "Никуда не вышла. Хотела по деревне пройтись – где тут? Брат с ума нейдет. И уж она, мое горюшко, попереживала. И в окошко-то глянет, и на крыльцо-то выбежит... А тебя все нету и нету – как сквозь землю провалился..."

А как в сани-то стала садиться – еще же брат на уме: "Мама, кричит, привет Михаилу сказывай..."

Потом мало-помалу в разговор включились малые. Ах, ох! Лизка надела белое платье... Лизка вплела в косу красную ленту... Лизка играла с ними в жмурки... Лизка клевала мерзлую рябину – сладко...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Ненамного – всего на воробьиный скок прибавился день после Нового года. И солнце еще не грело – по-медвежьи, на четвереньках ползало по еловым вершинам за рекой. А повеселее стало жить.

В первых числах января в Пекашино приехал сын Трофима Лобанова – Тимофей.

Тимофей, можно сказать, восстал из мертвых, потому что с первых дней войны не было от него никаких вестей. И вот посмотрите: жив. Ну не чудо ли? А может, и наш где запропал? Может, зря оплакивали все эти годы как покойника?

Но, пожалуй, еще больше взбудоражил пекашинцев приезд Лукашина. Как? Зачем пожаловал? Неужели ради Анфисы?

– Нет, заради вас, – с издевкой говорил бабам Петр Житов. – Колхоз подымать приехал.

И вот как бывает: поверили бабы. А вернее сказать, кончилось у людей терпенье. Где это слыхано, чтобы человек круглый год задарма гнул хребтину, да еще и должником остался? А Першин так закончил хозяйственный год: стограммовка на трудодень и с доброй половины колхозников денежные вычеты.

Одним словом, на первом же собрании бабы завопили в один голос:

– Лу-ка-ши-на!

Толку из этого вопля, казалось тогда, никакого не будет, ибо всем давно известно, что такие дела не тут, не в деревенском клубе, бывшей церкви, решаются, а немножко повыше, да и Лукашина к тому времени уже в район на службу взяли.

А вот поди ты: услышали, видно, бабий вопль наверху. Во всяком случае, в начале марта стало доподлинно известно: Першина из колхоза забирают.

2

Смена властей в деревне случилась в тот день, когда Михаил с Петром Житовым ездил

по сено на Синельгу.

Конюх Ефим был без ума от нового председателя:

– Ну уж, ну уж, мужики, не видал, не видал такого человека! Все у меня выспросил, все вызнал, на конюшню зашел, в избушку заглянул. "Дедушко, говорит, почто у тебя печки нету? Разве, говорит, мыслимо это дело старому человеку без печки жить?.." – Ефим всплакнул.

– Давно он был здесь? – нетерпеливо прервал Ефима Петр Житов.

– Новая-то головка? А тольки, тольки до вас. И вот что вам, робята, скажу. Не домой, не к жене побежал, а в правление. Прямехонько от конюшни да в правление...

В правлении, однако, огня не оказалось. Петр Житов, злясь за свое легковерие (они даже сено с саней не свалили – вот как приспичило), выругался:

– Олухи мы с тобой, Мишка. Уж, кажется, жизнь мылит-мылит нас, а все без толку. Да и кой хрен сделается, ежели мы эту новую власть завтра увидим! Перемаемся как-нибудь ночь, а?

Он поднял кверху голову, посмотрел на все еще не потухшие в синих сумерках ледяные сосульки над окошками и вдруг предложил совсем противоположное тому, что только что говорил:

– Поехали на дом.

– Да неудобно. Что это будет, ежели все на дом попрутся?

Петр Житов возразил:

– Ну, ежели на дом нельзя, то это, скажу я тебе, тоже не председатель. Поехали.

Пришли они не вовремя. Это было ясно. У молодоженов – Петр Житов окрестил их так – происходил какой-то разговор. И разговор, судя по всему, серьезный, крупный. Лукашин стоял посредине избы в очень решительной, отнюдь не семейной позе: руки в карманах брюк, челюсти сомкнуты плотно, до впадин на щеках. На них с Петром Житовым глянул коротко, исподлобья. Одним словом, не скрывал, что ему не до них. А Анфису Петровну выдавали глаза. Когда она сильно волновалась, у нее моментально отливала от лица кровь, и поэтому глаза становились особенно темными и непроглядными. Как две проруби зимой.

Петр Житов толкнул Михаила в бок: смотри, мол, не у нас одних, грешных, семейные радости – и сказал, кивая Анфисе Петровне:

– Ты чего калишь мужика? Чем он тебе не угодил?

– Калю, Петя, не отпираюсь, – как всегда, прямо ответила Анфиса Петровна. – Видит бог, не хотела я, чтобы он стал председателем.

– А чего? Худо ли – деревней будет править. Сама небось правила.

– Правила. Всю войну правила. А чего выправила? Стали снимать – ни у людей, ни у райкома слова доброго для меня не нашлось.

Михаил не знал, куда и глаза девать: это ведь его стараниями так отблагодарили Анфису Петровну. Но тут опять раздался голос Петра Житова:

– Сказывай! За председательство на тебя женки взъелись?

– А за что же?..

– За прыть.

– За какую еще прыть?

Петр Житов громко захохотал:

– Ты, едрена вошь, вон ведь какая. Двух мужиков взаглот взяла. Другая бы видимости мужичьей была рада, а ты – старого не хочу, нового подай. Вот бабы на тебя и рассердились. Девки, понимаешь, на корню посохли. Зайди в любую деревню – их как грибов червливых осенью в лесу. А ты в это самое времечко давай играть в довоенную игру: мороженого не хочу, кислое тоже не по мне...

Петр Житов, вне всякого сомнения, говорил это от чистого сердца. И говорил не столько для самой Анфисы Петровны, сколько для Лукашина: вот, дескать, какая у тебя женка. Цени! А вышло черт знает что. Лукашин побелел, брови крыльями распластались по выпуклому лбу – вот-вот бросится на Петра Житова, а Михаил – тоже хоть сквозь землю

провалиться: не привык, чтобы Анфису Петровну разбирали при нем как бабу.

Положение выправила сама Анфиса Петровна. Она не обиделась, не стала выговаривать Петру Житову, а быстро, как гостеприимная хозяйка, выставила на стол поллитровку – и разговор сразу переменялся. Точнее сказать, переменялся Петр Житов: голову поднял, победителем сел за стол.

Первый тост – Петр Житов знал всякие городские церемонии и любил при случае ввернуть заковыристое словечко, – первый тост Петр Житов провозгласил было за нового председателя, но Лукашин решительно воспротивился. Нет, сказал он, за нового председателя подождем пить. За нового председателя мы выпьем тогда, когда сдвиги в колхозе наметятся.

– Хм, – промычал Петр Житов и с интересом посмотрел на Лукашина. – Можно и так. А за что же сейчас выпьем?

– За что? – Тут Лукашин наконец улыбнулся. – А хотя бы за то, чтобы вот за этим самым делом пореже встречаться.

– За горячим?

– Да, – по-прежнему с шуткой, но и твердо сказал Лукашин. – Когда кумовьев много, работы не жди. Так, бывало, у нас говорил отец. По-моему, неплохо говорил, а? Что скажешь, Михаил?

Михаил в знак согласия живо кивнул. Ему очень понравилось, как Иван Дмитриевич срезал Петра Житова. Твердо и в то же время не обидно. Дескать, учти, любезный Я сразу понял, что ты за гусь. Каждое дело вспрыскивать – вот ты из каких. А этого у меня не будет. Прошу принять к сведению.

Петр Житов налился кровью – не привык к такому обращению со своей особой. В Пекашине кто возразит ему? И Михаил подумал: не миновать скандала. Но в последнюю минуту Петр Житов вышел из штопора.

– А у нас говорят так, – ответил он Лукашину. – Мы работы не боимся, было бы хлёбово. – Помолчал и следующие слова вбил, как гвозди: – Да, так у нас говорят.

– Хлёбова много не будет. По крайней мере в ближайшие два года. Это я тебе начистоту говорю, товарищ Житов.

– Да ты понимаешь, про какое я хлёбово? Неуж не слыхал присказку? Про то, которое кусают.

– И я про то, – сказал Лукашин.

Тут Петр Житов откинул назад свою крупную голову и одичало посмотрел на него, Михаила, которого слова Лукашина тоже хлопнули как обухом по голове. Как это хлёбова не сулю? Значит, как прежде: вкалывай-вкалывай, а насчет того, чтобы пожрать, не рассчитывай?

Из задосок выглянула Анфиса Петровна (она хлопотала над самоваром) и вопросительно уставилась на Лукашина. Видимо, слова мужа удивили и ее.

Петр Житов, оправаясь от изумления, деланно рассмеялся:

– Вот это председатель! Ну-ну, давай. Первый раз слышу. У нас, товарищ Лукашин, даже Денис Першин и тот понимал, чего народ хочет. Помнишь, Анфиса, как он сказал на собрании? Меня, говорит, либо на кладбище отвезете, либо я выведу на большую дорогу "Новую жизнь".

– Это я тоже слышал, – сказал Лукашин. – Как-то председатели колхозов смеялись на совещании. А я не хочу, чтобы надо мной смеялись.

– Так, – сказал Петр Житов и стал загибать пальцы. – Сорок пятый – раз, сорок шестой – два, сорок седьмой – три. Три года после войны люди только и ждут, как бы досыта пожрать. И партия одобряет. В Москве большие мужики пленум по этой части собирали. А товарищ Лукашин на все это – крест. Нет, говорит, не надейтесь. Еще два года задаром робить.

– Я так не говорил, – сказал Лукашин.

– Мишка, я неверно цитирую?

Лукашин придвинулся к Петру Житову:

– Ты, я слышал, плотник, да?

– Допустим, – сквозь зубы ответил Петр Житов. – А дальше?

– Скажи, когда мужик новый дом строит, очень он роскошно живет?

– Это ты к чему? К тому, что мы, дескать, тоже новый колхозный дом строим? С тридцатого года строим. А человек, между прочим, один раз живет.

– А я и не знал. Вот спасибо, что разъяснил. – Лукашин злыми, раскаленными глазами глянул на Петра Житова и заговорил под стук указательного пальца: Коровника нет? Не выдумываю? Да? Телятник на ладан дышит – я виноват? А грузовик? А мельница? Долго еще будем греметь по всем домам жерновами?

Анфиса Петровна поставила на стол кипящий самовар, но Петр Житов не стал дожидаться, когда она нальет ему чаю. Он налил себе вина. Тяпнул в одиночку и сразу же пошел в новое наступление на Лукашина.

– В части программы разъяснено, – сказал Петр Житов. – Теперь имею другой вопрос. Можно?

– Попробуй, – сказал Иван Дмитриевич.

Петр Житов спросил:

– Сам, добровольно поохотил к нам или через Подрезова?

– Через райком, – ответил Лукашин.

– Ясно. В общем, по партийной принудилровке.

– По партийной дисциплине.

– Ну один хрен. Главное, что не своей охотой. А как – это неважно.

Петр Житов явно искал скандала: не мог допустить, чтобы верх в споре остался не за ним, а Лукашин тоже не хотел уступать – свое твердил.

– Нет, важно, – сказал он упрямо.

Анфиса Петровна делала ему знаки: не заводись. Не видишь разве, что человек пьян? Не помогло. Дьявол вселился в Лукашина. Михаил его таким и не знал, да и для Анфисы Петровны, судя по ее тревожному взгляду, эта запальчивость была внове.

Порядок навела Олена, жена Петра Житова. Она не стала, как он, Михаил, раздумывать, с какого бока вмешаться в застольный спор, а с порога наорала на мужа ("Срамна рожа! Не успел человек заявиться, он рюмки выпрашивать. Ты гнала бы его, шаромыжника, Анфиса Петровна! Он ведь шары нальет – море по колено"), выдала ему, Михаилу ("А ты чего не отговаривал? Али тоже без рюмки жить не можешь?"), затем подошла к столу, кивнула:

– Вставай.

И Петр Житов – вечная для всех загадка! – встал и, не говоря ни слова, поковылял на выход.

3

Дорогу из нижнего конца деревни до своего дома Петр Житов одолевал с перекурком на крыльце клуба. Это неизменно, хотя бы крещенская стужа стояла на дворе.

Устроил перекур Петр Житов и сейчас, тем более что Олены рядом не было она, как только вышли они от Анфисы Петровны, побежала домой. Да если бы Олена и была рядом с ними, то по этому поводу не сказала бы ни слова. Наоборот, сама бы потребовала, чтоб мужик передохнул, потому что из-за протертой культи Петр Житов иногда по неделе не может встать на протез.

– Мда, – заговорил Петр Житов, когда раскурил свою сигарку, – был у нас председатель, был...

– Кто? Першин?

– Дура! Я о том самом бабьем царстве, от которого мы на собрание отреклись. А нет, мальчик, не всякие штаны лучше бабьей юбки, – изрек поучающе Петр Житов.

– А чем тебе Лукашин не понравился? – спросил Михаил. – Что не в твою дудку пел?
– Заткнись! Я о ком веду речь? О Лукашине? Я об Анфисе, балда. Ух, баба! Какая баба! Я как-то не разглядел раньше. Анфиса и Анфиса. А ей бы и быть председателем. И на хрена нам кого-то со стороны искать. – Петр Житов пьяно икнул и повторил свое недавнее изречение: – Мда, не всякие штаны лучше бабьей юбки. Вот что не след забывать, мальчик.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

За ночь выпал снег. Пухлыми сугробами перегородил заулочек, залег под окошками.

Михаил на широких еловых лыжах обежал свою бригаду, роздал наряды и вернулся домой еще затемно. Ребята уже поработали. Звездами, алмазами сверкала свежая тропа, пробитая в заулочке. Но он не мог удержаться, чтобы не взять в руки лопату. Он с детства любил эту работу. Бодрит, радует свежий снег. И потом целый день носишься, как на крыльях. Без усталости. С весенним шумом в крови. А кроме того, разгреbanie снега у него всегда связывалось со словами бабушки Матрены, которая, когда он был еще ребенком, говорила ему: "Разгребай, разгребай дорожки, родимой. По расчищенным-то дорожкам ангелы счастье людям разносят".

Мать, возвращаясь в это время с телятника, видно, тоже вспомнила бабушкины слова:

– Ну, сегодня все мужики с лопатами. Нагребут счастья.

– А кто еще? – спросил Михаил.

– Хозяин новый. Сейчас встретила – к кузнице с лопатой идет.

– А мне ничего не наказывал?

– Да нет, я ведь издали, не близко его видела.

Михаил пошаркал-пошаркал лопатой и побежал на задворки. Нехорошо это председатель откапывает кузницу, а он, бригадир, дома огребается.

Кузницу в эту зиму не открывали ни разу, и пацаны приспособили ее под горку. Нарыли снега к воротам до самой крыши, скат залили водой – и вот каток. Михаил трижды разламывал горку, но пацаны – народ упрямый – снова восстанавливали, и в конце концов он махнул рукой, а в последнее время, проходя мимо поздно вечером или рано утром, даже сам скатывался с горки.

Лукашин поднятой лопатой приветствовал его. И-эх! – врезался Михаил. В пуд, в два поднял снежную глыбищу да как бросил – снежное облако накрыло и его самого, и Лукашина.

В тот момент, когда широкая тропа, а вернее сказать, траншея уперлась в ледяной скат перед воротами кузницы, к ним подошел новый помощник – Илья Нетесов.

Илья Нетесов выехал из лесу на один день, с тем чтобы подкинуть своей семье дровишек, и вот человек: не за дровами первым делом отправился, а к ним.

Илья предусмотрительно захватил с собой железный ломик, и Михаил быстро разворотил ребячью горку.

Наконец старые, основательно изрешеченные дробью ворота – каждое ружье пристреливалось тут – подались вперед. Стужей и темнотой погреха дохнуло на них.

Михаил кинулся разжигать очаг – не приведи бог стоять в мертвой кузнице. Он быстро нарезал растопки со старой берестяной хлебницы, загреб в кучку прошлогодние угольки под закоптелым колпаком, но Петр Житов остановил его. Петр Житов, подкативший к кузнице на лыжах следом за Ильей – на здоровой ноге серый валенок, на протезе кирзовый сапог, – сказал:

– Нет, пуцай начальство. – И добавил, рассыпавшись трескучим смехом: Момент исторический. Так сказать, в колхозе "Новая жизнь" задувается индустриальный цех.

Михаил десятки, сотни раз разжигал огонь в кузнице – и чего бы волноваться? А

волновался. У него перехватило дыхание, когда Лукашин начал раскрывать коробок со спичками. И – что совсем удивительно – волновался Петр Житов. Петр Житов вдруг положил свою руку на его плечо.

Наконец спичка загорелась. Желтый огонек с треском побежал по тонкой берестяной ленточке. Руки Лукашина, прикрывавшие огонек, стали наливаясь малиновым соком. Отчетливо проступили белые порезы и шрамы на пальцах.

Когда разгорелось пламя, Петр Житов в ознаменование нынешнего исторического события – не мог не съязвить! – предложил выбить памятную медаль или на худой конец сковать подкову на счастье.

– Ну-ка, Илюха, – толкнул он Илью, – давай! Ты мастер на счастливые подковы.

Намек был нехороший. Петр Житов, конечно, имел в виду подкову, которую Илья сковал в первый день своей работы в кузнице после возвращения с войны. "На счастье", – сказал тогда Илья и при них, то есть при Михаиле и при Петре Житове, вбил подкову в нижнюю ступеньку своего крыльца.

Однако Илья не из тех, кто из-за пустяка лезет в бутылку. Илья сказал, застенчиво улыбаясь:

– Нет, подкова, я думаю, председателю ни к чему. А вот нож хороший иметь, по-моему, не мешает.

– Не мешает, – согласился Лукашин и вдруг, к всеобщему удивлению, сам встал к наковальне.

Михаил все же думал: шутит Иван Дмитриевич. Петра Житова хочет разыграть. Ничего подобного! Попросил поискать старый плоский напильник – верно, быстрее всего из такого напильника можно сковать нож, – раскалил напильник докрасна и в клещи. По-кузнечки, под самое основание стержня зажал напильник, так что сразу видно: держал в руках клещи.

Нож, если говорить откровенно, вышел так себе. Надо час, не меньше, обдирать на точиле, чтобы он стал более или менее гладким. Но сам Лукашин был довольнехонек. Запотел. Щеки налились жаром. И такая счастливая улыбка – дом построил!

– Давненько не приходилось держать в руках молотка, – сказал он. – Лет, пожалуй, тридцать. А когда-то отец из меня кузнеца хотел сделать. Кузница у нас была.

– Вот как! – с волнением сказал Илья. – Дак, значит, мы с тобой тезки, товарищ Лукашин?

– В каком смысле?

– А в том, что у моего отца тоже кузница была. Вот это хозяйство, – Илья обвел рукой темные стены, – наше, нетесовское. Меня из-за этой кузницы еще три года в колхоз не принимали. Как сына твердозаданца. Ну да что об этом вспоминать. – Илья поспешно поднял с земляного пола ломик, махнул рукой в сторону своего дома: извините, дескать, дела.

Но Лукашин задержал его. Лукашин заговорил насчет работы в кузнице. Согласен ли Илья Максимович встать за наковальню?

– А почему не согласен, – ответил Илья. – Я кузнечное дело люблю. Вот только с лесом развяжусь – и с дорогой душой.

– Это когда же?

– Да когда у нас из лесу выезжают? Примерно середь мая.

– Нет, – сказал Лукашин. – Это не годится. Нам надо, чтобы кузница сейчас дымила. Посевная на носу.

Все – и Михаил, и Петр Житов, и Илья – переглянулись меж собой, улыбнулись: забавно говорит председатель. Сразу видно, что новичок.

Петр Житов, снисходительно поглядывая на Лукашина, разъяснил, что за порядки у них в районе. Ни один председатель не может снять своего колхозника с лесозаготовок без ведома райкома, а тем более групповода.

– Вот как! – удивился Лукашин. – Значит, колхоз не может своими колхозниками распоряжаться? А кто установил такой порядок?

– Да не мы же, – ответил Петр Житов. – С тридцатых годов такой порядок идет. Лукашин подумал. Сказал:
– Ладно. Выезжай, Илья Максимович. А насчет ответа не беспокойся – это уж моя забота.

2

Да, такого, чтобы кто-то из председателей колхоза пошел поперек самого, то есть поперек первого секретаря райкома, такого еще не бывало. С ним, с Подрезовым, можно поговорить, даже поспорить насчет колхозных дел – это допускал, но там, где речь заходила о лесе, там замри. Там один говорит – он, Подрезов. Там слово Подрезова – закон.

И вот объявился на Пинеге человек, который захотел жить по-своему. Само собой, что об этом в тот же день стало известно самому (скорее всего, Ося-агент брякнул, он в тот день ездил в район). И распекай последовал немедленно.

– Ты чего это новые порядки заводишь, а? Ты с кем это надумал?

За полную точность этих слов Михаил, конечно, не мог поручиться, хотя в то время, когда раздался звонок Подрезова, он сидел у председательского стола, но, судя по тому, что ответил Иван Дмитриевич, Михаил мог догадаться и о словах Подрезова.

Лукашин ответил так:

– Евдоким Поликарпович, до сих пор я думал, что колхоз сам распоряжается своими колхозниками.

– А ты не думай, не думай! Так лучше будет.

Вот эти слова Михаил расслышал уже отчетливо, да, надо полагать, расслышали их и другие, так как Лукашин держал трубку неплотно к уху.

В конторе вдруг стало тихо. Порядочно собралось людей в этот вечерний час. Порядочно, конечно, относительно. Потому что зимой какой народ в деревне? Старушонки, доярки, конюх, два-три инвалида, а из молодежи, пожалуй, только он один, Михаил.

Михаил очень переживал за Лукашина: что ответит Подрезову? Сумеет ли вывернуться так, чтобы не уронить себя в глазах колхозников? Денис Першин, когда разговаривал по телефону с первым, вытягивался чуть ли не по стойке «смирно», и по этому поводу много было всяких насмешек и разговоров, даже частушку похабную кто-то пустил.

Иван Дмитриевич не дрогнул, не согнулся. Ответил в том духе, что он действует в рамках устава сельхозартели. А кроме того, сказал Иван Дмитриевич, он выполняет решение райкома.

– Какое еще решение? – пробасил Подрезов. И эти слова опять все услышали.

– Решение райкома о возвращении кузнецов с лесозаготовок. Могу напомнить, Евдоким Поликарпович. На днях получили это решение.

Все, кто был в конторе, заулыбались, закачали головами: ловко, ловко срезал. Середь зимы в лужу посадил. Но, конечно, никто всерьез эти слова не принял: где же председателю колхоза свою дорогу торить? Хорошо уж и то, что слова не побоялся сказать. И Михаил тут не был исключением. Он был тоже уверен, что за ночь Лукашин одумается, пойдет на попятный, – и кто укорит его за это?

Лукашин за ночь не одумался. Лукашин назавтра сам поехал на Ручьи и поздно вечером привез оттуда Илью Нетесова. Со всем скарбом.

В Пекашине замерли. В Пекашине ждали. Что будет? Какой грянет гром? Анфиса Петровна на глазах у всех осунулась. Это ведь не шутка – самовольно, вопреки райкому снять человека с лесозаготовок. Самое малое – строгаач обеспечен. А при желании можно и под монастырь.

Петр Житов ходил злой и мрачный. Вот когда выяснилось, что и он возлагал кое-какие надежды на нового председателя. А что касается Михаила, то он по вечерам не выходил из конторы. Сидел и ждал.

Томление это и выжидание длилось десять дней. И разрешилось оно совершенно

неожиданным образом: из райкома пришла телефонограмма:

"В связи с объявленным по области месячником на лесозаготовках колхозу "Новая жизнь" предлагается в двухдневный срок выделить на лесозаготовки 7 человек. За невыполнение данной директивы председатель несет личную партийную ответственность. Подрезов".

3

Месячник по лесозаготовкам (их стали объявлять с начала тридцатых годов) означал примерно то же самое, что решающий штурм укреплений врага на фронте. Все бросались в лес. До последнего. Люди, лошади, припасы. В районе закрывались учреждения, конторы, даже райком пустел в эти дни... А что же говорить о колхозах? Их-то уж мели-чистили вдоль и поперек. И это в то время, когда весна на подходе, когда крестьянская работа кричит из каждого угла.

В "Новой жизни" на правление вызвали всех, кто по возрасту и по здоровью подпадал под закон о трудповинности.

Первыми, вполне понятно, отпали доярки и телятница – скотину без присмотра не оставишь, скотина на месячники еще не приучена откликаться. Парторг Озеров тоже не в счет – учитель. А кто остался?

Остались: Михаил Пряслин, Илья Нетесов, счетовод колхозной конторы Олена Житова, Анфиса Петровна, ну и сам Лукашин. Пять человек. Если даже всех пятерых отправить, то и тогда распоряжение райкома не будет выполнено.

Лукашин сидел с плотно сжатыми губами. Желтый, вымотанный. Как конь, на котором всю ночь работали и которого сейчас снова запрягли.

Понял, значит, что это такое – быть колхозным председателем, подумал Михаил и, чтобы не тратить попусту время, предложил первым в список на отправку в лес включить Илью Нетесова, затем одного из бригадиров (Михаил предложил себя) и затем Олену Житову, колхозного счетовода, поскольку в колхозе все равно нечего считать.

Колхозники с этим предложением согласились – из пяти человек много не накроишь, за исключением того, что вместо него, Михаила, в лес решили послать Анфису Петровну. На этом, кстати сказать, настояла сама Анфиса Петровна, потому что какой же бабе под силу возка дров и сена? А ведь именно на бригадира, который останется дома, ляжет вся эта работа.

Да, колхозники с предложением Михаила согласились. Но только не председатель. Председатель уперся – ни в какую: должна работать кузница – и баста.

А кто же говорит, что не должна? Может, он, Михаил? Может, те бабы, с которыми он по веснам пашет поля? Уж кому-кому, а им-то, пахарям, известно, что за техника в ихнем колхозе. Плуги за войну износились начисто – к каждому надо лемех наварить, и если на то пошло, так не одного, а двух кузнецов надо бы поставить. Да только кто это им позволит – в месячник своим умом жить?

В общем – небывалое дело у них в колхозе! – колхозники стали учить сознательности председателя. И он, Михаил, и Анфиса Петровна – тут нет жен да мужей, – и Илья Нетесов. (Мужик сидел в мыле. Не привык, чтобы многодетную бабу впереди него в лес гнали.) И Лукашин, казалось, начал сдаваться: умный же человек. Как не понять того, что малому ребенку понятно.

Нет, черта с два! Печать колхозную вдруг на стол, сам порохом вспыхнул: председатель вместо кузнеца поедет.

– Куда? В лес?

– Да у нас в войну такого не бывало!

– А сейчас будет! – упрямо сказал Лукашин.

И люди замолчали. Ведь в конце-то концов не враги же они были себе.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

О Лукашине заговорили в районе. Кто? Откуда такой смельчак взялся, что ему и Подрезов не указ? А потом – где это слыхано, чтобы председатель колхоза и сам к пню встал, и жену свою к пню поставил?

– Надо поглядеть, – сказал себе Егорша, когда весть о приезде Лукашина и Анфисы Петровны на Ручьи дошла до лесопункта.

Время свободное у Егорши было – он второй день сидел на бюллетене, а проще сказать, сачковал, потому что порубка пальца на правой руке была пустяковая. Но раз медицина дала бюллетень, с какой стати отказываться? Будет, повтыкал он без выходных. Осенью, например, кто по неделям не слезал с трактора? Суханов-Ставров. Смотри районную газету от 7 ноября за № 79 – там об этом ясно сказано. А трактор вышел из строя – кто начал гнуть хребтину у пня? Об этом смотри "Доску показателей" у входа в контору лесопункта. Графа первая – "Наши лучкисты". Там фамилия Суханова-Ставрова не на последнем месте. Нет, угрызений совести насчет того, что он маленько засачковал, у Егорши не было.

Солнышко стояло еще высоко, когда он спустился в низину, где под черными мохнатыми елями горбился колхозный барак. Заплывшие смолой стволы основательно порублены – кто только не вострил на них своего топора! И он, Егорша, в свое время вострил, да и сам-то барак построен его руками.

А крыльца все еще не сделали, отметил про себя Егорша, скользнув беглым взглядом по дощатой двери, над которой висели ледяные сосульки. И вместо скобы все тот же деревянный держак, который он собственной рукой вбил еще в сорок втором году. Эх, колхозный сектор...

Не заходя в барак, он прошел к кухне – синий дрожащий дымок над снежной шапкой он заметил еще с горы. Лизки на кухне не было. Он бросил в угол сверток с грязным бельем, поставил тальянку на скамейку – натянула за дорогу плечо – и вдруг замер.

Серый камень, серый камень,
Серый камень сто пудов.
Серый камень так не тянет,
Как проклятая любовь.

Егорша быстрее ветра выскочил из кухни. А ну, кого задавила любовь? С кого снять стопудовый камень?

Привстав на носки, он обежал глазами вокруг себя. У баньки, глубоко, по самую крышу, вросшей в сугроб над ручьем, плясали розовотелые девахи. Нет, не девахи. К сожалению, березовая древесина, раскрашенная вечерним солнцем.

Он встал на полную ступню – хромовые сапожки жалобно скрипнули – и вдруг опять вытянулся как струна: на этот раз ему почудился звук, похожий на всплеск воды.

В один миг, чиркнув подошвами по заледенелой дорожке, он перенесся к баньке, схватился за ствол березы, чтобы не скатиться вниз к ручью. Вот она, птаха голосистая!

У проруби, присев на корточки, полоскала белье девушка – в одном платье, без платка.

Жаркая, подумал Егорша. Но кто же это такая? Он-то по первости, когда услышал частушку, подумал было на Раечку Клевакину. Та любит трезвонить про любовь. Но у Раечки волосы потемнее, а эта вон какая белая. Как куропатка.

Девушка в это время, отжимая белье, разогнулась, и лицо у Егорши перекошилось, как от изжоги: Лизка...

Вялым движением руки он смахнул прилипшую к щеке тонкую березовую кожицу,

поискал глазами дятла, застучавшего за ручьем.

Дятел сидел на сухой березе – крупный, из генеральской породы, с красными лампасами. Работал разборчиво, с роздыхом. В одном месте долбанет – не нравится. Долбанет в другом... Наконец, подавшись к вершине, нашел, что надо, и стал закреплять хвост.

– Чего, как пень, выстал на дороге?

А, черт, эта еще малявка! Егорша раздраженно скользнул глазами по Лизке, поднимавшейся с корзиной белья вверх по узкой тропке, сделал шаг в сторону и рухнул по пояс.

Лизка захохотала:

– Каково в сапожках-то? Не форси, форсун. Выдумал в сапожках зимой ходить.

– Ладно, ладно, проваливай.

– А что?

– А вот то. Больно расчирикалась...

Выбравшись на тропку, Егорша выковырял из-за голенищ снег, отряхнулся, закурил.

Вечерело. Солнце садилось на ели за бараком, и небо там было багровое. Лизка, похрустывая снегом, развешивала белье у баньки. Красная косоплетка ярко горела у нее на спине.

Тоже мне, чудо гороховое, подумал Егорша с усмешкой, куда девки, туда и она. Ленту развесила.

Веревка между двумя березами была натянута высокононько, и Лизка всякий раз, закидывая на нее рубаху или портки, приподнималась на носки валенок, и старенькое ситцевое платишко туго обтягивало ее небольшую фигурку.

А ведь она ничего, вдруг сделал для себя открытие Егорша. Ей-богу! И все на месте... Руки, ноги... Ах ты, кикимора...

Не спуская глаз с Лизки, он докурил папиросу, натянул поглубже на голову кепку.

– Белье-то принес? – спросила Лизка, когда он подошел к ней.

Егорша с прищуром, легонько покусывая губы, смотрел на нее.

– На вот, уставился! Я говорю, белье-то принес? – Лицо у Лизки покраснелось, в зеленых глазах играло солнце.

– Руки-то не замерзли? – спросил Егорша.

– Чего? – удивилась Лизка и вдруг рассмеялась. – Да ты что, парень, рехнулся? – Она вынула из корзины мужскую рубаху, развернула ее и легко, с ловкостью опытной бабы кинула на веревку. – Вот чего выдумал! Руки замерзли... Да я сколько лет стираю. И дома, и здесь всех обстирываю.

– Смотри не простудись, – сказал Егорша.

– Сам не простудись. Может, замерз? Полежай в баньку. Она тепленная. Я только что белье стирала.

Егорша скосил прищуренный глаз на черные дверцы баньки с деревянным держакон, оглянулся вокруг.

План созрел моментально.

– Пойдем, палец поможешь перевязать.

– Палец? – У Лизки округлились глаза, когда она увидела бинт на его руке. – Где это ты?

– Ерунда. В лесу поцарапал.

– Порато? Болит?

– Временами...

– Ну ладно. Я сейчас. Подожди маленько. В баньке было тепло, сухо. Привычно пахло березовым веником.

Пропуская вперед Лизку, Егорша тихонько накинул крючок на дверцы.

– Иди сюда, к окошечку, тут светлее, – позвала его Лизка.

Он сел рядом с ней на скамейку, зубы у него стучали.

– Ну вот видишь, – сказала Лизка, – замерз. А я нисколючко. Весь день на улице в одном платье и вот нисколючко не замерзла.

– Горячая, значит.

– Наверно, – усмехнулась Лизка.

Она склонилась над его пальцем и начала распутывать бинт. Руки у нее были холодные, жесткие.

– Узелок-то еще не скоро и развяжешь. Топором надо разрубать. Кто это тебе затянул? Тося-фельдшерница?

– Ага...

– Ей бы не руки перевязывать, а возы с сеном. Правда, правда!

Белая Лизкина голова еще ниже склонилась над его рукой. В лучах вечернего солнца она казалась малиновой.

Егорша надавил сапогом на Лизкин валенок – не понимает, положил свободную руку на плечи – Лизка только рассмеялась:

– Что, обнесло? Да не бойся. Я еще не развязала. На вот, дрожит, как лист осиновый, а еще мужик называется.

Егорша перевел дух. Вот еще дура-то набитая! В жизни такой не видал. И тут, отбросив всякую дипломатию, он просунул ей руку под мышку, цапнул за грудь.

Лизка вздрогнула, мотнула головой, затем резко откинулась назад.

– Ты чего? Ты чего это?

– Ладно, ладно. Потихе. Не съем. – Не давая ей опомниться, он притянул ее к себе, крепко поцеловал в губы.

– Ка-ра-ул! Лю-ди!..

Лизка вырвалась из его рук, кинулась вон, но он оттащил ее назад.

– Дура! Кто людей на любовь кличет!

– Не подходи, не подходи! – закричала Лизка, пятась в угол. Зеленые искры летели из ее глаз. И вдруг она охнула, пала на скамейку и расплакалась. – Я ему стираю-стираю, сколько лет стираю, а он вот что удумал... Рожа бесстыжая... Скажу Мишке... Все скажу...

Егорша в нерешительности остановился. У него сразу пропало всякое желание возиться с этим недоноском.

– Ладно, – сказал он, неприязненно глядя на нее, – хватит сырость разводить. Нашла чем страшать, Мишкой... Может, еще в газету объявление дашь? Ай-яй-яй, какая беда на свете случилась? Семнадцатилетнюю кобылу пощупали.

Сильным ударом сапога он сшиб с крючка дверку, вышел на улицу.

Солнце уже закатилось. В красном зареве заката четко выделялись черные вершины елей. А за ручьем, как и прежде, шла долбежка – у дятла, видно, тоже месячник.

Люди из леса еще не пришли, но барак не пустовал – в левом углу на нарах лежал человек.

– Загораем? – спросил Егорша. – Почем платят за час?

Тимофей Лобанов – это был он – приподнялся, блеснул глазами в потемках и перелег со спины на бок.

– Давай-давай, перемени позицию, – съязвил Егорша, обиженный его молчанием.

Раньше, когда Егорша приходил сюда до возврата людей из лесу, он частенько заваливался на Лизкину постель и, лежа эдак с папироской в зубах, любил почесать языком с каким-нибудь сачкарем, в особенности с матюкливым стариком Постниковым, но сейчас, проходя мимо Лизкиной постели, он почему-то не решился сделать это.

Он зачерпнул кружкой воды из ведра, стоявшего на табуретке у печи, напился, достал папироску.

– Курить будешь?

– Без курева тошно.

– Что так? Гитлеровские харчи все еще отрыгаются?

Тимофей ничего не ответил. Лизка не приходила.

Что она там делает? Неужели все еще разливается? Ах, черт, надо же было связаться с этой мокрицей! Мало бабья на лесопункте...

С улицы донесся тягучий визг полозьев – кто-то подъезжал к барaku.

Егорша выскочил на улицу – где она, дура?

На кухне огня не было. Он побежал к баньке – надо срочно приводить ее в чувство. А то вернутся скоро люди – хрен ее знает, что ей взбредет в башку. Еще вой поднимет: вот, мол, хотел сильничать. Хороший был бы у него видик!

Дверка в баньку была закрыта на крючок. Он прислушался – плачет.

– Лизка, Лизка, кончай бодягу. Слышишь? У тебя ведь обед не варен – что люди-то скажут.

Ни звука.

– Слушай, бестолочь, ты хоть людям-то скажи что надо: мол, угорела в бане. Понимаешь?

Снова плач.

– Лизка, слышишь? Я на платье куплю – у нас талоны скоро давать будут. Ей-богу!

У конюшни, за кухней, распрягли лошадь. "Стой, стой, прорва окаянная!" Скрипели еще сани на подходе, и уже голоса людей раскатывались по вечернему лесу...

Егорша раздумывал недолго. Добежал до кухни, схватил гармонь и – прощайте братья колхозники. Художественную часть перенесем на другой раз.

Быстрая ходьба темным ельником скоро вернула ему самообладание, и он, посматривая на звезды, с удивлением думал теперь о том, что произошло у него с Лизкой. Какая такая блоха его укусила? Березки, солнышко в дурь вогнали? И главное, хоть бы девка была – не обидно, а то ведь черт-те что – недоносок, кисель на постном масле.

Со свойственной ему практичностью он живо прикинул возможные последствия на тот случай, если бы Лизка подняла шум.

Во-первых, забудь на время дорогу в Пекашино, Мишка на дыбы: "А, гад, сестру мою обижать?" Дедко, конечно, в ту же дуду: "Вот до чего дожили! Девка за нами всю грязь выгребает, а ты отплатил, нечего сказать..." Ну так. А еще кто? Не будут же они кричать на все Пекашино? Ясно, не будут – не дураки.

Хуже, ежели она, дуреха, подумал Егорша, тут, на Ручьях, растреплет. К примеру, этому самому Лукашину нажалуется. Ладно, Лукашин взовьется партийный. А ты, душа любезна, что? Да, да! Постой руками размахивать. Мы пока чужих жен не уводим, а кто насчет молодой любви указ? Ну а своему начальнику лесопункта он тоже сумеет ответить. Кубики тебе даем? Даем. На красной доске висим? Висим. Правильно говорю, Кузьма Кузьмич? Не ошибся? Ну и бывай здоров! Встретимся на районном совещании стахановцев.

В общем, решил Егорша, ерунда. Главное на сегодняшний день – держи производственные показатели. Качай зеленое золото, как велит родина. А этот закон он усвоил неплохо. С пятнадцати лет топор из рук не выпускает. И завтра он еще даст кое-кому прикурить.

Скоро между деревьями стала проглядывать звездная Сотюга, а потом вдаль, на крутояре, замелькали и огоньки.

Егорша развернул гармонь:

Лесорубы, лесорубы,
Лесорубы – золото...

С песнями подошел к лесопункту.

2

Михаил вошел в избу – Лизка. Сидит у стола на лавке.

– Ты чего это надумала, а?

– Что уж, девке и домой нельзя? – вступилась мать.

– Да нет, почему же... Я к слову.

Михаил разделся, снял валенки и поставил на печь, босиком прошел к столу. Мать подала крынку молока.

Ребята давно уже спали – время было позднее, за полночь. Лизка, судя по яркому румянцу на щеках, явилась домой недавно.

Его удивило ее молчание.

– У тебя все в порядке? Ничего не случилось?

– Да нет, ничего... – не сразу ответила Лизка и громко, с всхлипом ширнула носом.

– Невеста... Нос-то пора на сушу выволакивать. Не маленькая.

И тут Лизка вдруг обхватила голову руками и разрыдалась.

Михаил переглянулся с матерью, отодвинул в сторону крынку с молоком.

– Что, говорю, случилось?

– Не зна-а-а-ю.

– Не знаю? Как не знаю? Ночью домой прибежала и не знаю...

– Да так... Скучно чего-то стало...

– Скучно? Хэ, скучно... Когда я был у вас на Ручьях? Неделю назад? Михаил побарабанил пальцами по столу. – Ты хоть спрашивала там кого? Нет? Ничего себе. Люди все в лес на месячник, а я пробежки по ночам делать...

Михаил еще говорил что-то в том же роде, потому что его начинали злить эти «ничего» да "не знаю", потом накричал на мать, которая, вместо того чтобы хоть какой-то ясности добиться от своей доченьки, набросилась на него – вот, мол, какой зверь, девке хоть домой не показывайся, – и в конце концов махнул рукой. Пускай разбираются сами. Сколько еще переливать из пустого в порожнее?

И он вышел из-за стола, лег на кровать и больше не сказал ни слова.

А утром проснулся – стоит Лизка возле него и улыбается. И уже одета, рукавицы на руках.

Он ни черта не понимал.

– Мати, что у нас с девкой делается? То слезы в три ручья, то рот до ушей.

Лизка смущенно рассмеялась:

– Да нету ее. На телятнике. – И протянула ему руку. – Не сердись на меня, ладно? Я побежала.

– Постой – побежала. – Он спрыгнул с кровати, быстро оделся.

– Ты поела чего-нибудь?

– Нет, не хочу.

– Вот счастливый человек! А я бы собаку сейчас сожрал.

Выйдя из заулка на дорогу, Михаил несколько дольше обычного задержал руку сестры и вдруг, пристально глядя на нее, решил:

– Подожди. Я немного подброшу тебя. Выстоявшийся за ночь конь подкатил к дому на рысях, розовый, как само утро.

– Садись! – крикнул Михаил.

И замелькали пекашинские дома, заплясали окна, налитые печным жаром. А потом они спустились под гору, выехали на реку, и как раз в эту минуту из-за елей на Копанце показалось солнце.

И понеслись, полетели брат да сестра навстречу солнцу – рысью, вскачь, под поклоны еловых вышек, расставленных вдоль зимника.

Михаил оборачивался назад, кричал:

– Хоро-шо-о?

И Лизка, довольнехоньякая, без слов, одними глазами отвечала: "Хорошо!" – а когда дорога стала подниматься с реки в угор, к лесу, она вдруг обняла его и спрыгнула с саней:

– Спасибо, брателко Я теперь добегу.

Да, тут надо было расстаться, нельзя ему дальше, потому что он сейчас и за

председателя, и за бригадира, и за мужика – во всех лицах. Сено – он, дрова он, бабьи слезы да ругань – он, и перед райкомом за всех отдуваться – тоже он. Вот какой у него сейчас месячник! И, конечно, не будь всего этого, он, наверное, помягче бы обошелся вчера с сестрой. Но что же все-таки у нее случилось? Из-за чего она так убивалась-плакала?

– Слушай!.. – крикнул Михаил.

Лизка оглянулась, махнула рукой и опять побежала в угор, бойко, по-бабьи размахивая руками.

3

Восемь километров Лизка пробежала, ни разу не отдыхая.

И вот спуск с горы – масляно блестит колея на солнце, а внизу барак, конюшня, кухня, банька, вся заплывшая сверкающими сосульками. Все как раньше. И с нею ничего не случилось – стоит на ногах крепче прежнего. А ведь вчера ей казалось – конец жизни пришел. И она не то что на людей, на белый свет взглянуть больше не сможет.

Ах ты батюшки! Где только был ум? Все бросила, никому ничего не сказала, построчила домой. Спасай, мати! Спасай, брат! А от чего спасать-то?

Нет, сунулся бы теперь этот дьявол кудреватый, она бы знала, как образумить его. Расплакалась, расквасилась, а надо было ковшом, кочергой – чем попало огреть. Не суй лапы – не на ту наехал. В песне-то не зря поется: "У Егорушки кудерышки, кудерышки кругом. Это я назавивала суковатым батогом". Жалко вот только, что частушку-то она вспомнила поздно. Утром, когда мать стала затоплять печь. А то бы она не точила всю ночь слезами подушку, не сводила с ума родных.

Ладно, не дивитесь, ели, не судите, люди: не все рождаются сразу умными.

Барак сегодня был пустой. Солнечные зайчики мельтешили по кругляшам закопченных стен. А на столе немытая посуда, черные от сажи чайники, котелки...

Небывалая хозяйственная страсть, желание хоть как-то загладить свою вину перед людьми охватили все Лизкино существо. Она сняла с себя ватник, платок, сбегала на ручей за водой, развела в кухне огонь, все перемыла, прибрала, начистила картошки на обед, замочила треску, затем вспомнила, что у нее белье вчерашнее на веревке висит, – собрала белье. А что еще делать?

Долго не раздумывала: оделась, вскинула топорик на плечо – и в лес.

Давно она не была в лесу. С той самой поры, как ее на кухню поставили. Работенка неприметная, а хватает. Утром – чай, завтрак, немудреная пускай еда – мусенка или каша овсяная, а встать надо раньше всех. А люди в лес отправились – все надо прибрать, пол подпахать, а то и помыть, а потом стирка, тому рубаху зашить, этому рукавицы починить – как на огне горят рукавицы, а там, смотришь, и темень: про обед смекай, барак топи, баню топи – люди в лесу намерзнутся, хоть каждый день готовы париться.

Но теперь дело другое. Теперь дни стали длинные – можно и ей часа на два, на три в лес выходить. Раз у людей месячник, пускай и у нее будет месячник. Да, может, и копейку какую положат – не помешает.

Первым человеком, которого увидела Лизка в лесу, была Раечка Клевакина.

Идет, отвешивает земные поклоны лошадка, нагруженная сосновым долготьем, а Раечка бежит сзади – в новых черных валенках, в ярком платке с длинными кистями, и белые зубы напоказ – за версту видны. Легко, как на празднике, живет Раечка. Лес ей в новинку, вроде забавы после зимнего сиденья на маслозаводе. "Ой, как у вас тут красиво, Лиза!.." Красиво, когда солнышко с утра до вечера барабанит. А вот что бы ты запела в морозы, когда тут ели в лучину щепало?

– Лиза, Лиза! – замахала руками Раечка. – Где ты была? Мы вчера просто с ума сходили...

Лизка подождала, пока Раечка не подбежала к ней, сказала:

– А чего сходить-то? Я ведь не иголка – в сене не потеряюсь.

– Да как же! Мы пришли из лесу, а тебя нигде нету, обеда нету...
– Ладно, невелики бары. Раз-то и сами сготовите. Раечка пристально, отступая на шаг, оглядела ее:

– Ты сегодня какая-то не такая.

– Не выдумывай, – отрезала Лизка и пошла дальше, навстречу следующей лошади.

Ехал Петр Житов – здоровая нога на весу, другая, с протезом, прямая, как палка, вытянута по бревну.

Трудновинность на Петра не распространялась – инвалид. Но как быть, если на месячник выписали жену, а дома трое малых ребятишек, корова да еще мать-старуха, за которой тоже присмотр нужен?

Петр Житов, то ли оттого, что вообще не заметил ее, то ли потому, что своих забот хватает, проехал мимо, не разжав губ.

Лизка немножко приободрилась: двух человек встретила – ничего, сквозь землю не провалилась и Раечке ответила как надо. Может, и с другими обойдется.

Рабочий день был в разгаре. Делянка ревела и ухала. С гулом, с треском падали мохнатые ели, взметая целые облака снежной пыли, визжала пила, с остервенением вгрызаясь в смолистую древесину, а в снегу по грудь, по репицу бились лошади: самая это распроклятая работка – вывозить бревна с делянки на большую дорогу.

Но на перевалочном узле работа и того тяжелее. Тут вытащенное из леса бревно надо свалить да сызнова навалить на сани и подсанки. А сколько этих саней да подсанок пройдет за день!

Навальщики – Лукашин и Иван Яковлев – храпели не хуже лошадей. Оба в одних рубахах, оба без шапок, у обоих лица мокрые, блестят на солнце.

Тем больше удивил Лизку возчик, который сиднем сидел в стороне. Надрывайтесь, рвите, мужики, жилы, а мне и горюшка мало. А ведь на навалке так: самая распоследняя бабенка и та старается чем-нибудь помочь, по крайности топчется вокруг, вид делает, что помогает.

Но вскоре, подойдя к навальщикам поближе, Лизка поняла, в чем дело. Возчиком был Тимофей Лобанов, а какая же помощь от Тимофея? Замаялся человек брюхом – день на ногах да день лежит на нарах.

– В помощницы примете? – громко, с наигранной бодростью крикнула Лизка.

– А-а, объявилась гулена! – коротко мотнул головой Лукашин.

Аншпуг, которым он выцеплял бревно с комля, в то время как Иван заносил его с вершины на подсанки, выгнулся дугой. Лизка кинулась к Лукашину на помощь, но Иван Яковлев – огонь-мужик – раньше ее оказался возле напарника. Подскочил, подвел под комель свой аншпуг, скомандовал:

– Взя-ли!

И комель грузно, со скрипом лег в колодку саней.

– Давай, Лобанов, – сказал Иван, быстро закрепив бревно веревкой, – заводи свой мотор.

– Подождите немного. Сейчас...

– Да ты хоть лошаденку отведи в сторону. Вон ведь другая на подходе.

Тимофей, держась обеими руками за живот, приподнялся – лицо землистое, в судороге, рот, как у рыбы, выброшенной из воды. Сел опять.

– А, мать-перемать... – выругался Иван, схватил вицу и огрел коня.

Конь рванулся, оттащил воз на сажень, на две и встал. Лизка живехонько сообразила:

– Ну-ко, давайте я. Пушай человек передохнет.

– А ты ничего? Сумеешь? – спросил Лукашин.

– Вот еще! Я да не сумею. Колхозная девка.

Топор втюкнула в комель бревна, взяла вожжи в руки:

– Ну, давай, Карько! Поехали.

Карько – конь с понятием. Самый трудный перевал от делянки до поворота просадил

без остановки. Ну а дальше – о чем печалиться дальше? Сиди на бревнышке да пошевеливай вожжами. Дорога сама прибежит к речке.

Вот как, оказывается, надо жить. Не поленись, подставь в трудную минуту людям свое плечо – и все тебе простят. Да, вспомнить Семеновну-соседку. Бывало, еще в войну Семеновна ее учила: "Не слезами, девка, замаливай грехи работой. Работа-то – самая доходчивая до людей молитва". Так оно и есть. Старые люди художу не научат.

Солнышко припекало, как летом. И Лизка подставляла ему то одну щеку, то другую. И не одна она сейчас грелась на солнышке. Грелась ель рогатая, густо, от маковки до подола обвешанная старыми шишками, грелись березы-ластовицы, грелась лесная детвора – верба. Эта весело, серебряными садиками разбежалась по лесу.

И Лизка, вытягивая шею, смотрела на всю эту красоту – на березы, на ели, на заросли распушившейся вербы, вокруг которых был густо истоптан искрящийся наст зайцами, и ей казалось и несправедливым и диким сейчас: за что все клянут лес? Почему с малых лет пугают в Пекашине: "Вот погоди, запрут в лес посмотрим, что запоешь!"?

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

Ужинали в две смены – все сразу за стол не умещались.

Пока ели отец с матерью и невестки со старшими детьми (младшие уже спали), Анисья с Тимофеем выжидали у печи на скамейке.

Тимофей сидел в ватнике, босой. Он только что приехал из леса, и мокрые, набухшие водой валенки с грязными, сырыми портянками стояли возле его ног – их бесполезно было ставить на печь, все равно не просохнут, – и Анисья ждала того часа, когда свекровь начнет класть на ночь в печь дрова и когда заодно с дровами можно будет сунуть в печь и валенки.

– Дорога-то в лесу еще на ладах? – спросила Татьяна.

Анисья с благодарностью посмотрела на нее. Татьяна, жена самого младшего ее деверя, была единственный в семье человек, который замечал Тимофея. Остальные не замечали.

– Ничего, можно ездить, – ответил Тимофей.

Разговор на этом и кончился, потому что старик так мотнул головой, будто его током дернуло.

Кончив ужинать, Трофим вышел на середку избы, стал молиться. Следуя его примеру, перекрестилась Авдотья, старшая сноха, жена Максима, ту, в свою очередь, поддержала Тайка, жена Якова, да еще на свою дочку зашипела: "Перекрестись! Не переломись!".

Все это, как хорошо понимала Анисья, предназначалось для Тимофея – раньше ни Авдотья, ни Тайка, выходя из-за стола, на божницу не глядели.

Ужин был не лучше, не хуже, чем всегда: капуста соленая из листа-опадыша (Анисья уже по снегу собирала его на колхозном капустнике), штук пять-шесть нечищенных картошин. Хлеба не было вовсе – редко кто в Пекашине ужинал с хлебом.

Тимофей, заняв за столом место отца, начал отгрести от себя картофельную олупку (нашел время чистоту наводить), потом, подняв глаза к жене, сказал:

– Молочка бы немножко... Нету?

Анисья не то чтобы ответить – глазом не успела моргнуть, как с кровати соскочил старик, заорал на всю избу:

– Молочка? Молочка захотел? Ха! Молочка...

– Молочко-то мы, Тимофей Трофимович, на маслозавод носим, – с притворной любезностью разъяснила Тайка. – Триста тридцать литров с коровы.

– Не слышал? Забыл, как в деревне живут?

– Отец, отец... – подала голос мать.

– Что отец? Молочка ему захотелось. А ты заробил на молочко-то? Заробил?

– Да ведь он болен, татя, – вступилась за мужа Анисья.
– Болен? А-а, болен? А отца с матерью объедать не болен? Не вороти, не вороти рыло! Правду говорю. Тут, широко зевнув, жару подбросила Авдотья:
– Кака така болесь – фершала не признают...
– Да, да, – подхватил старик. – Кака така болесь? Работы не любит, а молочко любит. Знаем...

– Да помолчи ты, пожалуйста, – поморщился Тимофей.
Если бы он, Тимофей, не махнул при этом сжатой в кулак рукой, может быть, все еще и обошлось бы, может, и не дошло бы дело до полного скандала. Но когда старик увидел кулак, он, казалось, потерял всякий рассудок. Выбежал на середку избы, заметался, замахал руками:

– Я – помолчи! Я – помолчи! В своем-то доме помолчи? Вот как! Может, драться еще будешь? Валяй, валяй! Нет, будё! Помолчал. Хватит! Попил ты моей кровушки...

– Отец, отец... Чего старое вспоминать?

Старик, как бык разъяренный, метнулся в сторону старухи:

– Не вспоминать? А он подумал, подумал, каково отцу тогда было? Коммунар, мать твою так... Как речи с трибуны метать – коммунар... А как воевать надо шкуру свою спасать!..

Тимофей медленно, опираясь обеими руками на стол, встал, пошел под порог. А на него от кровати, от задосок, от шкафа – отовсюду из сумрака избы, слабо освещенной коптилкой, смотрели глаза – Авдотьины, Тайкины, ребячьи, – и в тех глазах не было жалости. И даже глаза Татьяны на этот раз отливали холодным и беспощадным блеском. У всех у них на войне погибли мужья и отцы – и они не могли простить ему, что он был в плену.

Анисья заплакала. На полатях кто-то всхлипнул из детей, – неужели Лида?

– Отец, отец... Тимофей... – стонала старуха. – Онисья... Да что вы, господи... Что вы...

Анисья, прихрамывая, кинулась к мужу, который, уже сидя на скамейке, наматывал на ногу сырую портянку, и то ли взгляд его остановил ее, короткий, бешеный, в котором она вдруг узнала прежнего, норовистого Тимофея, то ли горло ей перехватило, но она ничего не сказала.

– Прощай, отец... Прощай, мама...

– Ответа Тимофей не дождался.

Весенняя сырость поползла от порога по полу, и на какое-то время все услышали, как в открытую дверь пробарабанила с крыльца частая капель.

Анисья выбежала вслед за мужем. Вернулась она с улицы скоро – женщины еще готовили себе постели.

– Что, и с женой разговаривать не захотел? – кольнула Тайка.

Татьяна сказала без злости:

– Куда он теперь, ночью-то...

– Куда? Ясно куда... – ответила Авдотья. – Дальше сестры не уйдет.

– Вот-вот, – подхватил старик. – Принимай, Олька, нахлебника – своих мало... – И вдруг круто, по-лобановски заорал: – Гасите огонь! Сколько еще будете карасин жгать?

Анисья, пробираясь меж постелей, подошла к столу, задула коптилку.

2

Тимофею было семнадцать лет, когда отец до беспамьятия отхлестал его чересседельником. Отхлестал за то, что Тимоха на виду у всей деревни вместе с коммунарами стаскивал кресты с церкви. Но учение впрок не пошло. Через год, не спросясь у отца, Тимофей женился на коммунарке и ушел в коммуну.

Сам Трофим и слышать не хотел о коммуне. Старший сын в мужики вышел, у других

ребят уже топор в руках держится, девка малая за прялку села – да он такую коммуны у себя раздует, первым хозяином на деревне станет.

Но от коммуны Трофим не ушел. И не ласками, не уговорами, не прижимом земельным взяли его коммунары (самое лучшее поле оттяпали), а детскими валенками.

Как-то прижало Трофима с деньгами – ни копейки нет в доме. Думал-думал Трофим: а что же Тимоха ему не помогает? Зря он поил-кормил его, сукина сына?

И вот когда он вышел на реку (коммуна была за рекой, в монастыре), навстречу ему попались коммуныта-школьники. Все в черных фабричных пальтишках, все в шапочках одинаковых, все в рукавичках вязаных. А главное – все в валеночках с кожаными союзками и кожаными подошвами. Вот что поразило Трофима. А поразило потому, что на дворе была оттепель и сам он шлепал в сырых, набухших водой валенках. А коммуныта бегут себе в этих валеночках, обшитых кожей, бегут да посмеиваются: сухо ноге.

Да, подумал Трофим, провозжая ребятишек глазами, хитрую обутку придумали коммунары. И зимой ходи – нога не мерзнет, и ранней весной, когда нога еще не терпит сапога, тоже хорошо.

И так эти валенки с кожаными союзками запали ему в голову, что он с того дня лишился всякого покоя. Станет утром обуваться – валенки, станет разуваться – валенки, ночь придет – и во сне снятся валенки.

Кончилось все тем, что Трофим вступил в коммуны.

А через два года коммуны распалась, и над Трофимом потешалась вся деревня. Ехал Трофим за реку – два воза хлеба (амбар выгреб до зернышка), две коровы, две лошади, семь штук овец, плуг новый, а выбирался оттуда на маленьких саночках, на каких зимой воду от колодца возят. К дому своему подошел – замок в пробое, и ключ от того замка не у него в кармане, а в сельсовете. Государственная собственность. И – что поделаешь – пришлось Трофиму выкупать свой дом, заново обзаводиться коровой, домашним скарбом.

Выдюжил, поднялся Трофим, в колхозе зажил не хуже других. Только сына Тимофея с тех пор уж нельзя было поминать при нем – старик выходил из себя. И даже война не примирила его с Тимофеем. Даже в войну, когда вдруг находило на него прежнее хвастовство и бахвальство и он, загибая пальцы на руке, начинал перечислять своих сыновей, Тимофея не упоминал. И никто не слышал, чтобы он когда-нибудь горевал или жаловался, что от Тимофея нет вестей с первого дня войны. Нет, такого не было, такого в Пекашине не помнили.

А потом, как стала откатываться война на запад да как бабахнула напоследок четырьмя похоронками – Максим убит, Яков убит, Ефим убит, муж у дочери убит, заговорил Трофим и о Тимофее. Молись, старуха, молись! Все молитесь! Может, хоть этого-то у смерти отмолите. Три снохи с малыми ребятами, дочь Александра с ребятами, еще четвертая сноха приехала из города с ребятами. И все малые, все беспомощные, все, как расхлестанные бурей, жмутся к нему. А он-то пень трухлявый. А он-то не работник больше. Его самого подпирать надо.

И вот бог ли услышал их молитвы, звезда ли у Тимофея особая – пришла весточка: жив.

И надо ли говорить, что у Лобановых теперь только и было разговору: вот приедет Тимофей Трофимович, вот дождемся дяди Тимоши... А сам Трофим – тот и вставал, и ложился с одними и теми же словами: "Ну, не думал, ну, не ждал, что от Тимохи будут хлебы".

Приехал Тимофей. В избу вошел в какой-то старой рвани – шинель не шинель, кафтан не кафтан, на ногах валенки, как ступы, проволокой перетянуты. И та проволока с мороза скрипит, зубы из десен рвет...

Да Тимофей ли это? Может, какой ряженный подшутить над ними захотел? Сколько солдат перевидал Трофим за эти полтора-два года – и своих, пекашинских, и чужих, из других деревень (всякие с войны возвращались: и мордастые, раскормленные, будто они и не на войне были, а на курорте, и худущие, тощие, как холера), но такого доходяги он еще не видел. А ведь Тимофей не просто солдат – командир...

Рухнула в тот вечер и эта надежда у Лобановых, и война еще раз проехала по ним: Тимофей вернулся из плена. Да мало этого – вернулся больным. И не на работу пошел устраиваться на другой день, а в больницу. Принимай, отец, еще одного нахлебника. Тянись из последних жил, гни старую хребтину, а я по больницам ходить буду. Тяжело воевал – всю войну в плену отсиживался...

И тут все прежние обиды восстали в Трофиме. И он с еще большей яростью, чем прежде, возненавидел Тимофея. И теперь опять, как прежде, никто из домашних не смел упоминать при нем имя Тимофея, пока тот был в лесу, а когда он приезжал из лесу домой, Трофим не разговаривал с ним.

3

О том, что вместе с Анфисой Петровной вечер приехал Тимофей Лобанов, Михаил узнал от самой Анфисы Петровны. Утром, когда они ехали на склад.

Ничего нового в этом для него не было – Тимофей всю зиму осаждает Тосю-фельдшерицу, – и он только плечами пожал. Потом, когда они нагрузили мешки с ячменем на сани, Анфиса Петровна снова заговорила о Тимофее:

– Лобанова дожидаться не буду. Насовсем, видно, приехал.

– Насовсем? – удивился Михаил. – А кто его освободил?

– Больной он. Наскрозь больной. И сам мучается, и нас всех замучил.

– Ну это уж как медицина, резонно сказал Михаил. – Ей виднее.

Тут со скотного двора прибежала ночная сторожиха Маня ("Михаил, зачалось у Мальвы"), и он, наскоро попросившись с Анфисой Петровной, даже забыл передать поклоны Лукашину и Лизке, побежал на скотный двор.

Мальва – крупная черно-пестрая корова-двухведерница – была их колхозной знаменитостью. Ни о ком из пекашинцев, если не считать Федора Капитоновича, ни разу не писали в областной газете, а о Мальве писали уж трижды и даже портрет давали. Лукашин, как-то размечтавшись в правлении, сказал: "Вот было бы у нас все стадо, как эта Мальва, тогда бы кое-что можно сробить". А уезжая на лесозаготовки, специально напомнил: проследи за отелом.

Мальва отелилась благополучно. Телку выдала как по заказу – крепкую, ширококостную, с той же, точь-в-точь, как у самой, рубашкой.

Но вот что значит знаменитость! Сена с мерзлиной – а другие коровы и такого не имели – есть не стала. Подай ей сено, так сказать, соответственно ейной, коровьей, номенклатуре. И пришлось подать. Пришлось выделить воз мелкого, коневого, из того самого зарода «энзе», который берегли на посевную.

Выйдя со скотного двора, Михаил завернул по пути в кузницу, сделал перекур с Ильёй Нетесовым и пошел было домой что-нибудь перехватить – Анфиса Петровна подняла его, когда у матери еще дрова не прогорели в печи, – но вдруг вспомнил, что у него в кармане сводка, и повернул в правление.

Сводка, привезенная Анфисой Петровной, была не из веселых. Вывозка леса за последнюю неделю упала на тридцать два процента. И, в общем-то, понятно, почему упала: весна. Каждому ребенку ясно, что весной на сани не навалишь столько, сколько зимой. Но для Подрезова, когда речь идет о лесозаготовках, весны не существует. Подрезов сразу же спросит: "А меры? Какие приняты меры?"

Меры, по мнению Михаила, приняты. Анфиса Петровна увезла три мешка ячменя (за этим и приезжала), – куда же больше? Людям хлеба нету, а лошадей кормим. Но для Подрезова это не меры. Вот если бы он, Михаил, сказал, что десять лошадей добавочно в лес направили да столько же людей – вот тогда да. Тогда меры – получай личную благодарность от первого секретаря райкома.

Думая о предстоящем разговоре с Подрезовым, Михаил вышел с задворок на большую дорогу и, повернув голову на стук топора, увидел Тосю-фельдшерицу.

Тося в желтом заношенном халатишке – неряха баба – рубила у крыльца жердь. Дров на медпункте не было, и Михаил знал, что, как только увидит его Тося, так сразу же поднимет лай, но он вспомнил про Тимофея и крикнул:

– Аншукова, был у тебя Лобанов?

– Был. А где твои дрова-то? Сколько мне тебя еще упрашивать?

– Постой! А что с Лобановым?

– Все то же. А теперь еще новую песню завел: дай ему направление в район.

– Дала?

– С чего? Температура нормальная, стул нормальный. У меня не лавочка – я не от дяди, от Советской власти работаю...

– Понятно, – прервал Михаил Тосино красноречие. – А не знаешь, уехал он с Анфисой Петровой?

– Вот еще! Приставлена я к нему. Я вся, сижу, околела. Когда ты, вралина, дрова-то привезешь? Еще на той неделе говорил – подвезу. Есть ли у тебя совесть-то?..

Да, вот так быть за председателя колхоза, когда ты в то же время и главный подвозчик дров, и сена, и черт знает еще чего. Каждый, кому не лень, глотку на тебя дерет. Конечно, он в долгу у Тоси не остался – дал сдачи, иначе в следующий раз вообще не показывайся ей на глаза, но дело с Тимофеем от этого яснее не стало. Где он, дьявол бы его забрал? Как показывать в сводке? На лесозаготовках? А если не уехал, дома?

Михаил побежал к Лобановым, в самый верхний конец деревни. Там ему сказали, что Тимофей еще вчор ушел к сестре Александре. У Александры в воротах приставка – сама, наверно, еще на скотном, а ребята в школе.

Михаил, запаренный, как лошадь, порысил в правление – медлить дальше со сводкой нельзя. Райком, наверно, и так все провода оборвал.

Топая, бешено стуча сапогами, чтобы стряхнуть с них мокрый снег, он вбежал в контору – и у него белые пятна пошли по лицу: Тимофей был тут, в конторе.

– Не уехал?

– Нет. В район, в больницу, думаю.

– А ты с кем это надумал? Направление есть?

Тимофей – нечего сказать – провел рукой по лбу.

– Так вот, – отчеканил Михаил, – не захотел ехать на лошади – топай на своих.

– Потопал бы, да толку от меня там мало.

– Ничего! Будет толк. У нас по-всякому лечат. Кого медициной, а кого и законом о трудповинности. Помогает.

Тимофей стал подниматься. Расчет на психику: нижнюю губу в зубы, одна рука к животу, другая вместо опоры. И конечно, как всегда бывает в таких случаях, осуждающее покачивание головой и слова, которыми хотят направить тебя на путь истинный.

– Круто берешь, парень, – сказал Тимофей. – Смотри – не споткнись.

– Ничего, – сказал Михаил. – Я с сорок второго круто беру. – Помолчал и врезал для полной ясности, глядя Тимофею прямо в глаза: – Когда на отца похоронную принесли.

А какого дьявола с ним миндальничать? Почему для всех существует закон о трудповинности, а для него нет?

Хлопнула дверь в коридоре. Тяжело заохала, застонала старая лестница.

Михаил постоял, прислушиваясь, отер с лица пот рукавом ватника, достал сводку из кармана с груди и стал звонить в райком.

4

– Опять я к тебе, сестра.

– Вот и ладно, вот и хорошо, Тимофей Трофимович, – с радостью сказала Александра и забегала по избе.

Домашнее утро у нее, как у доярки, начиналось поздно, а сегодня по случаю отела

Мальвы она пришла со скотного двора еще позже.

Она быстро навела порядок в избе: постель ребячью, не прибранную еще с ночи, вон, в сени, корыто со стиркой туда же, потом достала из сундука чистую скатерку, накрыла стол.

– Нет-нет, – говорила она, – я сама за стол не сяду, пока в избе осенняя распута. А мы чай сейчас пить будем. Те ведь, наверно, охламоны, – она имела в виду своих детей, – и чаем дядю не напоили. Проходи, проходи, Тимофей Трофимович, да ножки-то давай разуем. У меня тепло в избе.

– Нет, разуваться не стану. В район, в больницу попадать надо.

– В район? – удивилась Александра. – Ну ладно, ладно. Тамошние врачи понимают, а наша Тося только орать и может. У ней первое лекарство – горло. Ведьма, а не фершалица.

Тимофей все же сестру уважил – шинель снял, и Александра, собирая на стол, украдкой присматривалась к нему, так как ночью при свете тускленькой керосинки она вообще не могла разглядеть его, а утром убежала на скотный двор затемно, когда он еще спал.

По сравнению с прошлым разом брат ей показался еще хуже: ноги в валенках-ступях – кто только и наградил его такими, – как у старого коняги, крючьями, врозь, на щеках ямы – колоб можно положить, и, как ни крепилась она, – выдали глаза. И Тимофей заметил это.

– Что, сестра, – спросил он глухо, – неважны мои дела?

– Нет-нет, – живо возразила Александра, – я ведь это так, от радости... Такой гость у меня... – И улыбнулась сквозь слезы, закивала быстро головой. Нет-нет, ничего еще. Ты ведь в материн род, не в отцов. Это мы у Трохи все земляные, с осадом, а ты в молодости бегал – земли не задевал.

– Не успокаивай, сестра.

– Правда, правда, Тимоша. У нас природность такая. Смотри-ко, я телушка какая. Ни война не уездила, ни нужда не съела – людей стыдно. И муж, бывало, покойничек, руки без работы не держал – все нипочем. Я и теперь еще песни пою. Всякие – и старинные и новые.

– Это хорошо, – сказал Тимофей.

– А уж не знаю, хорошо ли, плохо – такая есть. На скотном дворе заголошу всех с ума сведу. И баб, и коров.

Тимофей к картошке горячей не притронулся, на сыроеги соленые только взглянул, а молока, которое она тайком (своей коровы у нее не было) принесла со скотного двора во фляжке (удобная посуда, не выпирает из-за пазухи – все скотницы обзавелись такими), выпил. Потом погрелся чаем, и глаза у него вроде оттаяли – повеселее стал взгляд.

Александра, улыбаясь, сказала:

– А ты голову-то, Тимоша, как смолоду держишь. Набок. Это от гармонии у тебя, наверно?

– А ты и гармонь помнишь?

– Помню. Что ты! Ведь я гордилась тобой! Тятя когда ты в коммуно ушел, места себе не может прибрать. "Разорил, разорил, сукин сын!" Помнишь, поле у нас отрезали у реки? Хорошая, жирная земля была – всё рожь сеяли.

Тимофей слегка кивнул головой.

– Ну вот, кричит тятя, всем сказывает. Знаешь нашего отца – дикарь шальной. То хвастается до небес, то опять караул на всю деревню. А в войну нечем хвастаться – все равно нашел: "Моих ребят пуля не возьмет". Ей-богу, кричал. Вот и докричался. Троих сыновей война заглотила, у меня мужа убили, у сестры Матрены на костылях пришел, и ты нездоровым вернулся... – Александра всплакнула. – Нет, нет, не буду плакать, – затрясла она головой. – Хватит, поплакано. О чем это я? Вот ведь памятка... Вот о чем – о поле. Жалко тате поля, и братья ходят темнее тучи – отцовы дети. Да и кто тогда земли не жалел? Помнишь, сколько отец расчисток поднял? Сам всю жизнь с пнем в обнимку прожил и нас от пня не отпускал. Это ведь нынче люди идут мимо: а, ладно, не мое, колхозьско... – Тут Александра, заметив на лице брата не то неудовольствие, не то досаду, опять спохватилась: – Вот ведь тараторка, все в сторону тащит, никак не могу на торную дорогу выбраться... Нет, постой, вот я заговорила это как ты в коммуно-то уходил. Дома у нас все убиваются, а я,

глупая, тоже реву кто, думаю, теперь меня в народный дом проведет? Весело тогда в деревне было, людно. Церковь свое служит, а вы, комсомол, свое... Вот пошли вы с Онисьей за реку, в коммуны. Ты с гармонью, головушку набок, Онисья в красном платке – коммунарка. Праздник был, вся деревня на угор высыпала – на вас смотреть. А я тоже выбежала, кричу, плачу: "Тима, Тима, возьми меня с собой!" Не помнишь?

Тимофей не ответил.

– Кричала. Я ведь гордилась тобой. И потом, когда отец в коммуны пошел, я тоже всем доказывала: а у меня брат начальник. Я помню, как ты речи говорил...

– Да, говорил... – вздохнул Тимофей.

– Ничего, ничего, Тимофей Трофимович. Такая уж судьба. – И опять не удержалась слеза в глазу, выкатилась. – А ты на отца-то не сердись. Он у нас хоть и крутой, а добрый, отходчивый. А уж как он возрадовался, когда узнал, что ты жив да домой едешь! Ко мне прибежал – прямо на скотный двор: "Олька, Олька, говорит, да ты знаешь, кто к нам-то едет!" А на улице крещение, мороз дак он приказал дома каждый день топить баню, "чтобы прямо, говорит, на полки". Не сердись, не сердись, Тимоша. И на Онисью не сердись, ежели чего не так. Ей ведь, городской, все в перелом...

– Не сержусь, – ответил Тимофей, помолчал и добавил: – Отец что – понятно. А вот у меня друг был – да... – Он опять помолчал. – В тридцать седьмом году ты этого не знаешь – я его, можно сказать, от верной смерти спас. И он меня встретил...

– Это когда ты оттуда-то возвращался? – Александра не сказала "из плена".

– Да, – с запалом выдохнул Тимофей и сжал руку в кулак. – Соседей к себе позвал. Вот, мол, свидетели на всякий случай...

Александра, приоткрыв рот от напряжения, ждала: может, расскажет брат, что он перенес там, в плену, во неметчине? А потом ей хотелось знать, где он был эти два года после войны.

Тимофей – и раньше неразговорчивый был – промолчал, а она не осмелилась его тревожить. Пускай смотрит на подгорье, коли глаз туда потянуло.

По подгорью шла весна. Снег на полях, подтаявший, засиневший, отливало на солнце, как крупная соль, дорога за реку почернела, а красная щелья, на которой стоял монастырь, уже скинула местами снег.

Она подумала и сказала:

– А я тоже часто гляжу туда, вспоминаю наше житье бывалошное. – Подождала: по душе ли этот разговор брату? – и заговорила уверенней: – Ничего, мне глянулось наше житье. Весело было смала в одном доме жить. У меня в каменном голова не болела и у мамы не болела. А татя – тот с первого дня за голову схватился: "Задавят, говорит, меня стены монастырские – дышу нет". А братья-дымокуры – тем первое дело табачище. У отца, бывало, много не накуришь – туго с денежкой расставался. А тут, в коммуне, полно табаку. Хоть кури, хоть в кашу сыпь, хоть за щеку клади. "Вот это житуха", – говорят. Помнишь, бывало, как из столовой выходишь, мешок в углу с махоркой стоял? И газета приготовлена, листочками нарезана... Ох и курили же! Я недавно с Параней Пашичевой разговорилась. Знаешь, из Заозерья? Вспомнили про этот мешок. "А я ведь, говорит, девка, с той поры закурила. Жалко добра. У меня мужик не курит, а люди курят – сама буду. Не могу, говорит, видеть, как общее добро в чужой рот идет".

– Так и сказала: "в чужой рот"? – Тимофей усмехнулся.

– Да, да, так и сказала, – живо подтвердила Александра и, очень довольная тем, что рассмешила брата, повела речь дальше: – А потом мешок с махоркой пропал – сам обзаводись, если курить хочешь. "Да я, говорит Параня, всю коммуныю прокляла. Курить научили, а табак за свои денежки покупай – какая это коммуна? И теперь, говорит, курить буду – клянусь".

– Забавно, – задумчиво сказал Тимофей. – Я этого не знал.

– Так, так, научилась Параня, на свою беду, курить.

– Ничего, – сказал Тимофей. – Табак не хлеб – можно бросить. Я с сорок первого не

курю.

– Там бросил? – Александра, сама не зная почему, опять не сказала "в плену".

– Там...

Она подождала: может, на этот раз брат разговорится?

Не разговорился.

И тогда она опять, как положено хозяйке, разговор взяла в свои руки:

– А я все хочу спросить у тебя, Тимоша: с чего это коммуна наша не устояла? Земли-то, сенокосов-то сколько было! Самолучших!..

И вдруг, беря от него чашку, почувствовала, как бледнеет: левая рука Тимофея, согнутая в локте, тихонько покачивалась. Он водил ею по животу.

И Александра с упреком и запоздалым раскаянием подумала: как же она могла забыть про его болезнь? И может, все то время, покуда она изводила его своими глупыми разговорами, он вот так и сидел скорчась, как на угольях, и еще при этом старался не показать ей виду?

– Может, погреться бы тебе на печи – легче станет? – сказала она виноватым голосом.

– Ничего. Надо попадать в район.

– Все-таки надумал... – сказала она и вздохнула.

Самое лучшее бы сейчас – не вздыхать, а достать лошадь. Но лошади сейчас она это знала – ни за какие деньги не купишь в Пекашине.

Они вышли на крыльцо. День был уже в разгаре. Припекало солнышко. С крыши дружно капало, и волглый посиневший снег под окошками был глубоко изрыт капелью.

Александра, невольно залюбовавшись апрельской голубизной неба, сказала:

– Вот и опять весны дождалась. Красиво ноне началась. Какая-то дальше будет? – И примолкла, взглянув на брата.

Тимофей смотрел на заречье, на белые развалины монастыря. Потом он спустился с крыльца и опять этим долгим и нехорошим взглядом, как подумалось ей, посмотрел на мокрую черную крышу на школе, которая блестела и дымилась на солнце, как запотевшая спина лошади, на партизанскую могилу на взгорье у клуба. Там, на взгорье, самое высокое место в деревне – снег уже растаял, и была видна земля, и над землей дрожал и переливался нагретый воздух.

– Спасибо тебе, сестра.

Александра обеими руками пожала худую, бледную руку и поспешно выпустила, потому что ей вдруг стыдно стало за себя, за свое здоровье, за то легкомыслие, с которым она вышла провожать брата, – простоволосая, в одном платье с рукавами до локтя, в опорах на босу ногу.

– Есть теперь тут дорога – прямо через кладбище? – спросил Тимофей.

– Есть, есть. А ты разве домой не зайдешь?

– Нет, не зайду. Силы побережь надо.

– Ну и ладно, ладно, – быстро закивала Александра. – Чего зря-то ноги наминать. Экое дело – в район... Я скажу нашим.

– Скажи...

И пошел, захопал стопудовыми валенками по мокрому заулку.

Ох, видит бог – не пожалела бы она сапог для родного брата! Сама бы босиком осталась, а брата выручила. Да разве налезут ему ее сапожонки?

Она схватила с крыльца приставку – легкий осиновый колышек, догнала Тимофея.

– На-ко тебе помощника на дорогу дам. Все полегче будет.

И вот стоит она, Александра, на крыльце, стоит, прикрыв рукой глаза от вешнего солнца, и смотрит, смотрит па задворки деревни, туда, на тропинку у леса, по которой медленно движется человек. И человек этот ее брат. И ничего-то, ничего-то в этом человеке, по-стариковски сгорбленном, с палкой в руке, в старой шинелишке, с поднятым воротником, – ничего-то в этом человеке не было от того молодцеватого и жадного до жизни Тимофея, каким она запомнила его с детства.

К вечеру немного пристыло, и Михаил решил: немедля, сегодня же ехать за сеном на Среднюю Синельгу. Сена на Средней Синельге оставалось возов пятнадцать, и, если не вывезти его сейчас, в эти два три дня, пока еще не поплыла дорога, ставь крест на сене. А этого ему никто не простит – ни Лукашин, ни колхозники. "Вот, скажут, посадили парня, а у него ветер в голове".

Но легко сказать – вывезти сено. А кто его будет вывозить? Где люди? В колхозе пять лошадей. На двух он поедет сам – это ясно. А кого посадить на остальные? Доярки отпадают – по теперешним дорогам, возможно, за два дня не обернуться. Степан Андреевич болеет. Федора Капитоновича не уломать.

Михаил думал-думал и вызвал в правление Илью Нетесова и Евсея Мошкина. Кузница три дня постоит на замке – ничего. Стояла больше. Ну а Евсей Лошкин хоть и не колхозник, но неужто не выручит колхоз в такое трудное время?

Евсей Мошкин не стал отказываться, и Михаил тут же, чтобы не было потом недоразумений, сказал насчет оплаты:

– Платить будем трудоднями. Как всем. Правильно, Илья Максимович?

Илья кивнул и обернулся к дверям.

В контору вошел Кузьма Кузьмич, начальник Сотюжского лесопункта.

Михаил выбежал из-за стола:

– Кузьма Кузьмич! Какими судьбами?

Илья и Евсей тоже встали. – Здорово, здорово, ребятки, – говорил Кузьма Кузьмич, каждому пожимая руку.

Михаил улыбнулся.

Для Кузьмы Кузьмича все были «ребятками» – от мала до велика. И все в районе знали его, потому что с одними он мытарил по пинежским лесам еще до революции, с лучиной, с другими гнал «кубики» в годы первых пятилеток, а нынешняя молодежь, вроде его, Михаила, прошла у него лесную школу в войну.

И вот что удивительно – не богатырь, не какой-нибудь там засмолевший кряж, налитый бурым здоровьем. Нет, мужичонка – не заглядишься: косоглазый, утопанный, голосишко сиплый, с «петухами» – не рывкнуть по-начальнически, а стоит, тянет лесопункт. И люди вокруг него держатся.

Сейчас Кузьма Кузьмич возвращался с очередного районного совещания, и разговор, само собой, зашел о лесозаготовках.

– Худо, ребятки, худо, – жаловался Кузьма Кузьмич. – С вывозкой затирает. Зимой из-за снегопадов присели, а сейчас опять весна за полозья хватается.

– Вывернешься, Кузьма Кузьмич! Знаем, – сказал Михаил.

– Да надо бы вывернуться. Надо. Вот тракторишко на отдыхе стоит – его бы охота к делу приспособить.

– Это тот, Егоршин?

– Тот, тот. Опытный. С осени он нас крепко выручил.

Тут Кузьма Кузьмич полез в свой портфельчик, хорошо известный Михаилу еще с военных лет, – маленький школьный портфельчик из черной клеенки с обтрепанными углами, который он носил через плечо на сыромятном ремешке, достал из него три пачки махорки.

– Это тебе от дружка. Хорошо, что заговорил о нем. Я вперед ехал ночью не останавливался у вас.

Махорка была очень кстати. Но в душе Михаил был немало удивлен: с чего это вдруг вспомнил о нем Егорша?

Илья Нетесов – Кузьма Кузьмич доводился ему дальней родней – стал приглашать его к себе попить чаю с дороги, но Кузьма Кузьмич отказался:

– Нет, сват, нет. Не до чаю. Выговорок получил – тепленький еще. Хорошо греет. А ты, Миша, не обзавелся еще этим товарцем?

Кузьма Кузьмич – нетрудно было догадаться – намекал на новое положение Михаила, и ему приятно было, что такой человек, как Кузьма Кузьмич, видит его за председательским столом.

– Пока нет.

– Ну и хорошо, хорошо. Это нас, пеньков трухлявых, все время подпирать надо, а вы, молодежь, другое дело. – Кузьма Кузьмич потер небритый подбородок. – А что же это вы, ребятки, с мужиком-то сделали? Неладно, неладно так.

– С каким мужиком?

– Да с Тимофеем Лобановым. Встретил – качается бедняга, едва ноги волокет.

Так как ни Илья Нетесов, ни Евсей Мошкин не знали, о чем идет речь, то Кузьме Кузьмичу пришлось рассказать. Тимофея Лобанова он встретил на Марьиных лугах. Идет в районную больницу. Идет еле-еле, с колом в руках. Ну и что было делать? Пришлось Кузьме Кузьмичу завернуть лошадь да подвезти беднягу.

– Этого беднягу не подвозить надо, а судить, – сказал, мрачняя, Михаил.

– Ну почто же ты так, Миша?

– А пото, что дезертир лесного фронта. Кто ему давал направленье в больницу? А ты еще хочешь, чтобы мы его на лошадке катали?

– Нет, Тимофеем Лобанов не дезертир, – сказал Кузьма Кузьмич. – Не из таких.

– Не из таких? Вот как! А ты, может, Кузьма Кузьмич, не веришь, что он и в плену был?

– Да ведь плен – это, ребятки, дело такое... Какая же война без плена? Я сам в двадцать первом в плену у поляков был.

– Это так. Война без плена не бывает, – подтвердил Илья.

– Смотря какая война, – упрямо гнул свое Михаил. – В нынешнюю войну все насмерть воевали. И надо еще доказать, кто как сдался.

– Ну за Тимофея можно не беспокоиться, – сказал Кузьма Кузьмич.

– А откуда тебе это известно? Ты с ним там был? А может, он сам о геройствах своих рассказывал?

– Не рассказывал. Всю дорогу молчал. А фактики у меня есть. Есть фактики. С двадцать пятого года знаю Тимофея.

Михаил начинал злиться. Кузьму Кузьмича он уважает – хороший человек. И лично ему немало сделал добра. Но что же он говорит? За кого заступаается?

Утром, передавая сводку второму секретарю райкома Шумилову, он, Михаил, сказал, что один человек самовольно вышел из леса и, не имея направления от фельдшера, отправился в районную больницу. А как же иначе? Не мог же он обманывать райком!

– Кто это у вас такой смелый? – спросил Шумилов.

Михаил назвал фамилию.

– А-а, так это тот, который в плену был? Понятно, понятно. Мы его вылечим – передадим прокурору.

И Шумилов далее сказал, чтобы он, Михаил, срочно написал и передал по телефону донесение: такой-то и такой-то под видом болезни дезертировал с лесного фронта, бывший военнопленный...

Михаил написал и передал. А как же? Есть закон о трудповинности? Есть. Медицина не подтверждает болезни? Не подтверждает. Ну а он, Михаил, должен быть добреньким, да? Этого хочет Кузьма Кузьмич? А за счет кого добреньким? За счет баб, которых от детишек от грудных оторвали да в лес погнали. А может, за счет председателя? Не видел Кузьма Кузьмич, как мы тут председателя своего в лес провожали, чтобы в кузнице огонь не затух? Интересное кино!

Кузьма Кузьмич уперся – не пробьешь. Головой кивает, вроде бы сочувствует, а губы поджал – значит, при своем мнении. Эту его особенность хорошо знал Михаил, и он,

окончательно распаясь, врубил напоследок:

– А война у нас была, нет? Была, говорю, война, а? И что бы мне сказал отец, ежели бы я всякого изменника по головке гладил?

Было это вечером 24 апреля. А ровно через три дня, тоже вечером, когда Михаил приехал с сеном с Синельги, первое, что ему сообщили на конюшне, Тимофей умер. Умер во время операции. От рака...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1

Штаб по подписке на заем собрался в правлении к семи часам утра.

Ганичев, уполномоченный райкома, вручил необходимые бумаги парторгу Озерову (Озеров с Анфисой должны были охватить подпиской нижнюю часть деревни), затем еще раз предупредил:

– Не ниже контрольной цифры. Выше можно, а ниже нельзя.

– Ясно, – сказал Озеров.

Контрольные цифры по займу Ганичев подработал еще дня за два до объявления закона о займе, так что, когда объявили закон, ему оставалось лишь внести небольшие уточнения. Собрание коммунистов тоже провели вовремя. И тем не менее подписку на заем в Пекашине из-за похорон Трофима Лобанова (не перенес старик смерти сына) пришлось отложить на два дня: нельзя, немислимо было открывать такую политическую кампанию под рев да причитания баб.

– Этот старик нам еще выйдет боком, – хмуро заметил Ганичев, поворачивая от правления в верхний конец деревни.

Лукашин промолчал, борясь со встречным ветром.

Ветер дул с севера – остервенело, с собачьим визгом. Пинега, зажатая холодом, еще не освободилась от льда – стонет, мается, как роженица, а протолкнуть лед не может. И, глядя на реку, на подгорье, на голые, окоченевшие поля, где местами еще держался снег, Лукашин думал сейчас об этих полях, на которых не было ни одной кучки навоза, о том, что обычный расчет пекашинцев на воду-вешницу, на даровой навоз – ил – в этом году не оправдается. Не выйдет нынче река из берегов – это теперь даже малому ребенку было ясно. А раз не выйдет какой же выход? Вози скорее навоз на поля, благо и погода позволяет. И он, между прочим, так и думал, вернувшись с лесозаготовок: всех бросить на навоз. Нет, стоп! – сказал район. Берись-ка сперва за заем. Эта кампания на повестке дня.

За медпунктом Ганичев начал сворачивать с передней улицы на задворки, и Лукашин удивленно выгнул бровь.

– Военная хитрость, – сказал Ганичев и подмигнул, обнажая в улыбке два ряда крепких, железных зубов.

Свои зубы Гаврило Ганичев, как шутили над ним, съел на кампаниях. Это был старый коняга – районщик, сухой, жиловатый и очень выносливый, один из тех уполномоченных-толкачей, которые из года в год, и зимой и летом, и в мороз и в грязь, колесят по районной глубинке – пешком, на случайных подводах, на попутных машинах, как придется.

– Ты что, первый раз на займе? – спросил Ганичев.

– После войны первый.

– То-то. А я на этих займах каждую весну. Знаю колхозную публику. Ты к нему в заулочек, а он стрекача через поветь. Ты к следующему дому, а там уже кол в воротах. Понял? И тут треба пошевелить мозгой, а не с песнями вдоль деревни...

Не нравилась Лукашину эта затея с блужданием по задам – они не на войне, чтобы брать каждый дом с тыла. Да и какой он председатель, ежели от него шарахаются свои

колхозники? Но он не стал спорить. Его, Ганичева, теперь власть в Пекашине. Вчера, например, Ганичев отдал распоряжение: завтра, в первый день подписки, никого на работы не посылать. И вот идут они мимо скотного двора, мимо конюшни, проходят колодцы – всё места, где по утрам толчется народ, а сегодня никого. Будто жизнь остановилась в Пекашине.

И Лукашин опять заметался в мыслях по своей председательской колее. На носу сев – основа основ деревенского бытия, а что он застал в Пекашине пять дней назад, вернувшись с Ручьев? Полное запустение, если не считать нетесовского звона в кузнице. А Михаил Прялин, его заместитель, чуть ли не при смерти: жесточайшее воспаление легких. И так, оказывается, уже десять дней. Десять дней колхоз без хозяина! Весной, накануне сева.

Крайний дом в верхнем конце деревни, к которому они поднялись от заболотья по меже, принадлежал Варваре Иняхиной. Окна заколочены, вход на знакомое крылечко загорожен двумя досками...

Варвара раза три попадалась ему на глаза в райцентре, но каждый раз, завидев ее, он сворачивал в сторону. В общем, вел себя глупо, как мальчишка. Но что он мог поделать с собой, если на память ему тотчас же приходили Григорий и Анфиса?

– Шестьсот восемьдесят с ней, – сказал по памяти Ганичев, затем на всякий случай вытащил из парусиновой сумки контрольный список. – Да, шестьсот восемьдесят, – подтвердил он.

– Она теперь не наша. У вас, в райцентре живет.

– Ничего подобного. По спискам колхозница.

– Да таких колхозниц и колхозников у нас хоть пруд пруди.

– Где она работает? Кажись, в милиции?

– Кажись.

– Ладно, – уступил Ганичев. – Свяжусь вечером с Нефедовым. Ежели согласится перечислить ее подписку на ваш счет, тогда похерим.

– А ежели не согласится?

– Может, и не согласится. У него свое задание. Следующий дом – Лобановых они, не сговариваясь, прошли мимо. Тут все еще напоминало о недавнем покойнике: на изгороди раскинут перинник из старой мешковины, холстяные порты и рубаха хлопают на ветру под окошками, а под навесом – черемушья дуги, стянутые кручеными прутьями, горбыли и плахи, березовые кряжи для полозьев. Жить и работать собирался старик.

Лукашин, вернувшись с лесозаготовок, застал Трофима еще в живых, но уже без памяти.

В избе было душно, чадила коптилка на печке, баб да детишек полно, и Лукашин сперва подумал было, что это земляки пришли прощаться со стариком, а потом, как увидел на одном ребячем лице круглые выпуклые глаза, на другом, на третьем, понял: Трофимова семья. Невестки и дочери, внуки и внучки...

Вышедшая вслед за ним на крыльцо Михеевна, жена Трофима, заговорила насчет того, что старик, мол, когда еще был в памяти, просился в старую веру. "Ничего, ежели мы позовем Евсея?"

Лукашин тогда отмахнулся: что за дурь? Не все ли равно, в какой вере умирать старику? А сейчас, вспомнив это, покачал головой: зря, зря отмахнулся. Чушь, дурь – всяко можно назвать стариковскую затею. Но разве он не заслужил, чтобы уважили его последнюю волю?

Поздно, поздно переучивать человека на смертном одре. Да разве и мало учили Трофима? Когда, какое еще поколение столько ломала и корежила жизнь? Ну-ка, темный, неграмотный мужик, в пятьдесят – шестьдесят лет поставь крест на своем прошлом, начни свою жизнь заново... А война последняя? А беды послевоенные? Стой, старик! В землю заройся, а стой. На твоих плечах держава держится...

– Чуешь, что говорю? – толкнул Лукашина под локоть Ганичев, когда они, миновав еще два нежилых дома, без рам, без огорода вокруг, брошенных хозяевами еще до войны,

свернули к Яковлевым. – Воробыши, говорю, к дому жмутся.

– Думаешь, к холоду? – спросил Лукашин.

– А я о чем толкую? У меня – отправлялся в командировку – на три печки дров оставалось. Теперь, наверно, кукарекают.

Ганичев старательно прокашлялся, затем придал лицу другое, не омраченное домашними заботами выражение и только после этого вошел в дом.

2

Яковлевы завтракали. Старик, старуха и трое детей: два мальчика и девочка – постарше своих братьев, лет четырех-пяти, очень бледная, худенькая, золотушная.

Завтрак по старинке правил старик. На столе перед ним стояла крынка с горячей нечищенной картошкой и низенькая оловянная солонка с берестяным пояском – хлеба не было.

К тому времени, как вошли в избу Ганичев и Лукашин, старик уже отсыпал детям по маленькой щепотке серой зернистой соли – прямо на стол перед каждым и принялся за распределение картошки.

Ганичев объяснил, зачем они пришли.

– Хорошее дело, – буркнул под нос себе старик и, покатав в ладонях горячую картошину, начал обдирать с нее кожицу.

– Ну как, дед? Сколько отвалишь на восстановительный? – бодрым голосом спросил Ганичев.

– Да разве с нас причитается, милой? – удивилась старуха. – В прошлом году, кабыть, с нас не брали, Осип?

Старик с невозмутимым спокойствием продолжал свое дело. Очищенную картошину он положил перед самым младшим внуком, погладил его по головке и взялся за следующую.

Мальчик постарше и девочка, вытянув шеи, не сводили глаз с дела.

– Хозяйка молодая где? – спросил Ганичев. Анна, дочь стариков, бойкая и миловидная девка, с которой Лукашин только что вернулся с лесозаготовок, ушла трушничать – собирать сенную труху по дорогам.

– Коза со вчерашнего ревет – нечего подать, – пояснила старуха и обратилась к Лукашину: – Сенца-то, Иван Дмитриевич, нам не дашь?

– Надо посмотреть, бабушка. Я месяц дома не был.

Старик к этому времени очистил вторую картошину и дал второму внуку. А девочка, сглотнув слюну, все еще ждала своей очереди.

– Пойдем... В другой раз зайдем... – сказал Лукашин на ухо Ганичеву.

Ганичев строго посмотрел на него и молча ткнул пальцем в свой список – в цифру «480».

Старуха, когда он назвал ей эту сумму, изумилась:

– Да что ты, милой! Откуда у нас такие деньги?

– Откуда? Могу сказать. – Ганичев не зря просидел три дня в правлении. В его списке против каждой фамилии были помечены доходы. – За сына пенсию получаете? – Ганичев загнул палец.

– Велика пензия. Сто сорок рубликов.

– Анна в лесу работает? – Ганичев загнул второй палец.

– Ох уж Аннина работа!.. Кажинный год по ребенку из лесу привозит. Это вот все найдушные, – кивнула старуха на детей. – За пять лет насобирала. А ноне, может, опять с грузом... Жила-жила сука, блюла-блюла себя, а тут ворота настезь раскрыла – слова не скажи...

Старика этот разговор, по-видимому, заинтересовал. Он положил недочищенную картошину на стол, прикрыл ее рукой, а вторую руку поднес к большому волосатому уху, потом вдруг нахмурился, посмотрел на картошину, подержал в руке, словно припоминая, что

ему с ней делать, и отправил себе в рот.

У Лукашина не хватило духу взглянуть на позабытую девочку. Он встал и вышел из избы. Минут через пять вышел оттуда и Ганичев – мрачный, с сурово поджатыми губами.

Подписка началась скверно. Хитрость Ганичева с обходным маневром, как вскоре выяснилось, тоже не удалась. В одном доме их встретил увесистый замок. В воротах другого дома была приставка.

– Кто-то уже предупредил – брякнул, – сказал Ганичев, подозрительно разглядывая березовый колышек у железного кольца ворот.

– Да почему предупредил? – возразил Лукашин. – Время-то смотри где. Разве у людей мало своих дел?

– Дел... Сказывай про дела... – Ганичев потянул носом воздух, потом вдруг вскинул голову, быстрым, наметанным взглядом обежал заулочок.

В конце заулка у жердяной изгороди стоял низенький, с односкатной крышей хлевочек. Дверка у хлевка была прикрыта неплотно, и из щели шел пар.

Ганичев с неожиданной для его лет резвостью подбежал к хлеву, распахнул дверку:

– Вылезай! Не овца еще, чтобы в хлеву жить.

К великому изумлению Лукашина, из хлева выползла Парасковья.

– Я это ярку проведать пошла... Что, думаю, на работу не посылают – все утро у окошка просидела...

– Ясно, ясно... Только в следующий раз дверь пошире растворяй, а то задохнешься.

С Парасковьей хлопот не было. Она подписалась так, как было запланировано у Ганичева. А вот с Петром Житовым они попотели...

Петр Житов был в загуле – от него так и разлило сивухой. Первые два дня он пил по случаю Майских праздников, потом подошли похороны Трофима Лобанова, – и как же было не почтить память старика?

На этот раз инициативу взял в свои руки Лукашин.

Петр Житов выслушал его не перебивая и, наверно, минуты две сидел молча, тупо уставившись на них своими мутными и красными с перепоя глазами. Затем скрипнул протезом в кирзовом сапоге, предупреждая, как копьё, выбросил его вперед и вдруг с неожиданным воодушевлением воскликнул:

– Прекрасно, прекрасно! Жена, сколько я наколотил трудодней в прошлом году?

– Триста пятьдесят, кабыть, – ответила Олена из-за ситцевой занавески.

– Так. А сколько в этом?

– Девяносто – то, неверно, есть.

– Девяносто! – Петр Житов поднял толстый обкуренный палец. – Это с января месяца, за зимнее время. Минус апрель, который выпал по причине месячника в лесу. Неплохо, товарищи? Не уронил Петр Житов честь инвалида Великой Отечественной, а?.. Все так трудятся в колхозах?

Ганичев ответил в том духе, что хорошо, дескать, трудишься. Стахановцем можно назвать.

– Ну, Петр Житов и в подписке будет стахановцем! Какая, товарищ Ганичев, самая большая подписка по району? А? К примеру, товарищ Подрезов, первый секретарь райкома?

– Это тебе зачем?

– А затем, что хочу, так сказать, по самым вышкам равняться. Оклада на два?

Ганичев после некоторой заминки хмуро кивнул.

– Так, на два... Первый секретарь... Ну а я, товарищ Ганичев, подписуюсь на три месячных оклада. Устраивает? И заметь: все плачу сразу, наличными. Жена, где у нас деньги? Чего прячешься от гостей?

– Не командуй! Сиди, коли нажрался...

– А-а, понятно, дорогуша, – с непонятной веселостью рассмеялся Петр Житов и кивнул на занавеску. – Сидит, как в капкане. По причине женской раздетости и недавнего кормления ребенка. Извиняюсь, Олена Северьяновна.

Он встал, достал с полки над столом измятую ученическую тетрадку и синий плотничный карандаш и начал что-то подсчитывать. Окончив подсчет, сказал:

– Пиши, товарищ Ганичев. Девяносто трудодней и тринадцать рублей пятьдесят копеек.

Ганичев принудил себя улыбнуться:

– А из тебя бы, Житов, неплохой артист получился.

– Думаешь?

– Думаю. Но мы не комедию пришли смотреть.

– Эх, товарищ Ганичев! – с наигранной обидой покачал головой Петр Житов. Человек на трехмесячный оклад подписывается, а ты ему так говоришь... Смотри. – Он снова взял карандаш. – В прошлом году я наколотил триста пятьдесят трудодней. В этом году, думаю, наверчу не меньше. Округляем до трехсот шестидесяти – я не жадный. Триста шестьдесят делим на двенадцать, – это сколько будет? Тридцать. А за три месяца, стало быть, девяносто. Так? Так. Теперь деньги. В этом году на трудодень ни хрена еще не выдали. Ладно. Возьмем по прошлогоднему. Одиннадцать, даже пятнадцать копеек для круглого счета. Пятнадцать множим на девяносто – сколько получится? По-моему, арифметика ясная – тринадцать рублей пятьдесят копеек. Проверь, проверь, товарищ Ганичев.

– Не валяй дурочку! Умник. Ты что – первый раз на заем подписываешься? Когда это трудодни на заем брали?

– Ах так! Колхозная валюта не годится? Нет, нет, погоди, товарищ Ганичев. Ответь! Вот я тебя спрашиваю: что такое эта самая колхозная валюта?

– Помолчи лучше! – подала раздраженный голос из-за занавески Елена. – Не помнишь ведь, чего мелешь.

– А я и тебя спрашиваю, колхозный счетовод. Ответь! Что такое колхозный трудодень? – И Петр Житов пристукнул кулаком по столу.

Лукашин, чтобы прекратить эту бессмысленную дискуссию с пьяным, напомнил, что он, Петр Житов, помимо трудодней, имеет еще и денежные доходы. Разве за апрель месяц он плохо в лесу подзаработал?

– Неплохо, – согласился Петр Житов.

– И пенсию получаешь, – добавил Ганичев.

– А-а, товарищ Ганичев и это учел? Правильно – получаю. Сто двенадцать рублей получаю. А сколько мои родители престарелые получают – это тебе известно, товарищ Ганичев? Нет? А кто их поит-кормит? Давай обсудим и этот вопрос...

– А я думаю, сперва язык твой обсудить надо! Понял? А то он у тебя разболтался – гаек не хватает.

– Давай, давай... Все на испуг взять хочешь, товарищ Ганичев. А я пуганый – это тебе тоже не мешало бы знать. – Петр Житов приподнял ногу с протезом, постучал кулаком по деревянке ниже колена. – Чуешь, какая музыка?

Они так и вышли от Житовых, ни до чего не договорившись.

На улице Ганичев внимательно оглядел дом Житовых.

Дом был новый – единственная новая постройка во всей деревне, появившаяся после войны. И все вокруг дома было по-хозяйски уделано, все под рукой: колодец с крышкой, погреб, баня.

– Какое у него социальное происхождение? – спросил Ганичев.

Лукашин не знал точно, кем был отец Житова до колхоза – бедняком или середняком. Да и какое это значение имеет сейчас?

– Имеет, – сказал Ганичев. – Откуда у него эта начинка? Я думал, ты, товарищ Лукашин, политически острее.

– Брось, Ганичев! Не тот заход. Это в двадцатые да в тридцатые годы чуть что – и кто твои родители.

– Кем работает у него жена? – продолжал гнуть свое Ганичев. – Счетоводом колхоза?

– Да.

– Надо освобождать.

Они заспорили. Олена была неважным счетоводом – увязла в своей семье. И Лукашин еще в первые дни своего председательства подумал: надо подыскивать нового счетовода. Но увольнять Олену за то, что муж ее загнал их в угол, а они ни черта толком не могли возразить ему, – нет, с этим он не согласен.

– Подумай, подумай, товарищ Лукашин, – сказал Ганичев. – Колхозный аппарат... – И не закончил.

Они оба устали, измучились. Хождение от дома к дому, из заулка в заулочек, одни и те же разговоры и уговоры – все это начисто измотало их.

3

Дом Ильи Нетесова они оставили напоследок. Член партии, свой человек – не надо кружить вокруг да около. А кроме того, дом Ильи был одним из самых благополучных домов в деревне: хозяин вернулся с войны, и совершенно целехонек, детей немного, и, наконец, руки золотые у мужика, – куда же лучше?

Самого Ильи дома не оказалось – он был в кузнице, и за ним побежала девочка, такая же черноглазая и смуглая, как мать. И вообще, как заметил сейчас Лукашин, которому лишь однажды доводилось заходить к Нетесовым, и остальные дети – два диковатых мальчишка, настороженно поглядывавших на них с печи, – походили на Марью: ничего от светлого голубоглазого отца в них не было.

Марья встретила их не то чтобы сдержанно – враждебно. Подняла черные колючие глаза от белья, которое чинила, сидя на железной кровати местной ковки, буркнула что-то вроде: "Проходите", – и больше на них не взглянула. Сидела, затягивала одну за другой дыры на ребячьих рубашках и одновременно ногой в валенке, на которой была надета петля, качала зыбку, наглухо завешенную старым ситцевым сарафаном.

Ганичева, однако, этот прием не смутил – за свою многолетнюю службу он навиделся еще и не такого. Ганичев запросто, по-домашнему снял свое пальто холодное, без ваты пальтишко из грубого черного сукна, какие и в войну и после войны выдавали по талонам, – повесил на вешалку возле дверей и, потряхивая головой – он с детства прихрамывал, – направился к печи.

Что-то детское, радостное проступило на его бескровном, постном лице, когда он назябшими руками нашарил теплые кирпичины. Он обернулся к Лукашину, кивком приглашая его по-товарищески разделить тепло, затем поднял голову кверху:

– Дыр на печи еще не наvertsели?

Ребятам очень понравилась шутка чужого дяди. Они громко рассмеялись, затрещали лучиной...

– Тише вы, дьяволята! Уймись! – закричала на них мать. Закричала грубо, по-бабьи, с явным расчетом поставить на место Ганичева. И Лукашину вдруг стало обидно за Ганичева.

Все ругают, кланут человека, все стараются сорвать на нем свою злость, а ежели разобраться, разве он виноват? Для себя старается?

Заем, налоги, хлебозаготовки, лес – все уполномоченный! Тащись к дьяволу на кулички. В дождь, в мороз, в бездорожье. И хорошо бы на подводе, на машине, а то ведь и пехом, на одиннадцатом номере. Четыре дня назад, когда Лукашин вернулся домой с лесозаготовок, – звонок из райкома: Ганичева к телефону.

– Какого Ганичева?

– Как? Разве он еще не у вас – вчера утром к вам вышел? Ну, значит, на Синельге загорает.

И точно – Ганичев, совершенно закоченевший, сидел у сбитого моста через Синельгу. Сидел и ждал какой-нибудь подмоги, чтобы перебраться за бурно разлившуюся речку.

И подобных случаев немало было за многолетнюю службу у Ганичева. А жаловаться? Облегчить себя руганью? Заручиться сочувствием других? Ни-ни-ни! Улыбайся, бодрись,

агитируй, хотя бы у тебя при этом кишки лопались от голода.

А голода Ганичев хватил и в войну, и после войны. Семья большая, шестеро детей – Лукашин ночевал у него как-то, – и все шестеро в одинаковых железных очках. А отчего в очках? От хорошей жизни?

Впрочем, для того чтобы знать, как живет районный служащий Ганичев, для этого совсем не обязательно заглядывать к нему домой. Для этого достаточно взглянуть на его сухое, цвета осенней травы лицо, на его китель и галифе из чертовой кожи, которые так затерты и залощены, что издали кажутся жестяными.

Илья вошел в избу запыхавшись – не иначе как бежал, – кивнул с порога, сполоснул руки под рукомойником и еще раз поздоровался – уже за руку, крепко, как товарищ с товарищами.

– Ну как наше Пекашино – не подкачало? – спросил он. И по тому, каким тоном спросил, было ясно, что подписка для него не постороннее дело.

– Активность неплохая, – ответил Ганичев. – Народ понимает, на что пойдут его трудовые сбережения.

Он сел к столу, вынул из сумки ведомость и химический карандаш и прямо, без всякого предисловия, сказал:

– На тысячу двести вытянешь?

– На тысячу двести? – Илья, будто споткнувшись на ходу, посмотрел себе под ноги, посмотрел на жену. – Вечор, кабыть, на шестьсот говорили. Так как будто...

– То вечор, а то сегодня. Вечор, к примеру, мы вовсе попа не планировали. А он возьми да и бухни семьсот.

– Евсей Мошкин?

– А кто же еще! Хватит вам и одного попа на деревню, – пошутил Ганичев.

Насчет Евсея Мошкина Ганичев немного призагнул. На самом деле Евсей Мошкин подписался не на семьсот, а на четыреста пятьдесят. Правда, деньги выложил все сразу – чистой монетой.

– Ну так как? – Ганичев взял карандаш. – Хорошо ли это? Член партии, а у попа в хвосте. Что народ скажет...

– Да оно, конечно...

– Пишу.

– Видишь, какое дело, товарищ Ганичев... – Илья опять посмотрел на жену. – Без молока живем. Охота бы какую животину заиметь. Хоть бы козу на первое время... Ребятишки...

– У всех ребятишки. А заем-то зачем, голова садова? Чтобы этим самым ребятишкам хорошую жизнь устроить. Так?

– Да так... – вздохнул Илья.

Сверху, с печи, четыре ребячьих глаза сверлили Лукашина. Марья перестала качать зыбку.

Ганичев старательно вывел цифру «1200», поставил птичку.

– На-ко, приложись.

Илья расписался. Девочка по его знаку, став на табуретку, сняла со шкафа берестяную плетенку и подала отцу.

Ганичев тем временем принялся вписывать его фамилию в другую ведомость, в ту, в которой записывался первый взнос наличными.

Илья присел к столу с другого края, раскрыл плетенку, вынул оттуда стопку купюр – рублями. Стопку он не стал пересчитывать. Деньги на заем у него, как понял Лукашин, были отложены заранее, наверно, еще со вчерашнего дня, после того как он пришел домой с партсобрания.

– Двести, – сказал Илья и положил стопку перед Ганичевым.

– Двести? Нет, друг ситной, не пойдет. Попы у нас все чистоганом вносят, а ты член партии.

– Да я понимаю... – Илья просящими глазами поглядел на Лукашина: не замолвишь ли, дескать, словечко?

Лукашин поднял глаза к потолку и с подчеркнутой заинтересованностью стал рассматривать железное кольцо, в которое был продет березовый с поперечными насечками оцеп. А что он мог сделать? Сказать Ганичеву: хватит? Но разве для этого он сюда пришел?

Оцеп судорожно подпрыгнул, подол старого сарафана на зыбке задрался, как если бы с пола вдруг поднялся ветер. Это Марья, сбрасывая с ноги петлю, рванула напоследок.

– Половину, – раздался твердый голос Ганичева.

– Не осилить, товарищ...

– Давай, не осилить! Вон ведь какой сейф завел. Зазря?

Ганичев кивнул на берестяную плетенку.

Илья покачал головой.

– Коммунист! Член партии. Ай-ай-ай! Попы у нас сознательнее...

Довод этот, как и раньше, оказался для Ильи решающим, и он уже больше не торговался.

Зыбка, которую качала теперь девочка, заходила резче. В задосках что-то грохнуло.

– Поздравляю, – сказал торжественным голосом Ганичев. – Молодец! Не уронил звания.

Лукашин обернулся и увидел, как Ганичев пожимает через стол руку Илье. Оба они стояли.

Лукашин тоже встал. Наконец-то кончилось испытание в этом доме. Но где ему было знать, что взбредет на ум Ганичеву в эту минуту? А Ганичев, ободренный успехом, решил сделать хозяйство Ильи Нетесова показательным по подписке.

– Хозяйка, – воскликнул он по-свойски, – а ты чего отстаешь? Давай тянись за мужиком.

Марья из задосок не отозвалась.

– Чего она у тебя? На ухо медведь наступил?

– Марья, – глухо позвал Илья, – тебя зовут.

Марья и на голос мужа не отозвалась.

Ганичев с видом человека, объявляющего выговор, сказал:

– Хорошо воспитал жену! А мы хотели тебя на красную доску. В газете напечатать...

Вот тут-то Марья и подала свой голос. В задосках вдруг забренчала посуда, со звоном что-то упало на пол, а потом выскочила оттуда и сама Марья.

– На! На! И про это напечатай! – И сунула Ганичеву какой-то серый землистый кусок, и по цвету, и по форме напоминающий стиральное мыло.

Ганичев – человек бывалый – не растерялся. С Марьей разговаривать не стал. Ответ потребовал с Ильи.

– Что это? – спросил он не своим, служебным голосом и указал глазами на кусок в своей руке.

– А-а, што это? Не знаешь, што это? А вот это то, што мы едим. Не едал такого хлебца? И ты, председатель, не едал? Постой-постой, я и тебя угощу! Марья вынесла из задосок еще такой же кусок. – На, поешь моего хлебца – тогда и заем с меня спрашивай...

– Марья... – сказал умоляющим голосом Илья.

– Што Марья? Неправду говорю?

– Мама, мама!.. – закричала девочка. – Надька плачет...

Ребенок в зыбке и в самом деле хныкал – и он выручил всех. Марья подошла к зыбке, а Ганичев стал собирать со стола бумаги – теперь можно было отступить, не уронив своего авторитета.

Все же последнее слово произнес Ганичев.

– Подумай, – кивнул он Марье из-под порога. – Лучину-то щепать можно и не головой.

И – Илье, когда они вышли на крыльцо:

– Распустил бабу! А что это у тебя за наглядная агитация в углу? Член партии. С

иконами в коммунизм собрался. Смотри! Гужи ей не подтянешь, мы тебе подтянем...

Илья не оправдывался. Да и что он мог сказать в свое оправдание? Иконы в избе действительно были.

4

Сосны росли за баней – толстые, суковатые, кора на комле в вершок, и их давно надо бы срубить. Об этом его постоянно просила Марья: "Как в лесу живем. Воют, стонут на каждую погоду". О соснах ему напоминали соседи: "Смотри, искра в сушь падет – вмиг сгоришь и нас спалишь".

Но Илья, обычно во всем уступчивый и податливый, тут не сдавался.

Он привык к этим соснам, привык к их шуму и говору. Друзей у него не было. Компании по пьяному делу он не водил – редко, разве что по большим праздникам, пропускал стопочку. А надо ведь и ему с кем-то отвести душу.

И вот когда у него выпадала свободная минутка, он шел к соснам. Сядет на скамеечку за баней, выкурит сигарку-две – и, смотришь, полегчает на сердце. Шумят сосны. Есть, значит, на земле большая жизнь. И пускай эта жизнь еще не дошла до ихнего Пекашина, пускай она только верховым ветром проходит над Пекашином, а все-таки есть она, есть...

Вечерело. Илья выкурил уже две сигарки подряд и стал сворачивать третью. И сосны не молчали сегодня – крепко, с остервенением раскачивал их сиверок. А обычного облегчения не наступало. И мыслями он по-прежнему был в своей избе. Что там сейчас? И как, как все это случилось?

После того как он проводил Лукашина и Ганичева, он минут пять бродил по заулку – чтобы успокоиться. И кажется, успокоился – растряс злость на Марью. В избу вошел с миром.

Витька и Толька рылись в его берестяной канцелярии – чего же ожидать от ребят? – и он даже пошутил:

– Что, сыны, отцовские бумаги проверяем? Домашний контроль?

Старший, Витька – нелюдимый парнишка, – при этих словах отскочил от стола в сторону, а младший упал и заплакал.

Илья помог ему встать на ноги – и что же увидел в его ручонке, зажатой в кулак? Медаль "За взятие Кенигсберга".

– А вот это уже нехорошо, сынок, – сказал он и погрозил ребятам пальцем.

Боевые награды у него хранились в плетенке на самом дне. Он вынул из плетенки бумаги, проверил. Ордена на месте, медаль "За оборону Москвы" тут, медаль "За победу над Германией" налицо... А где же медаль "За боевые заслуги"?

Илья перебрал бумаги так и эдак – нет медали.

– Ребята, вы взяли медаль?

Витька и Толька заревели, кинулись в задоски под защиту матери.

– Где, спрашиваю, медаль?

– Не ори, к дьяволу! – закричала Марья. Она шагнула из задосок, загородила собою ребят. В глазах ненависть, брови сведены – казалось, она только и ждала этого предлога, чтобы вцепиться в него. – Медаль! Ребенок ты – бляшками играть?

– Медаль – бляшка? Ты подумала?..

В сорок втором году под Вязьмой они трое суток штурмовали хутор. Трое суток – без сна, без еды, через минное поле. И их осталось от роты всего пять человек, когда они заняли хутор. И всех пятерых наградили медалями "За боевые заслуги" и приняли в партию. И он, оглохший, растерзанный, с обмороженными руками, не свалился замертво, как другие. Он стал писать письмо домой. "Здравствуй, дорогая жена! Здравствуйте, дети! Сегодня для меня и для всех нас открылась дорога жизни..."

Илья ударил Марью по щеке...

И самое ужасное, как ему казалось сейчас, было то, что он ударил Марью при детях,

при Вале...

Марью хвалить не за что. Не дай бог никому такой характер! И все поперек, все супротив. Он ей слово, а она ему десять. И насчет икон этих – сколько ей говорено! Надо тебе иконы, не можешь без них – шут с тобой, не препятствую. Повесь в задосках и молись – хоть лоб расшиби. А зачем позору-то его предавать? Кто он в конце концов в своем доме? Постоялец? Приживальщик?

Илья, обжигая губы, затаился в последний раз, затоптал сапогом окурки, вздохнул.

Много, много обид он мог бы предъявить своей Марье. И неряха она, каких поискать. Утром встанет, заткнет космы за плат и пошла растрепанная растрепой. Ворота рубахи не застегнут, груди болтаются, крест на грязном гайтане болтается – глаза бы не глядели. И с людьми живет, как упырь, – ни она людям, ни ей люди. А если он в правлении засидится – "А-а, делать тебе нечего! Не начитался своих газеток!.." А приготовить чего-нибудь поесть? Нет, они не едали ничего вкусного, даже когда в доме что было...

Да, все это так, вздохнул Илья, не за что хвалить Марью. Но, с другой стороны, кто бы связал с ним жизнь тогда, в тридцатом году, когда он был твердозаданцем, кандидатом в кулаки? А Марья связала. И разве она попрекнула его хоть раз за то, что страдает из-за него, из-за его отца? Это теперь-то он человек, голову несет прямо, а тогда...

В сельсовет пришли записываться – "Не дури, девка! Ты беднячка. Тебе дорога открыта..." – "Нет, – сказала Марья, – мужика своего не брошу. И хоть на Соловки, хоть в могилу, а с ним". Вот так тогда сказала Марья... А в тридцать третьем году, когда у них был голод и он отдавал концы... "Марья, Марья, побереги себя. Тебе ребенка кормить..." – "Нет, сперва я умру с ребенком, а потом ты..." И он, Илья, не умер, а умер ребенок...

То ли ветер в эту минуту сильнее обычного тряхнул околени в сенцах, то ли мерзлая земля хрустнула под ногами, но Илье показалось, что за углом бани кто-то есть.

– Валя... Валентина, ты?

Валя с опущенной головой подошла к отцу. Он притянул ее к себе. Ручонки холодные, сама вся дрожит – наверно, продрогла на ветру, выжидая, когда отец догадается позвать к себе.

Да, вот так: у кого сыновья отца держатся, а у него, наоборот, – дочка.

Илья иногда задумывался над этим. Почему так? Почему в кузнице у него всегда чужие ребятишки вертятся, а свои носа не покажут? Малые еще? Зато Валя – не было ни одного дня, чтобы не забежала к отцу. День у него так и делился: это до Вали, до двух часов дня, а это после Вали. И не надо часов. Дождь ли, снег ли, мороз ли, а Валя свое дело знает. Строчит по дорожке в кузню. И всегда одно и то же:

– Пятерка, папа!

Валя училась в пятом классе. Училась лучше всех. И самой, пожалуй, большой радостью для него с тех пор как он вернулся с войны, были родительские собрания в школе. Вот когда он расправлял крылья! Кто круглая отличница? Валя Нетесова. Кто лучшая общественница? Валя Нетесова. А кто в политике из детей смыслит? Опять же Валя Нетесова. Правда, в том, что Валя к политике вкус имеет, была кое-какая и его заслуга: подкован немножко у нее батько, "Краткий курс", если не считать четвертой главы, пропахал вдоль и поперек. Но что касается остальных наук – нет, тут Валя не в отца. И уж, конечно, не в мать. Марье грамота вовсе не далась. Да она ни во что и не ставила учение. Вечером, ежели они с Валею сядут к столу, у нее один разговор: "Опять карасин жгать? Делать вам нечего!" Вот из-за этого у них с Марьей тоже частенько получались неувязки. И сколько ей ни толкуй – не понимает, что по нынешним временам учение – основа жизни.

Илья, отогревая руки дочери в своих руках, спросил, смущенно заглядывая ей в глаза снизу:

– Мама что делает?

– Надьку кормит.

– Да... – вздохнул Илья.

Он подумал, что надо было бы объяснить Вале, почему он ударил мать. Но как сказать

об этом? Медаль не бляшка, не жестянка светлая, и Валя знает, как она ему досталась.

И вообще, если в семье кто интересовался его военной биографией, так это Валя.

"Папа, а эту медаль ты за что получил? А эту? А эту? А как тебя в партию принимали?"

И он рассказывал ей, рассказывал о каждой медали, и Валя ему говорила:

"Папа, ты герой". – "Нет, дочка, куда мне до героя. Вот у нас в роте был Петя Курочкин – это вот да, герой".

Но все равно ему лестно было, что так думает о нем дочка. И пускай это кому-то покажется смешно – похвала собственного ребенка, а он, ей-богу, хотел быть лучше в глазах дочери. И раз даже зимой, когда в районной газетке появилась заметка "Лесной фронт держит коммунист Нетесов" (крепко его похвалили за то, что он с фонарем еще затемно выходил в делянку), он послал эту газетку Вале – да не домой, а на школу. Пускай запомнит первое письмо от отца. На всю жизнь запомнит.

И вот сегодня все пошло всмятку. Что она о нем думает?

– Ты поела, дочка? – начал издали Илья.

Валя не ответила. Черные материнские глаза ее строго и внимательно смотрели на отца. Так она обычно смотрела на него по вечерам, когда он просил ее объяснить ему задачку.

Задачки за третий класс он решал свободно. И за четвертый класс многие решал. А вот на задачках пятого класса мозги его забуксовали. Не мог он одолеть всех этих премудростей с соединяющимися сосудами и встречными поездами, в которых разбиралась его дочка. И тогда Валя смотрела на него вот этим самым взглядом, пытливым и изучающим, словно она хотела понять, хитрит с ней отец или он и в самом деле такой глупый, что не понимает того, что понимает она, двенадцатилетняя девочка? И Илья терялся, робел под этим взглядом, говорил что-нибудь невпопад.

Так вышло у него и сейчас.

– Скоро тепло будет. Птички прилетят. – Сказал и поморщился: не то, не то говорит.

– Папа, а ты, когда с войны вернулся, говорил: "Года не пройдет – с молоком будем..."

– Ну, Валентина, ты, ей-богу, как маленькая. Это ведь матери у нас грамотей, на все плевала, а ты-то понимаешь, что к чему. Восстановительный период переживаем. Так?..

Ветер раскачивал сосновые лапы над головой. С лап сыпало рыжей хвоей, изредка падали к ногам старые шишки... А Вали рядом не было. Валя ушла. И даже не позвала его домой, как это делала раньше: "Пойдем, папа. Мама заругается..."

И ему стало ясно: забрала его ответ Валя, не приняла его объяснения.

О корове они не мечтали – где взять тысячи? А вот о козе говорили, и говорили часто. И Марья, например, даже предпочитала козу корове. Сена козе надо мало, молока с козы не берут, а удой не меньше, чем от иной коровенки, и два, и три литра в день.

Да, подумал Илья, в районной газетке его напечатают. Передовик по займу. А что он скажет Вале? Как растолковать ей, что отец у нее член партии и поступить иначе не мог?..

5

Поздно вечером на районной радиоперекличке были подведены первые итоги подписки на заем.

Результаты – ошеломляющие.

В пяти колхозах подписка была уже закончена полностью. В трех колхозах колхозники внесли сорок процентов наличными, а в "Луче социализма" еще больше – пятьдесят два процента.

Подрезов объявил благодарность передовикам, отчитал разгильдяев и головоотяпов, в число которых попал и Лукашин, и отдал распоряжение – уплату наличными довести до тридцати процентов.

Лукашин с убитым видом выслушал эту директиву. За день они с Ганичевым подписали двадцать пять человек, Озеров с Анфисой – девятнадцать, а всего по спискам Ганичева значилось семьдесят три колхозника, не считая тех, которые еще были на

лесозаготовках.

Выход был один – тот, который с самого начала предлагал Ганичев, – нажать на колхозников. И на завтра Лукашин уже не либеральничал – требовал.

С Петром Житовым, например, он вообще не стал разговаривать, а вызвал к себе его жену, посадил на табуретку и сказал: или она подпишется на контрольную цифру, или пускай сейчас же прощается со своей бухгалтерией.

И Олена подписалась.

Точно так же он надел на доярок. Собрал в боковой избе, в которой запаривали соломенную резку для коров, и не выпускал их оттуда до тех пор, пока каждая из них не расписалась в ведомости.

Вечером, в ожидании радиопереклички, они с Ганичевым подсчитали: подписка пошла в гору. Нажим помог. Но до плановой цифры все еще было далеко. Тогда Лукашин опять стал доказывать, что добрая треть этой суммы падает на мертвых душ, на тех, кто только на бумаге числится в колхозе.

– Это не довод, – сухо возразил Ганичев.

Споря и ругаясь, они просидели до полпервого ночи. Радиопереклички в этот вечер не было. А на завтра утром в Пекашино пришла районная газета.

Успешная реализация
2-го послевоенного займа в районе
Великому учителю и вождю народов...
С чувством большой радости и удовлетворения докладываем, что рабочие,
колхозники и служащие нашего района, вдохновленные...

Затем следовала сводка по колхозам.

Лукашин ни черта не понимал. Пекашинский колхоз в этой сводке значился на одиннадцатом месте, с реализацией займа на сто двенадцать с половиной процента. Как? Каким образом? Опечатка? А может, район задание снизил?

Ганичев взял у него районку и все четыре полоски просмотрел от корки до корки.

– Ясно, – сказал он не столько для Лукашина, сколько для себя. – Все ясно. Район на другую кампанию переключают. Смотри, вся третья страница посвящена севу.

– А как же с займом? – воскликнул Лукашин. – Откуда в сводке эти сто двенадцать с половиной процентов?

– Чудак человек! Будут нас с тобой ждать, когда мы последнюю бабу захохотаем. Скажи еще спасибо, что пока сухими вышли. Понял? А насчет денег не беспокойся. Колхоз заплатит.

– Что – колхоз? Заем за колхозников колхоз заплатит?

– А как ты думал? Колхозники-то чьи? Не колхозные? – Ганичев прочистил горло и закончил вдруг совсем просто: – Но-но! Веселее, Иван батькович. Такую войну спихнули...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1

На юге давно уже отшумела весна. И газеты были забиты рапортами – там, там закончили сев, там... И одного только, казалось Лукашину, не было в газетах куда девалась весна. Кто отвел ее от Пекашина?

Все, поразительно все напоминало ему сорок второй год: и ледяной сиверок, дующий сутками напролет, и рев голодной скотины по утрам, и мертвая, закаменевшая земля, из которой – хоть плачь – ни единой зеленой травинки не выдавишь.

– У вас всегда так? – спрашивал он у Анфисы.

– Это с весной-то? Да, пожалуй. Где-нибудь опять увязла в суземах. Ведь пока она до

нас доберется – сколько ей снегу растопить надо, сколько болот да рек перешагнуть.

А в другой раз сказала:

– Мне кабыть и весна-то нынче не та. Видно, и она за войну надорвалась...

И Лукашин, каждый день выходявший на деревенский угор, уже представлял себе нынешнюю весну в виде отоцалой, измотанной бабы, которая еле-еле продирается через кромешные чащи лесов.

2

Весну поторопили.

22 мая в районной газете появилась первая заметка о полевых работах, в трех колхозах начали пахать.

– А ты чего ждешь? – навалился на Лукашина по телефону Подрезов.

Лукашин стал объяснять: земля, дескать, еще не оттаяла, на бору на той неделе зайца белого видели, утка на воде – на гнездо еще не села.

– Ты что же, по старушечьим приметам жить собираешься? Имей в виду: сплав пойдет – какую песню запоешь? Поговори с женой. Она знает, чем это пахнет.

Пахло это выговором и даже строгачом – азбука районного руководства давно была известна Лукашину. Но нельзя же, черт побери, вбивать семена в мерзлую землю! Из-за чего – разве не из-за этого самого в сорок втором году он схватился с Лихачевым?

Тем не менее после разговора с Подрезовым Лукашин спустился под гору на поля, словно он надеялся, что команда первого секретаря что-то изменит в природе.

Но нет, ничего не изменила. Все так же отскакивает сапог от земли, все та же пара жалких чирят неприкаянно качается в ледяной озерине под полоем.

Новым, пожалуй, в этот день был только дым, который время от времени выплескивало от реки из-за увала. Кто же там в такую пору обосновался? Насчет дровишек промышляет?

Лукашин боковиной поля вышел к увалу и увидел рыбаков.

Трое мальчуганов. Двое, спиной к нему, сидят с удилищами у воды, мутной, вспененной вешницы, а третий – у огня. Босиком. И бутки возле не видно.

Дрожь пробрала Лукашина. Будто он сам, а не мальчик коченел на этой стуже с босыми ногами.

– Рановато вы, ребятки, забегали к реке. Какая сейчас еще рыба. Подождать надо.

Мальчики, те, что горбились над удилищами, обернулись:

– У нас Миша болен. Ему свежую рыбу надо. И Лукашин понял, чьи это ребята, – пряслинские.

– Как он сегодня? Не выходил на улицу?

– Не-е...

После поездки в район за телом Тимофея Лобанова Михаил Пряслин больше трех недель не вставал с постели: горячка. И он, Лукашин, без него как без рук. Стал вчера посылать женок за сеном на Нижнюю Синельгу – воза два оттуда не вывезено: "Что ты! Куда мы теперь попали. Потонем. Вот кабы Михаил..." А дрова взять. В правлении стужа, фельдшерица Тося в рукавицах больных принимает казалось бы, чего проще: запрягай лошадь да мотай на бор. Нет, и тут Михаила вспомнишь. Петр Житов раз съездил, а второй – руки кверху: "Больно накладны эти дрова. Не знаешь, на чем и ехать – не то на колесах, не то на копыльях". И так, куда ни сунься, за что ни возмись – везде не хватает работающих рук Михаила. Так ведь это колхоз, деревня целая, а что сказать об этих ребятах? Куда они без него?

Пробковые поплавки, еле заметные среди мусора и пены, лениво переползали с волны на волну.

Паренек, гревшийся у огня, в большой косматой ушанке из рыжей собачины Лукашин узнал зимнюю шапку Михаила, – бросил на костер две хворостины, лежавшие сбоку. Кверху полетели искры.

– Федька, – сказал сердито один из близнецов, – будет тебе сидеть-то. Собирай орехи.

Орехи, или земляные ягоды, черные, сладкие, величиной с горошину, к этой поре прорастали на кочках возле реки, и для ребят они были первым лакомством. Но эти ребята, понял Лукашин, думали не о себе – о больном брате.

Федька, однако, – это он сидел у огня, – не встал. Только переставил поближе к теплу босую ногу.

– Отослали бы вы его домой, – посоветовал Лукашин. – Замерзнет.

– Замерзнет он! Как бы не так. Лентяй он... Мы ведь попеременки. Он недавно в сапогах был.

Ребята заспорили, заругались.

3

В избе было темновато из-за картошки, рассыпанной по полу, – только посередине для прохода была оставлена узкая, в половицу, дорожка, обнесенная белыми полешками. Густо пахнет запаренной резкой. Подоконник единственного окошка, в котором выставлена зимняя рама, заставлен крынками и деревянными ящичками с рассадой капусты.

Тут к своей посевной готовятся, подумал Лукашин и спросил:

– Есть кто дома?

Из боковухи, за задосками, раздался глухой, отрывистый кашель.

Лукашин прошел туда и разом просветлел: Михаил сидел на койке, и не просто сидел, а строгал ножом тонкую рябинку.

– Давно бы так. А то лежишь, всех пугаешь. Чего это – не пойму мастеришь?

– А я, думаешь, понимаю? – Михаил неумело раздвинул от улыбки сухие, запекшиеся губы и вяло опустил рябинку к своим ногам, у которых лежало еще три таких же рябиновых черенка. – Нет, это у меня давно задумано: косовище к ребячьим коскам. Надо бы мне в этом году свою орду на пожню вывезти.

– Далеко заглядываешь, – сказал Лукашин. – А я вот не знаю, и весна-то будет ли.

– Будет. Куда девается. Спустим все семь потов, которые положено спускать за посевную.

– Ну, ну! Хорошо бы! – вдруг оживился Лукашин. Он подсел к Михаилу, достал банку с махоркой. Михаил, послынявив палец, потянулся к газете. Болезнь крепко вымотала его. Глаза провалились, лицо густо заросло черным волосом. Но особенно поразили Лукашина руки – худые, бледные – бледные, под цвет проросшей картошки, и на этих руках, как после бани, отчетливо стали видны многочисленные порезы и порубы.

Много поработано этими руками, подумал Лукашин. По рукам, он, пожалуй, не моложе меня. А вслух сказал:

– А тебе можно?

– Можно. Раз не подох, значит, можно. Надо привыкать к жизни.

– Ты зря, между прочим, из-за Тимофея убиваешься, – заговорил Лукашин. Тимофей был обречен.

– А кто его обрек?

– Кто? Война.

Михаил скривил губы:

– Война... Эдак рассуждать – все можно на войну свалить.

– А что ж – мало война натворила?

– Тимофея не война в лес загнала. Люди... Меня плен этот проклятый с панталыку сбил. Думаю: вот как, отец у меня за родину погиб, а ты, гад, всю войну в немецком тылу шкуру спасал... А может, он и в плен-то не по своей воле попал? Может, его раненого взяли? Может так быть? – Михаил требовательно округлил лихорадочно блестящие глаза.

– Может, – подтвердил Лукашин и тихо добавил: – Не казись, Михаил. Не ты один не разобрался с Тимофеем. Я тоже не разобрался.

Да, уж кто-кто, а он-то, Лукашин, должен был бы понимать, как легко было на этой войне попасть в плен. Да он и понимал это. Но только рассудком, а не сердцем. И, наверно, поэтому он так и не сумел разговориться с Тимофеем Лобановым. Правда, раз он сделал было попытку, спросил у Тимофея, как тот оказался в плену. "Не беспокойся, товарищ Лукашин. Те, кому положено знать, знают". Да, вот так ответил ему Тимофей, и после этого у Лукашина пропало всякое желание поближе сойтись с ним. А жаль, думал он потом, уже после смерти Тимофея. Мужик-то был, по всему виду, стоящий.

Михаил с упрямством человека, который во что бы то ни стало решил докопаться до истины, продолжал рассуждать вслух:

– Да, вот кто меня сбил окончательно. Шумилов, секретарь райкома...

– Секретарь райкома тоже человек. И он может ошибаться, – заметил Лукашин.

– Значит, я должен быть умнее секретаря? Так? Хэ, секретарь может ошибаться. А поди скажи ему об этом в то время, кода он ошибается.

– Ты, пожалуйста, успокойся. Тебе вредно так волноваться, – сказал Лукашин и подмигнул: – Твой, между прочим, бюллетень слишком дорого обходится колхозу.

Вышло это фальшиво, неловко, и, как показалось ему, Михаил сразу же понял, почему он заговорил так. По привычке, по осторожности, из вековой боязни острого и прямого разговора.

Михаил тяжело вздохнул, и темные веки, как ставни, упали на его потухшие глаза. За окошком со свистом, штопором завивая щепу, пронесся вихрь.

Лукашин сказал:

– У нас неприятность большая, Михаил. Вечор корова пала.

Сказал и ужасно разозлился на себя: что же ты о корове ему толкуешь, когда он о человеке знать хочет?

4

Первую свою тропу выздоравливающий Михаил проложил на кладбище.

Песчаные холмики недавно подправлены, обложены свежим дерном. Следы ребячьих босых ног возле могил.

Наверно, это Анисья со своими ребятами была, подумал Михаил.

Над головой низко, толчками пролетела белобокая сойка, затем покачалась на тонкой сосне-жердинке, возле которой был похоронен старый цыган, умерший еще до войны, и нырнула вниз – должно быть, увидела бутылочные осколки. Много там раньше валялось этого добра. Цыгане, проезжая через Пекашино, каждый раз справляли на могиле поминки.

Столб на могиле Трофима комлеватый, смоляной – долго простоит. А Тимофею и тут не повезло. Воткнули какой-то еловый кряжишко, от которого даже в печи не было бы ни жару, ни пару, наскоро оболванили топором, и хватит с тебя. Только кто-то из баб – Анисья или сестра Александра – немного приукрасил кряжик, повязав на него красную ленточку.

Да, подумал Михаил, эти Тимофею верили...

...Шел дождь, под полозьями шипел мокрый снег, а он вел в поводу лошадь и думал: кого он везет? Что за человек лежит там, на санях, прикрытый старой шинелишкой, которого он еще четыре дня назад гнал в лес?

Тимофея он возненавидел с первого взгляда.

И вот Тимофей умер. Не притворялся, не симулировал. Рак в брюхе носил. А ему не верили... Почему? Кто видел, как он попал в плен?

Всю дорогу Михаил вел лошадь в поводу, ни разу не оглянувшись назад. И в районной больнице тоже не посмотрел на Тимофея. Не мог. Без него укладывали тело на сани. А под Марьиными лугами пришлось взглянуть. Да не только взглянуть, а чуть ли не целоваться с покойником.

Зимник под Марьиными лугами он проскочил запросто, а подъехал к этому берегу – стоп: на три – на четыре сажени хлещет полая вода.

Илья Нетесов, поджидавший его на берегу, кричал:

– Назад, назад!

А куда назад? Лед трещит под ногами.

Он изо всей силы огрел коня – вперед, вперед! – и вскочил на сани. Холодная ледяная вода ударила по коленям.

– Михаил, Михаил! – опять услышал крик. – Тимофея, Тимофея держи!

Шинель с Тимофея сдернуло. Мертвое, желтое лицо полощет водой. И тогда он пал на Тимофея, ухватился руками за копылья и своим телом прижал покойника к саням...

Тихо, безветренно было на кладбище. Пригревало солнышко. Молодая смола искрилась на сосновых иглах, а ему было зябко. И в мозгу тяжело, как перегруженные зерном жернова, ворочались непривычные мысли.

Ах, жизнь, жизнь... Неужели и дальше так будет? Неужели нельзя иначе?

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

1

Егорша подъехал к Пекашину тихо, крадучись, зато, когда выскочил на деревенскую улицу, дал жизни. Мотоцикл заревел как бешеный, вихрем взметнулась вечерняя пыль на дороге. Из домов выскакивали полоротые бабы, ребяшня гналась сзади. В общем, все вышло так, как он задумал.

Под окошками у Пряслиных он сделал крутой разворот, заглушил мотор.

– Здорово! – Егорша пинком распахнул воротца, подошел к Михаилу, укладывающему мешок с семенами на телегу, и клейко, с размаху всадил свою руку в руку друга. – На ногах? А мне говорили: Мишка на тот свет собрался...

К мотоциклу подбежали запыхавшиеся ребята, сгрудились, заспорили, толкая друг друга. Егорша повел в их сторону все еще возбужденным глазом:

– Ничего коняшка? Трофейная. Двадцать километров просадил за час. Это по нашим-то, расейским дорогам! Хочешь, прокачу?

– Да нет, в другой раз. Участок пахать надо. – Михаил кивнул на запряженную лошадь.

– Но, но! Это не пойдет! Сколько не виделся! – Егорша звонко шлепнул ладонью по раздутому голенищу резинового сапога – он работал на сплаве. За голенищем забулькало. – Чуешь, какая влага? Давай отправляй свою колымагу на конюшню.

– Нельзя. Ежели я сегодня не вспашу поле, когда мне лошадь достанется?

– Лошадь, лошадь... – Егорша презрительно, не разжимая зубов, цыкнул слюной. – Сколько я тебе говорил, жук навозный: подавайся в леспромхоз. А ты как бревно. Спустили на воду, куда поволокло водой, туда и плывешь. Ну и плыви, хрен с тобой. Знаешь, сколько я за эту конягу выложил? Пять косеньких. Пять тысяч, значит... А ты чего в своем колхозе нарыл?

Михаил мрачно сдвинул брови, и Егорша сразу же сбавил тон:

– Ладно... ладно... Мне-то что. Ройся! – повернул к воротцам, затем живо обернулся: – Читал газетку за десятое число? Нет?

– Нет. А что?

– Что, что! Вот уж тюха-матюха. Земля перевернется, а ты и знать не будешь. – Егорша вынул из-за пазухи матерчатой робы сложенную четырехугольником газету, с загадочной улыбкой протянул приятелю. – Страница четвертая. Почитай. Весь район говорит.

С задворок в это время, выгибаясь под коромыслом с полнехонькими ведрами воды, подошла Лизка.

Михаил сунул газету в карман пиджака, сел на телегу, сказал сестре:

– Приходи на поле. Ключья поколотишь.

– Чего это он как чокнутый? – спросил Егорша, когда телега выехала из заулка.

– Чего-чего... – огрызнулась Лизка. – Поболей с егово, не то еще с тобой будет.
Егорша, нацелив на нее синие щелки, звонко поиграл губами:
– Ты ничего... Не наклепала ему?
– Вот еще! – Лизка вспыхнула до корней волос. – Только об этом у меня и думушки. –
И пошла, расплескивая воду по заулку. Толстая, туго заплетенная коса с красной ленточкой светлым ручьем стекала по ее напружиненной спине.
Егорша – в два прыжка – догнал ее, схватил за косу.
От неожиданности Лизка едва не уронила ведра, но справилась – поставила на землю.
– Одичал? Опять за свое?
– Ладно, ладно, – Егорша примиряюще поднял руку. – Приходи сегодня в кино. Я билет куплю. Придешь?
Лизка медленно подняла на него полные удивления глаза.
– Ну чего уставилась? Придешь?
– Зачем мне твои билеты? Что я – сама не могу купить?
– Эка ты... Тебя парень приглашает. Приходи. А то могу и на своем конике подъехать.
Видала, какой у меня теперь конь?
Хлопая резиновыми голенищами, Егорша выбежал за калитку, шуганул ребят, столпившихся у изгороди, там что-то застреляло, затрещало, выбрасывая синий дым, и вдруг Лизка увидела, как Егорша, будто по воздуху, перенесся к амбару.
Она выбежала из заулка. По дороге длиннющим мохнатым облаком клубилась пыль. А Егорши не было. Егорша исчез.
– Рябят, на чем это он улетел?
– На мотоцикле!
Светлый вечер стоял над Пекашином, и долго в звонкой тиши его ревела, удаляясь, неведомая Лизке машина.
Вот лешак, думала она, прислушиваясь к этому реву, опять чего-то придумал. Не может без выдумок...

2

– Чего все туда смотришь? В кино хочешь?
– Да нет, с чего, – ответила Лизка, отворачиваясь от подъехавшего брата.
Железный лемех, резко чиркнув по камню, с мягким шипением вошел в землю. Михаил повел новую борозду. По полю белесыми прядями расплзался дымок от костра, разложенного под ивовыми кустами на замечке. Причитала кукушка в лесу за болотом – жалобно, по-вдови. И еще был слышен перестук движка у клуба. И как ни хотела бы Лизка не обращать на него внимания, не могла. Слушала. Слушала, разрубая дерноватые клочья копачом, слушала, приподняв голову и настороженно поглядывая в сторону брата.
Ей удивительно, до озноба непривычно было то, что случилось какой-нибудь час назад. Ее первый раз приглашал парень в кино. И сейчас, прислушиваясь к перестуку движка, она мысленно представляла себе, как бы она вошла в клуб с Егоршей. "Смотрите-ко, смотрите! Лизка-то – с Егоршей!" И ей было бы в чем зайти в клуб. И ботинки есть, и платье новое есть – сама в лесу справила, – и платок желтый с зелеными листьями по полю. Но она не посмела отпроситься у брата. В другое бы время проще простого: сбегаю на часик в клуб, ладно? А сегодня язык не поворачивается. Вдруг да он, Михаил, догадается?
С Егоршей они не виделись с той самой поры, когда он обманом затащил ее в баню. Ни разу после того не показался на Ручьях. И она уже стала забывать про тот случай в бане. А он вот не забыл, помнит. "Не наклепала ли Михаилу?" И может, он оттого только и не показывался на Ручьях, подумала сейчас Лизка, что стыдно перед ней было?
Опять подъехал Михаил:
– Кончай. Я лошадь кормить буду.
– А мне чего? Еще трясти клочья?

– Иди домой. Хватит.

Лизка не заставила себя уговаривать. Положила копач к телеге, отряхнулась от пыли и утоптанной тропочкой, вдоль поля, зачастила к деревне.

Движок у клуба по-прежнему распевал свою трескучую песню в ночи.

Она оглянулась назад – смотрит ли на нее брат, догадывается ли, куда она спешит, – и перешла на бег.

Нет, она никому, даже брату родному, не рассказала про то, что произошло там, в баньке на Ручьях. Хватило ума. Дурил Егорша – вот и все. Где она видала таких парней, которые бы не протягивали лапы к девкам?

Кукушку за болотом совсем сморило. Вяло, с позевотой раскрывала рот. Туман закурился на болоте.

А как же она в клуб войдет? – вдруг подумала Лизка. Тот зубоскал невесть что еще подумает. "А-а, – скажет, – прибежала. Только поманил пальцем – и как собачка прибежала..."

Она пошла медленнее, еще медленнее. Остановилась.

На поле у них все еще дымился навоз. Ребята с матерью весь вечер пережигали навозные кучи да разбрасывали по полю, а потом ребята отпросились у Михаила в кино. И вот она тоже забила себе голову этим кино. Как маленькая. Не видала кина...

Господи, вдруг с ужасом, со стороны подумала о себе Лизка. Совсем образ человеческий потеряла. Брат, больной, надрывается, пашет, а ты, кобыла здорovuющая, в кино полетела. Да что это с тобой? Как ты и подумать-то об этом посмела!

Про то, что Михаил тяжело болен, Лизка узнала на Сотюге, на окатке леса. Чудный денек тогда выдался. Солнышко. Травка молодая распушилась. И люди радуются, как дети: дождались тепла, домой скоро.

И вот в этот-то радостный день и пала черная весть про Михаила. Кузьма Кузьмич принес: "Как брат, девка? Не миновал еще кризис?"

Она только глазами хлоп. Какой кризис? И слова-то такого не слыхала. А потом, как узнала, что это такое, все бросила и – домой.

Она бежала лесной дорогой – солнышко играет, березы ластятся, птицы поют, а у нее крик в горле: где брат? Что с братом? И, конечно, про все позабыла. Про платок забыла – так, простоволосая, в одном платье, и прибежала домой. С топором в руках.

А дома, когда в заулочек свой вбежала, перепугалась еще пуще. Все настежь: ворота настежь, двери в избу настежь. И никого. Ни единой души. Ни ребят, ни матери. И она... Бог знает, что случилось бы с ней тогда, да хорошо, в ту минуту за амбаром раздался Татьянкин голос.

Там, за амбаром, она и нашла брата. Сидит на угорышке, сгорбился, на подгорье смотрит, а сам в зимней шапке, в фуфайке. Да Михаил ли это?.. И вот тогда она разревелась. Брат успокаивает. Татьяна успокаивает, а она обхватила его обеими руками и ничего не может поделаться с собой...

3

Михаил не из-за коня, как сказал сестре, сделал передышку. Конь хоть и целый день выходил в колхозной борозде, а плуг таскал неплохо. Он сделал передышку из-за себя. Тяжело. Ноги дрожат в коленях. А на заворотах чуть приподнял плуг – и потом умылся.

Тихо вокруг. За кустами хрустит, фыркает конь, с жадностью выстригая молодую травку. Тощий комарик, видимо еще ни разу в этом году не отведавший живой крови, надоедливо вьется возле лица, а над головой белая ночь. Над головой далекие, чуть видимые звезды.

Он лежал на зеленом замечке и думал о том, что его болезнь, пожалуй, слишком дорого обойдется семье. На посевной он не работал – самое малое трудодней шестьдесят потерял. Но трудодни еще можно наверстать, трудодни дело наживное. А вот то, что он

участок свой загубил, это пострашнее всего. Да, загубил. Кой черт уродится, ежели уже трава выросла, а поле еще не пахано!

Степан Андреянович предлагал свои услуги ("Одолею, Миша, помаленьку"), а он заупрямился: нет и нет. Сам пахать буду.

И вот ведь как все перевито, перекручено в жизни: ежели у них, у Пряслиных, ничего не уродится, то и старухам его подшефным куковать. С войны еще идет порядок: всех старух престарелых, всех калек и увечных должны обсевать здоровые. Михаилу по этому порядку досталось пять старух. И вот две старухи смекнули, сумели запахать свои участки без него, а три старушонки: соседка Семеновна, Дуня Савкина и Матвеевна – те решили сохранить ему верность. Пришли на днях: "Мы уж, Миша, никого не зовем. Тебя будем ждать".

Михаил приподнялся на локоть, посмотрел на деревню. Ах, дуры бестолковые! Ведь, наверно, и сейчас ждут...

Он встал, заставил себя встать.

Его познабливало. Кружилась голова. И – что особенно удивило его – зябли руки. А ведь он этими руками на тридцатиградусном морозе мог работать без рукавиц. Болезнь вторым заходом возвращается?

Он решил помахать топором – самое верное средство разогреться, тем более что для починки изгороди возле дома (а она опять, дьявол ее возьми, обвалилась) нужны были свежие вицы и новые колья. Когда их и нарубить, как не сейчас? Не гонять же специально лошадь.

Он подошел к телеге и тут увидел на телеге измятую, свернутую трубкой газету, которая, по всему виду, выпала из кармана его фуфайки. Он вспомнил, с каким воодушевлением говорил о газете Егорша, и озябшими руками развернул ее.

На четвертой странице, в левом углу, сверху, красным карандашом была отчеркнута статья —

«Наш рабочий парень»

С портретом. Должно быть, того самого парня, о котором написано в статье.

Что за чертовщина? – удивился Михаил, всматриваясь в портрет. Да ведь это Егорша! Он. Его, Егорши, прищуренный глаз целится в него с газеты. Ну и ну!..

Он присел на телегу.

"Кто не знает на Пинеге этого молодого прославленного лесоруба с задорными синими глазами и золотым есенинским чубом!"

Здорово! На всю Пинегу прославленный. И золотой чуб не забыли.

"Отличный товарищ и друг, первый заводила и весельчак, вдохновенный мастер леса и гармонист..."

Да, расписали. Хоть на божницу ставь.

"Георгий Суханов с детства полюбил лес. Еще будучи ребенком, он не мог равнодушно смотреть на загубленное дерево, а – что греха таить – подчас у нас еще встречаются люди, которые не умеют попридержать топор в руках. Не в пример этим доморощенным митрофанушкам маленький Гоша понимал, что лес – это главное богатство Севера..."

Дьявола он понимал!

"Война с фашистской Германией застала Георгия на школьной скамье. Отца призвали в армию. На всю жизнь запомнилось прощание с любимым отцом.

– Ну, сынок, – сказал старый мастер леса, вручая свой стахановский топор сыну, – не подкачай! Будем крушить кровавого Гитлера с двух сторон: я штыком, а ты топором.

И юный патриот на пятнадцатом году пошел в лес. Ему хотелось учиться, овладевать теми знаниями, которые выработало человечество, но в этот грозный для Родины час..."

Брехня! Все брехня. Если бы спросили его, Михаила, он бы порассказал, как они с этим юным патриотом отправлялись на лесозаготовки... А когда это отец успел вручить ему свой стахановский топор? Отец-то у него на сплаве, на Усть-Пинеге был, когда война зачалась. Оттуда, со сплава, его и на войну взяли.

Дальше брехни было еще больше. Георгий Суханов – образец нового человека... В Георгии Суханове зримо проглядывают черты коммунистической сознательности... Георгий Суханов – молодая поросль рабочего класса...

Михаил скомкал газету.

Печатному слову он верил всегда, с малых лет. Печатное слово – это сама правда. Иначе и быть не может. А тут брехня на брехне, все шиворот-навыворот. Егорша передовой... Егорша новый... С Егорши пример надо брать... Эх! А заставить бы этого передового да нового в колхозе вкалывать. Да задаром. Ну-ко, что бы запел этот новый да передовой?

Но ладно. Согласен. Пускай Егорша новый да передовой. Пускай про него в газетах печатают. Может, гад, работать, особенно когда начальство смотрит. Тут разорвется, а никому не уступит. Но вот что ему, Михаилу, поперек горла Егоршина спесь. Ты, мол, жук навозный, червь. Ты, дескать, рылом в землю зарылся, света белого не видишь, а я где, засучивши рукава? На передовой линии фундамент закладываю И-эх! – кабы это был только Егоршин треп. А то ведь не один Егорша так думает.

Взять хотя бы вот этот самый приусадебный участок. Ведь послушать Егоршу и кое-кого другого, так из-за чего это он, Михаил, и ему подобные за свои сотки держатся? А из-за того, что не могут без своей навозной кучи. Такая, дескать, у них мелкая стихия. И покуда их сознательность отстаёт, приходится терпеть эту позорную коросту на нашей колхозной земле...

Сволочи! Да провались он к дьяволу, этот приусадебный участок! Натё! Возьмите ваши сотки! На колени от радости встану – только дайте немного на трудовень...

Михаил оглянулся, услышав шорох сухих листьев. Лизка. Идет по промежку и руками размахивает: радость какая-то.

– Чего вернулась?

– А, ладно. Нахожусь еще по кинам. Надо маленько и совесть знать. Верно?

– Дура! – вдруг взбеленился Михаил. – Заездят тебя с этой совестью.

4

Лизка – убей бог – ничего не понимала. Что случилось с братом? Почему брат вдруг ни с того ни с сего наорал на нее? А она-то думала, обрадуется: "Молодец сестра! Вдвоем скорее управимся". Может, газета его расстроила? Она видела, выходя из кустов, как он читал газету.

Лизка взяла с телеги скомканную, отсыревшую газету, подержала в руке и положила обратно. Нет уж, раньше никогда в газеты не заглядывала, а сейчас и подавно смешно. Увидит еще кто-нибудь: за газетой девка сидит – пойдет слава: "А, скажут, нету другого дела на поле, только газетки и читать".

– Я вицы рубить пойду! – крикнула Лизка Михаилу, выводившему коня на поле.

Она не сердилась на брата. Радость и счастье ходили по ихнему полю. И красота.

Никогда, никогда она не видела еще такой красоты. Сперва было все серебряное: и кусты в тяжелой холодной росе, и трава на замечке, примятая ее сапогами, и мокрое жало

топора, которым она подрубала ивняк, отливало серебром. А потом все это вдруг вспыхнуло, засверкало радужными огнями. И запели птицы вокруг, и затрубили журавли на озимях, за Акимовой навиной, там, где она боронила вечер, и далекая кукушка позабыла про свой вдовый плач. Весело, по-утреннему заиграла.

За рекой всходило солнце. И Лизка сперва смотрела на солнце из мокрых, сверкающих кустов, а потом выбежала на поле, привстала на носки и радостно, по-детски протянула к нему руки.

Давай, давай, красное, разгорайся! Приводи скорее новый день.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Июнь перевалил за вторую декаду, на Кубани пшеница вымахала – даже газету читая, слышишь, как колос шумит. А у них что? Еле-еле обозначились всходы. Жалкие, рахитичные. А с травой на лугах под горой и того хуже: зажали холода. Вороне негде укрыться.

И Лукашин, с тоской поглядывая на голые поля и наволоки, уже начал было думать: все. Без хлеба и без сена останемся. Никакая сила теперь не выправит то, что упущено из-за этих затянувшихся холодов.

Но есть, есть, оказывается, такая сила на Севере: белые ночи. Те самые белые ночи, от которых еще и сейчас томился он. На них-то, на белых ночах, оказывается, и держится Север.

А было так: с вечера над деревней прошумел дружный, с молнией и громом ливень, а наутро, куда ни глянь, – зеленое пламя бьет из супесей и подзолов. И все это за одну ночь.

– Можно, можно и у нас жить, – сказал Лукашину Степан Андреянович. – Лето у нас короткое, да зато бог белые ночи дал. Вот растение и гонит в рост круглые сутки.

И верно, северное лето с этого времени заработало без передышки. Оно на всех парах устремилось догонять южное.

И быстро на зеленых конях подкатила к Пекашину сенокосная страда знойная, потная, в туче овода и комара.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

1

У Пряслиных такого еще не бывало.

Ворота настезь, двери в избу настезь. Крыльцо стонет под ногами. Кто тащит косы, обернутые в мешковину, кто – косовища и грабли, кто – корзину с посудой и харчами, кто бренчит чайником и котелками, черными, насквозь продымленными еще в прошлогодние страды...

– Ушат-то, ушат-то не забудьте! – кричит, выбежав на крыльцо, Анна. Может, грибы пойдут, пособираете сколько.

– А удилища нам взять? – спрашивают Петька и Гришка.

– Миша, Миша! – кричит Лизка. – А соль-то мы не позабыли?

И Михаил, чертыхаясь, снова и снова перевязывает воз.

Жара. Оводы. Конь бьет ногами – оглобли трещат. Орет, в три ручья заливается Танюха – "на пожню-ю-ю хочу", и люди, люди, ползаулка людей. Свои, соседка Семеновна, старушонки. Этим, в их годы, на что бы ни глядеть, лишь бы скоротать день. А бабы – Лукерья, Паладья, Таля Евдокимовых?.. Они-то зачем приперлись? Неужели не видали, как на сенокос выезжают?

Затем еще одна делегатка – Анфиса Петровна. Эта прискакала верхом, как на пожар.

– Ох, все думала – опоздаю. С поскотины коня без передыха гнала.

А зачем, за каким, спрашивается, дьяволом гнала? Ей ли сейчас забаву в чужой бригаде искать, когда свои люди еще не выехали на пожню?

Наконец Михаил увязал воз. Проверил еще раз завертки у саней – на телеге на Среднюю Синельгу не проедешь: грязища.

– Ну, кто на коня ползет?

Ребята подскочили – все трое вдруг: каждому хочется во главу поезда.

– Да уж малой пускай, – подсказала мать. Эта своего любимчика не забывает.

Михаил подхватил Федюху под мышки, забросил на коня.

Тот, сверкая своими рысьими глазищами, как с трона посмотрел на братьев.

– Ничего, – подбодрил двойнят Михаил. – Вы большие. Вы со мной.

И вот – золотые ребята! – уже улыбаются. Не хотят портить праздник ни себе, ни другим.

А праздник, если вообще можно так назвать выезд на дальний сенокос, достался им нелегко.

Первое условие, которое им было поставлено, – без троек закончить год. Затем – сушь. Разорваться, а засушить рыбешки на страду.

Ну ребята и старались. Утром глаза продерешь, а они уже у окошка, уроки свои долбят. А из школы прибежали – куда? На улицу? Нет, к реке. И сидят, сидят за удилицем – хоть дождь, хоть ветер. И если бы не они, не их старание, ничего бы из его затеи с семейным выездом на пожню не вышло: не с чем ехать.

– Ну, ничего не забыли? – на всякий случай еще раз спросил Михаил.

– Да нет, кабыть, – ответила мать. Михаил поднял руку: трогай. И тут к нему подошла Анфиса Петровна:

– А помнишь, Михаил, я однажды тебе говорила: придет, говорю, такое время – бригадой поедут Пряслины на сенокос? Не помнишь? – От волнения у Анфисы Петровны побелели щеки, росой окропились черные глаза.

Да, было такое, было. В сорок втором году Анфиса Петровна на его глазах накрыла мать с зерном на колхозном току, и вот поздно вечером он пришел к Анфисе Петровне: что делать? Как жить? Отец на фронте погиб, а мать такая-разэдакая – на колхозное зерно руку подняла. Глупый, зеленый он тогда был. Не подумал, что мать ради него да ради голодных ребятешек хотела взять какую-то горстку зерна.

И вот Анфиса Петровна его утешала и разговаривала, наверно, часа два, объясняла, как устроена жизнь, а потом насчет этой самой бригады стала говорить: дескать, выше голову, три к носу, все будет хорошо, вот увидишь, и мы еще доживем до той поры, когда от Пряслиных целая бригада на сенокос поедет.

Так вот она зачем без передыху скакала от поскотины, подумал Михаил. Чтобы увидеть, как он со своими ребятами выезжает на пожню. И Лукерья, и Паладя, и Таля – эти, наверно, тоже прибежали не ради того, чтобы убить времечко...

Горячая волна подступила к его горлу. Каким-то не своим, писклявым голосом он крикнул: "Трогай!" – и вдруг сам, как будто мало у него помощников, побежал открывать воротца.

2

У Терехина поля, там, где дорога ныряет в густой березняк, Лизка, вздохнув, сказала:

– Помашите в последний раз. Дальше сузем начинается – не увидите больше деревни.

И Петька, и Гришка, уже сколько раз оглядывавшиеся назад и махавшие рукой, оглянулись снова.

Мать с Татьянкой – далеко видать в ясную погоду от Терехина поля – все еще стояли у колодца (Татьяна на изгороди). И там же был еще один человек – Анфиса Петровна. Михаил узнал ее по белому платку.

Этот белый платок памятен всем в деревне еще с войны. Бывало, как определить, есть

ли председатель на поле? А по платку. Нет такого другого платка в Пекашине. Ярче снега горит. То ли оттого, что с мылом стирал, тогда как другие нажимали на щелок, то ли в чем другом секрет.

И, завидев этот знакомый, сверкающий своей белизной платок, Михаил опять удивился Анфисе Петровне. Это сколько же годов она помнила? – спросил он себя. С осени сорок второго. Шесть лет. Да, он об этом забыл, а она не забыла. Она помнила. Да только ли помнила? Лизка права была тогда, после собрания, на котором Анфису Петровну сняли с председателей: кабы не она, Анфиса Петровна, еще неизвестно, что было бы с ихней семьей.

А нынешний выезд на сенокос? Кому они обязаны? Да все ей же, Анфисе Петровне. Кабы она слово на правлении не замолвила, разве бы он шагал сейчас со своей оравой? Лукашин, когда стали утверждать сенокосные группы, – ни в какую. Поедешь за групповода на Верхнюю Синельгу. И бабы – черт их подери: как мы без Михаила? С войны косы наставляет. Потом Коркин, уполномоченный райкома, еще дров подбросил: нельзя своим закутом. На единоличность заворот, а мы коммунизм строим.

И вот кабы не Анфиса Петровна – ставь крест на всей затее с сенокосом. А Анфиса Петровна всем по серьге выдала. И перво-наперво Коркину, который урон коммунизму от ихней семьи увидел: это какая же единоличность? Сам он будет исть сено, которое наставит, или колхозные коровы? А вы дак совсем безголовые стали, сказала она бабам. Надо ему когда-нибудь ребят приучать к работе? Надо. А разве он может ехать на Верхнюю Синельгу со своей мошкаррой? Вы же первые подымете крик, когда у вас ребяташки малые начнут путаться под ногами. Разве я вас не знаю?

Вот так сказала Анфиса Петровна на правлении. И трудно было что-нибудь возразить против этого. Согласились люди.

3

Жилье ребятам не понравилось. Избушка старая, заросла ремзой да крапивой только одна крыша в зеленых заплатах мха проглядывает. К дверям не подступишься – ольшаник. И темно. Плотным мохнатым тыном поднимается ельник за избушкой.

От гнуса гул и вой стоял в воздухе. Тут из-за того, что солнышко не заглядывает в этот угол, обычного распорядка не существовало: днем овод-красик, а к вечеру, после того как спадает жара, – комары, мошкара, слепни. Нет, тут вся эта нечисть шпарила без передыху, круглые сутки.

– Вот дак ставровка, – сказала Лизка, все еще с изумлением оглядываясь по сторонам. – Никогда бы не подумала, что в таком месте избу ставят. Что уж Степан Андреевич? Умен, умен, а тут сображенья не хватило. Вон бы где избу надо ставить, – по-своему рассудила Лизка и указала на веселый, ромашковый угорышек у Синельги. – Там и вода рядом, и глазу есть где отдохнуть.

Некогда да и незачем было объяснять Лизке, а заодно и ребятам, почему Степан Андреевич поставил избу в стороне, а не на пожне. Ведь ежели сказать, что раньше каждой саженью пожни дорожили, не поверят. Потому что сейчас не только богом проклятые суземные ручьевини – русь, то есть луга вокруг дома, частенько под снег уходит.

Первым делом Михаил стал распрягать коня. Всем досталось за дорогу – шесть верст сузема пятнадцати и двадцати обычных стоят, а конь просто на глазах сел. Они, люди, все-таки выбирают: тут по валежинке, там бровкой, здесь по кочкарнику скок, а лошадь все серединой, ни одной грязи не минует, да еще с санями, с поклажей.

– Ну, чего стоите? – прикрикнул Михаил на приунывших ребят. – На курорт приехали? – Он вытащил из натопорни топор, подал двойнятам: – Дуйте в лес за дровами!

Началась работа по устройству жилья. Вдвоем с Лизкой они быстро обкосили вокруг избы, которая, судя по всему, и по первости не отличалась удобствами: вместо рам – черные продымленные ставешки – задвижки, вместо дверей в сенцах жердяные засовы, на которые в дождь навешиваются пластины бересты. Крыша тоже не из досок, а из жердняка,

засланного в несколько рядов берестой, теперь очень обветшавшей, искрошившейся, густо проросшей зеленым мхом. В общем, Степан Андреевич возводил жилье по правилу: лишь бы над головой не капало да было где от гнуса уберечься. И старик, наверно, и сейчас не стал бы вырубать вокруг кусты. Зачем время тратить? Обойдется и так. А Михаил вырубил – большие окна проделал в кустарнике над ручьем слева от избы и начисто срезал ольшаник вдоль пригорка, так, чтобы ничто не закрывало тот, обрывистый, из красной глины берег и главное – чтобы ветерок заглядывал в их угол и выдувал гнуса.

Тем временем с дровами пришли ребята и наперебой стали рассказывать о том, что недалеко от избы по дороге ходит корова с теленочком – бо-о-ль-ша-а-я...

Михаил рассмеялся:

– Дак чего же вы не гнали ее сюда? Вот бы и с молоком зажили.

– А мы самой-то коровы не видели. Мы только следы в грязи видели. Бо-о-ль-ши-и-е! А у теленочка копытца маленькие-маленькие, вот такие.

– Дуралье! У этой коровы знаете какие копыта? У волка череп трещит, если долбанет.

– Лосиха?

– А то. Тут зверья всякого. Подождите, завтра начнем косить – еще не то увидите. Сам Михаил Иванович Топтыгин притопает. Он любит новеньких.

– Давай дак не пугай их, – сказала Лизка, только что на четвереньках выползшая из дымной избы. Слезы текли по ее скуластому лицу.

Пока брат обрубал вокруг кустарник, она выгрела из избы старую сенную подстилку, потом затопила каменку. И вот теперь вся избушка была окутана густым белым дымом. Дым валил из дымника – специального проруба в стене под крышей, дым шел из дверей, из окошек, из пазов – Степан Андреевич не прошил стены, пожалел лишних полдня.

4

Солнце было еще высоконько, но дневная жара уже спала и овод-красик подался от избы к речке. Там, у речки, поблескивая на солнце мокрыми от пота боками, бродил, обмахиваясь длинным хвостом, Лысан, их гнедой мерин, и много-много резвилось стрекоз.

Михаил не стал бы утверждать, что слышит треск их сверкающих крылышек, но порог слева, который еще недавно заглушал дневной шум, уже лопотал. Пока по-щеньячи – тьяв-тяв, а замитингует он на всю окрестность часа через три, когда сядет солнышко.

Эх, подумал Михаил, хорошо бы сейчас заглянуть в ближайшие пороги! Раньше он так и делал: чуть только подъехал к избе – за удилице. А сейчас не один и не вдвоем с матерью. Надо тому косу наладить, другому, третьему – дай бог успеть до заката. А крыша? Долго ли проживешь под этим берестяным старьем? До первого дождя.

Вздыхнув, он взялся за топор (первым делом надо надрать бересты для крыши, пока еще нет росы) и вдруг не выдержал – схватил рябинку, которую срезал еще давеча, когда вырубал кустарник, намотал на рябинку леску и – к речке.

В первых двух порогах забросы ничего не дали. Зато на Митькиной яме, только он коснулся червяком воды, так рвануло, что удилице едва не вылетело у него из рук. Не ожидал. Так, для очистки совести забросил. Потому что в жару какой на яме хариус? В жару хариус стоит в пороге, вошь с себя смывает.

Михаил быстро сменил червяка и сейчас уже с большой осторожностью, прижимаясь к сухому замшелому стволу черемшины, закинул снова. Никого. Он так, он эдак: вприпляс по воде, низом по камёшнику, кругами-петлями – пропала рыбина. Попробовал на овода, на кобылку – тот же результат.

Петька и Гришка – сами рыбаки – зашептали сзади из травы:

– Может, он ушел?

– Может, – сказал тихо Михаил, сделал шаг вперед и тотчас же откинул туловище назад.

Сколько раз он протаскивал червяка вдоль палки, лежащей на дне в тени круглого

валуна, густо забрызганного сверху белым птичьим пометом, и еще все боялся, как бы не зацепить ее, а она вон какая палка – с плавниками. Ибо как раз в ту самую секунду, когда он сделал шаг вперед, из-за прибрежного ивняка брызнул красный луч вечернего солнца и палка у валуна блеснула золотом.

Вот с этой самой минуты и началась по сути дела рыбалка. Все в сторону: червяка, овода, кобылку. Только голый крючок да твоя сноровка.

Величайшее терпение и выдержка требуются от рыбака, решившего взять рыбину зацепом. Сперва надо закинуть крючок в сторону, да так, чтобы не вспугнуть всплеском хариуса (осторожная, ух, осторожная рыба!). Затем крючок надо подвести из-под низа к брюху или к голове рыбины (лучше к голове, потому что большого хариуса за брюхо не вытащишь). Затем – подсек, вернее, ловкий рывок и крючок в теле рыбины.

Как будто несложно, особенно если весь этот процесс разложить по частям, а на деле немногим, очень немногим удастся поднять рыбину зацепом. Непременно где-нибудь да сорвешься или раньше времени обнаружишь себя. Как быть? Зацепом можно взять рыбину только в светлый день, когда хорошо ее видно с берега. Но ведь ежели ты рыбину видишь, то и она тебя видит. Или по тени догадывается о твоём присутствии.

Михаилу, можно сказать, повезло. Берег обрывистый, старая развесистая черемуха над плесом, так что ни малейшей тени. И солнышко. Косым лучом высвечивает хариуса. Ну а насчет терпения беспокоиться нечего. Закален.

Над ним тучей висели слепни и комары, мураши проложили свои тропы по его белой рубашке, по телу, по сапогам (страсть сколько их оказалось на стволе черемшины, к которому он жался), а он стоял. Он не двигался. И медленно, сантиметр за сантиметром, подводил крючок к хариусу.

Вечернее солнце все больше и больше зажигало речку. Чешуя у хариуса стала золотой. И вот чудо – рыбина стала расти быстро, на его глазах, как если бы кто-то надувал ее изнутри.

Но Михаил ничем не выдал своего удивления. Не ахнул, не пошевелился. Жизнь у него была только в руках, а все остальное заостенело, задеревенело, и муравьиные караваны, непрерывно сновавшие по нему вверх и вниз, едва ли теперь отличали его тело от ствола черемухи.

И все-таки, несмотря на всю свою собранность и величайшее внимание, Михаил не мог бы сказать, как хариус оказался на крючке. Что произошло в самый решающий момент: он ли сделал раньше подсек (ему казалось, что до рыбины оставалось меньше четверти), или хариус, метнувшись, напоролся на крючок, но только вода возле валуна вдруг заходила, забурлила, и тоненькое рябиновое удилище в его руках выгнулось дугой.

Рывок. Рывок. Еще рывок... Золотой сверкающий клин резал воду...

"Только бы выдержала леска, только бы выдержала леска", – твердил про себя Михаил.

Леска в шесть конских волосьев была явно не рассчитана на такую рыбину, и он, переступая по кромке обрывистого берега, осторожно и мягко, без малейшего надрыва выводил ее к травянистому мыску, на котором уже, с нетерпением поджидая хариуса, стояли ребята.

Леска выдержала. Не выдержала рыба брюшина. Сорвался, дьявол, с крючка. У самого мыса сорвался.

От досады, от горя Михаил только что не рвал на себе волосы, а двойнята те просто расплакались.

И все-таки они не с пустыми руками вернулись к избе. С рыбой. Два хариуса-ножовика Михаил выдернул в следующем пороге, да там же, на плесе, три ельца, да еще каким-то чудом выбросили на берег налима ребята, порядочного, не меньше чем на фунт.

– Лиза, эво-то! Посмотри-ко! – звонко закричал Петька, едва они завидели избу, и высоко над головой поднял вязанку с рыбой.

– Да, – сказал Михаил, тоже не в силах побороть радостную улыбку на своем лице, – освежились. А я уж думал: Ося-агент все выбродил. Так, на авось кинулся. В те годы как ни

приедешь на Синельгу – пусто. Не поешь рыбки.

– У него ведь летом отпуск, – сказал Гришка. – Летом он налоги не собирает. Вот он и шурует по речкам.

– Да, вот именно что шурует. Все до единой рыбешки, до единого ельца выест. Почтище всякой выдры. – Михаил кивнул Федьке: – Есть елец на плесах. Вот ты и будешь нас подкармливать. Понял?

5

Садилось за избой солнце, и все вокруг: и березовые стволы у ручья, и ребячьи лица, и гнедой Лысан, позвякивающий колокольчиком внизу на пожне, все вокруг стало алым.

Хороший, ведренный день сулил закат. И на ведро нацелился их доморощенный барометр: в струнку, во фронт вытянулась тоненькая, оскобленная вересинка, воткнутая в щель стены.

Ребята, выйдя из-за стола, начали играть в переключку с эхом. Приятное занятие, особенно на сытое брюхо. А они сегодня нагрузились основательно. Помимо молока, опорожнили котелок ячневой каши (не надо бы этого делать: кашу на пожне, как свет стоит, варят только после первого зарода, да так уж получилось – Лизка недодумала), затем – рыба. Рыбу сперва хотели засолить да поставить в берестяном туесе в ручей. До матери. А потом – ладно, ешь, ребята: не все худые зарубки должны быть в памяти, надо иметь и хорошие. В общем, понравилась такая страда ребятам.

Михаил, докурив сигарку, принялся насаживать ребячьи косы. Петька и Гришка с интересом присматривались, как он это делает.

– Тебя, между прочим, тоже касается, – кивнул Михаил малому, который в это время сам с собою играл около огня ножом-складнем. – Потом кем ни будешь, а это ремесло не повредит.

Тут Лизка от этих самых кос перекинула мостик в будущее – недаром Егорша прозвал ее заместителем по политчасти.

– Ну-ко, Федюха, скажи, – с живым любопытством спросила Лизка от стола (она прибирала посуду), – кем ты потом будешь?

Федюха насупился – и ни слова.

– На вот! – возмутилась Лизка. – Он и не думает.

– А надо думать, – поддержал Михаил начатый сестрой разговор. – Большие стали. Вот ты, Петро. Кем станешь, когда вырастешь?

Петька застенчиво переглянулся с Гришкой.

– Мы как ты.

– Что, как ты?

– Как ты потом будем.

– Голова! Далеко же ты собрался шагать! Ну а Григорий что скажет?

Лизка с усмешкой покачала головой:

– А чего спрашивать Григория? Раз уж Петька сказал, так и он. Они у нас какие-то – что один, то и другой. Как это у вас, ребята, выходит? Надо немножко каждому думать. Привыкайте. Потом жить порознь будете – не побежите друг к дружке.

– А мы вместе будем, – сказал Петька.

Михаил рассмеялся:

– Э, нет. Вместе все не получится: а как же, когда женитесь?

Лизка с укором посмотрела на него: дескать, о таких вещах можно бы и не говорить. Но Михаила не на шутку заинтересовал этот разговор. В самом деле что из них будет? Ведь вот – малые-малые, а вырастут когда-нибудь. Как они сами-то себе это представляют? Анфиса Петровна все ждала да мечтала, когда пряслинская бригада на пожню пойдет. А ведь настанет время, когда пряслинская бригада немного дальше, чем на пожню, пойдет. В жизнь пойдет.

И он снова стал допытываться у близнецов, кем они хотели бы стать, а когда те опять ответили, что хотят стать такими же, как он, Михаил покачал головой:

– Нет, ребята. Что я? Двадцать лет прожил, а что видел, где бывал? А жизнь, она огромная. И страна у нас огромная. Учиться вам надо. Мне вот не пришлось. И ей не пришлось. – Михаил кивнул на сестру.

Лизка вздохнула:

– До ученья разве мне было? Я, бывало, на уроке сижу, а на уме-то у меня корова. Есть ли трава? Да где ребята?

– Это о вас она, – сказал Михаил. – Так что потом вы жмите. И за меня, и за сестру выучиться надо.

– Татьяна у нас будет ученая, – сказала Лизка. – Вот уж эта выбьется в люди. Москва-девка! Где она теперь, рева?

При этих словах ребята посмотрели на малиновый ельник за Синельгой – в той стороне было Пекашино.

– Что, по дому заскучали? – спросил Михаил и, продолжая разговор, сказал: – Вы, ребята, в другое время растете. Все ладно, вам не придется в четырнадцать лет вставать из-за парты да в лес идти.

– Слушайте, что брат-то говорит, – наставительно сказала Лизка. Наматывайте себе на ус.

– Я вот, к примеру, все думал с коня на трактор пересесть. На тракториста выучиться. А не получилось. Так жизнь сложилась.

– Война Михаила-то съела, – сказала Лизка. – Да мы с вами. Его и в армию из-за нас не взяли. Чтобы мы с голоду не померли. Запомните у меня это. Хорошенько запомните. Потом где ни будете, в какие города ни уедете, чтобы у меня брата не забывать. Поняли?

Ребята, непривычные к столь серьезному разговору, слабо закивали в ответ, а Михаил, глядя на Лизку, подумал: "Эх, сестра, сестра. Да ведь и тебя, если на то пошло, война съела..."

Березы у ручья погасли. От Синельги напал туман. Ребята, отмахиваясь от комаров, поеживались и нет-нет да и бросали исподтишка взгляд на избу, в которой Лизка устраивала постель.

Наконец Лизка вышла из избы.

– Долго ли вы еще? – Она ступила босой ногой на колючую щетину выкошенной вокруг избы пожни, поморщилась: – Ну и роса здесь. Не то что у нас в деревне. Хороший день завтра будет.

– Хороший, – сказал Михаил. – Ну как, мужики? Будить вас до завтрака?

– Будить, – ответили двойнята (Федька уже был в избе).

– Ладно, посмотрим. А теперь спать.

За избой догорал закат. От варницы к светлому розовому небу голубой лентой тянулся дым. Звонко тренькал колокольчик на пожне, а самого коня не видно молочный туман заливал пожню.

Михаил сидел у костра, попыхивая сигаркой, прислушивался к ребячьим голосам за стеной в избе, а глазом косился на давнишние буквы, вырезанные ножом на столе:

ПИГ

Никто – ни ребята, ни Лизка, ни он сам, – никто не обратил внимания на эти три буквы среди множества других букв, которыми были покрыты плахи стола. А буквы-то были отцовские – Пряслин Иван Гаврилович. Их отец когда-то сидел за этим столом...

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Солнышко только-только начало подыматься за рекой, а Анна уже входила в поля. С котомкой, с туесом, с граблями. И ей радостно было, что она раньше всех встала, раньше всех управилась с печью и коровой и раньше всех выходит на работу. А еще ей радостно была оттого, что скоро она увидит своих детей.

Три дня она жила вдвоем с Танюхой, и ей, привыкшей к вечному ребячьему шуму и гаму, дом свой показался пустым и мертвым.

Первая встреча со своими детьми у нее произошла еще задолго до Синельги, в березовых кустах за Терехиным полем. Тут Анна по старой привычке потянулась за веткой, чтобы лесной дорогой отбиваться от гнуса. И вот только она заломила березку, увидела сомлевшие ветки на вершинке. А немного подальше, на другой обочине дороги, тоже надломленные березовые ветки, только пониже.

И она поняла: ребята ломали. Те, с той березки, которую нагнула сейчас она, ломал Михаил, а за дорогой – двойнята. И она даже представила, как это было.

Бежали, бежали двойнята впереди, выхвалялись перед старшим братом – вот как мы умеем бегать, посмотри, Миша! – да вдруг услышали, что Миша березовые прутья ломает, и они давай ломать: так, значит, надо. Миша зря ничего не делает. А может, и сам Михаил крикнул: "Ребята, запасайтесь березой. Фашисты в воздухе!" – так, бывало, в войну называли оводов да слепней.

Дальше про то, как шли ее дети суземом, стала рассказывать ей дорога.

Четко, дождем не смыть, впечатал свой сапог Михаил, и шажище – метровка, точь-в-точь как у отца. А двойнята – те как олешки: где оставили следок, а где и нет. Легкие.

Свою ногу Анна старалась ставить в след дочери. Шаг у Лизки не крупный и не мелкий, как раз по ней, а самое главное – шла Лизка с разбором. Не то что Михаил. Михаилу все равно: грязь ли, болото ли – все прямо. Не любит обходы делать. А Лизка – нет. Лизка, если надо, и в сторону свернет, и круг даст только чтобы под ногой сухо было.

На второй версте, на грязях у Лешьей зыбки, Лизкин след внезапно оборвался. Анна глянула в одну сторону, глянула в другую – нет следа.

Она пошла обочиной, по осотистой бровке, рядом с натопами Михаила и двойнят. Но знакомого следа – круглый каблук с большой шляпкой у гвоздя – не оказалось и за грязями. Потом, спустя малое время, – босая нога на дороге, узкая и длинная. Лизкина, догадалась Анна. Это ведь ей сапог новых жалко стало. И вот, когда начались грязи, сняла.

Сапоги для Лизаветы принес Степан Андреянович уже в самую последнюю минуту, когда Михаил с ребятами выезжал из заулка. Лизка была любимицей старика, дочь родную не все так любят, как он любил Лизку. В прошлом году пропадать бы Лизке без валенок в лесу – выручил Степан Андреянович. Разжился где-то шерстью, сам и скатал.

И валенки, и сапоги, понятно, немалое дело по нынешним временам, да ведь и Лизка не в долгу перед Ставровыми. Ну-ко, с сорок второго года обстирывать да обмывать старика с парнем – стоит это чего-нибудь, нет?

Так, мысленно беседуя с детьми, угадывая по следам, как они шли, где останавливались, Анна и не заметила, как вышла к Синельге.

Надо бы передохнуть хоть немного, надо бы лицо сполоснуть: зажарела, запотела – не порожняком шла, но до отдыха ли, до прохлады ли речной, когда где-то совсем близко дети?

И вот он, ее праздник, ее день, вот она, выстраданная радость: пряслинская бригада на пожде! Михаил, Лизавета, Петр, Григорий...

К Михаилу она привыкла – с четырнадцати лет за мужика косит, и равных ему косарей теперь во всем Пекашине нет. И Лизка тоже ведет прокос – позавидуешь. Не в нее, не в мать, а в бабу Матрену, говорят, ухваткой. Но малые-то, малые! Оба с косками, оба бьют косками по траве, у обоих трава ложится под косками... Господи, да разве думала она когда-нибудь, что увидит эдакое чудо!

С самого рожденья не повезло двойнятам. С самого рожденья им пришлось все делить

пополам друг с другом: и молоко материнское, и одежду, и обувь, – и в войну, казалось, им первым карачун. А они устояли. Они выжили.

Весело, со свистом летает серебряная коса у Михаила, а у Лизки, по пояс зарывшейся в густую траву, на виду другая коса – девичья, тугим льняным ручьем стекающая по запотелой, в мокрых пятнах спине, и фик-фик – синичками звенят косы двойняток.

И, видно, не одной ей, Анне, было удивительно то, что делалось в этот час на пожне под высокими березами с искрящимися на солнце макушками.

Сверху, над пожней, большими плавными кругами ходил пепельно-серый канюк и не кричал, как всегда, «питьпить», а молчал.

Молчал и смотрел.

Смотрел и дивился.

2

Лизка первая увидела мать, закричала на всю пожню:

– Мама, мама пришла!

Затем, не долго думая, бросила посреди пожни косу, подбежала к матери, помогла снять со спины котомку.

– А вон-то, вон-то! – живо зашептала она, кивая на двойнят. – Мужики-то наши. Давай дак не фасоньте! Видите ведь, кто пришел.

Петька и Гришка выдержали – ни разу не обернулись назад. Дескать, некогда глазеть по сторонам. На работе мы. И только когда старший брат объявил перекур, только тогда дали волю своим чувствам: скоком, наперегонки кинулись к матери:

– Мама, мама, ты видела, да?

– Видела, видела.

– Как не видела, – рассмеялась Лизка. – Мы только и смотрели на вас. Ну уж, говорим, и ребята у нас. Поискать таких работников.

– А где у вас малый-то? – спросила, оглядываясь по сторона, Анна. – Почему не видно?

– Удит, – ответила Лизка и указала на дымок за мысом. – С косьбой ничего не получается. Позавчера принимался. Овод да муха, вишь, мешают. Выстал среди пожни, обмахивается веничком. Федюха, Федюха, говорю, ты ведь не в бане. На пожне-то косой от гнуса отмахиваются, а не веником...

Все – и подошедший к этому времени Михаил, и двойнята – рассмеялись: Лизка мастерица была разыгрывать домашние спектакли.

– Малой еще, – вступилась по обыкновению за Федюху Анна. – Подрстет, будет и он косить.

– Ничего не малой, – возразила Лизка. – Больно лени много у этого малого, вот.

– А нас, мама, оводы не кусают. Смотри-ко! – Петька и Гришка были без кукулей – накомарников. Сняли, подражая старшему брату, – тот все лето ходил с открытой головой.

А напрасно сняли, подумала Анна. Дорого обошлась им эта лихость. До волдырей, до коросты раскусаны бледные, бескровные лица.

Отдыхать сели на выкошенный угорышек к Синельге. Прямо на солнцепек. Тут по крайней мере не донимает комар.

Туес с молоком Михаил опустил в речку под густую черемшину. Котомку с хлебами повесил на сук березы – чего-чего, а мышей на Синельге хватает.

Анна, отдуваясь от жары (все, кроме Михаила, – и двойнята, и Лизка сгрудились вокруг матери), стала рассказывать деревенские новости.

Новости были разные: в колхозе выдали муки житной по два килограмма на человека, работающего на сенокосе; в Заозерье утонул ребенок – второй день неводом ищут; Звездоня из-за жары доит худо, не удалось скопить сметаны...

– Ну чего еще? – развела руками Анна. – Да, забыла. Анисья у Лобановых уехала с ребятами в город.

– Уехала все-таки? – задумчиво переспросил Михаил.
– Это она из-за паспорта, – сказала Лизка. – Поминала на той неделе: паспорт, говорит, кончается, не знаю, как быть.

– Анисья не от хорошей жизни уехала, – сказал Михаил. – Попробуй-ка с тремя ребятами да без коровы, заново... – Он потерзал рукой темный небритый подбородок. – У меня спрашивала: "Посоветуй, Михаил, что делать?" А я что? Какой советчик бригадир в таком деле? Неужели скажу: поезжай? Но и удерживать... тоже язык не поворачивается.

– А как та рева? – опять на свою семью перевела разговор Лизка. – Наверно, вся уревелась?

– Татьяна-то? Спала еще, когда я пошла. Семеновну просила – к себе возьмет.

Михаил попыхал-попыхал еще немного сигаркой и принялся налаживать косу для матери.

Лизка тоже поднялась. Достала из-под травы свою дорогую обнову – она сидела босиком, чтобы не жарить зря сапоги на солнце, – быстрехонько обулась.

– А с этими-то что будем делать? – Анна, не решаясь пошевелиться, кивнула себе за плечо.

Петька и Гришка так уробились, что с первых минут, как только обхватили ее сзади, начали засыпать. Она это почувствовала по их жаркому дыханию, по расслабленной тяжести, с которой они навалились на нее.

Михаил крикнул:

– Подъем, помощники!

И до чего же круто да проворно вскочили двойнята! Будто и не спали. Мигнули раза два-три – и глаза чистые-чистые, до самого донышка просвечивают. Как Синельга в ясную погоду.

– А мы и не спали. Мы это так, да, Гриша?

– Так, так, – успокоила их Анна. – Не расстраивайтесь. Я сама чуть было не заснула, ребята.

Солнце набирало свою дневную силу. Над пожней стоял гул от овода, от слепня. Михаил и Лизка спокойно и деловито вошли в траву. И пошли и пошли ставить улицы да переулки. А ей куда, в какую сторону?

Двойнята, оседлавшие тенистую кулижку возле кустов, звали: "Мама, мама, иди к нам!" – и в другой бы раз она охотно, с радостью присоединилась к ним (что поделаешь, если с косою она с малых лет не в ладах), но сегодня этого нельзя было делать. Нельзя.

Сколько лет в глубине своей души она ждала этого семейного праздника, самого большого торжества в своей жизни, – так как же смотреть на него из кулижки, из кустов?

И она пошла за взрослыми – за Михаилом и Лизаветой.

3

– Ух, ух! – Михаил, не отрываясь от рожка, полчайника выдул воды. – Кто еще? Налетай.

Петька и Гришка (неужели не напились – только что за водой бегали?) с такой же жадностью набросились на чайник.

– Молодцы у меня! Осенью репа поспеет, всех представлю к ордену святой репы. А матери – той хоть сегодня можно выдать медаль из гнилой редьки.

Михаил был доволен: порядочно свалили травы за сегодняшнее утро.

У двойнят похвала брата ударила в ноги – бегом побежали к избе, чтобы к приходу взрослых развести огонь.

Но вот уж кто изумил Лизку, так это мать. Покраснела, вся вспыхнула будто не сын родной похвалил, а по крайности секретарь райкома. А вообще-то понятно. Красива у них на лицо мать, даже война не съела ее красоты, а руками не вышла. Нет в руках хваткости да проворства. И как же ей не покраснеть, не вспыхнуть, когда такой косарь, как Михаил,

похвалил! Ведь и она человек, ведь и ей нужно ласковое да доброе слово.

Когда они с матерью подошли к избе, на варнице уже скакал огонь, а на крючьях висели чайник и котелок.

– Будем ли чего варить? – спросили двойнята.

– Будем, – ответила Лизка. – Рыбой будем кормить гостью. Ну-ко, чего стоите? Запрягайте скорей коня да выезжайте навстречу рыбаку. Улов нынче такой – не принести на себе.

Петька и Гришка шутку поняли и от удовольствия покрутили головами.

И вдруг все – и ребята, и мать, и сама Лизка – вытянулись и со страхом посмотрели в ту сторону, где рыбачил Федька. Дикий, отчаянный вопль донесся оттуда. Потом увидели и самого Федьку. Бежит что есть мочи по поже, кричит благим матом, а за ним по пятам – бух-бух, от избы слышно – Михаил. С длинной хворостиной.

В ручье под избой Михаил догнал Федьку, свалил с ног, и длинная хворостина безжалостно заплясала над ребенком.

Мать застонала: ах, ох! А что бы крикнуть: "Остановись! Не смей, ирод! Искалечишь ребенка". Нет, не крикнула. Не дождешься этого от ихней матери. Что ни скажет, что ни сделает Михаил – все ладно. Хозяин.

И пришлось ей, Лизке, пускать в ход свое горло. Что уж она крикнула, какими словами огрела этого лешего, Лизка в ту минуту не упомянула. Только Федьке это помогло: оторвался от брата, перескочил ручей. И вот тут на выручку подоспела мать:

– Федя, Федя, бежи ко мне. – И даже руки протянула.

А нет, не у матери родной стал искать защиты Федя, а у нее, у Лизки. Кинулся, обхватил обеими руками, насмерть прилип. И Лизка тоже обхватила его, телом своим заслонила – пускай уж лучше ее ударит, чем ребенка.

Михаил не ударил ее. Но хворостину через колено на мелкие части разломал и так расвирепел – страшно взглянуть. Мокрый весь, пот градом катится по щекам, и зубы ощерены, как у зверя. Брат у них и раньше не мягкая шанежка был: чуть что не по нему – и завводил глазами, а все же до болезни такого не было – не терял рассудка.

За обедом никто не проронил ни слова. Сидели не шевелясь. Только ребята жалостливыми глазами изредка, украдкой от старшего брата, посматривали на избушку, где отсиживался Федька. Потом с беспокойством начали поглядывать на сестру, на мать: в миске кончается молоко – похлебку, конечно, не варили, а как же Федюха? Ему-то что?

– Ешьте все! Ни капли тому дьяволу не будет.

И тут опять не мать, а она, Лизка, пошла поперек Михаилу.

Она старательно, насухо облизала свою ложку, сказала:

– Как хошь наказывай ребят, а голодом морить нечего. Не прежнее время.

Обошлось. Ничего не сказал. Встал, пошел к избе. Лизка так и присела: ну, держись, Федька. И опять пронесло грозу. Михаил снял с избы грабли и вилы, пошел на пожню.

4

Тревожно, томительно стало у избы. Хозяин ушел на пожню, не сказав ни слова. Федька сидит голодный в избе. И как с ним быть? Можно ли покормить, не нарушая наказа брата?

Лизка взглянула на мать: ну-ко, давай подумаем вместе. А мать, как двойнята, с мольбой смотрит на нее: выручай, Лизка.

И Лизка решила:

– Зовите того ахида.

Федька в сопровождении братьев вышел из избы. Губы толстые наладил на слезы, но что-то не видать по лицу, чтобы насмерть был перепуган.

– Чего наделал там, изверг? Сказывай!

– Ничего.

– Как ничего? За ничего-то не будут гонять по всей поже. Да еще с хворостиной. Когда это Михаил бил кого понапрасну? А?

– Ус-ну-ул маленько, – ширнул носом Федька.

– Уснул? – Лизка от негодования едва не задохнулась. – Это на работе-то уснул? Да ты что, красна рожа? Мы робыли-робыли – света белого не видели, а ты вот что удумал? Спать. Да за такие дела с тебя шкуру мало спустить, вот что я тебе скажу. Худо, худо тебя отлупили...

Тут заплакали двойнята – жалко стало дорогого братца, мать вступилась за малого, и Лизка, вся расстроившись, так и не добилась от Федьки всей правды. Только потом, много позже, рассказал Михаил, из-за чего сыр-бор загорелся.

– Я ведь ему царские условия создал, ей-богу. Огонь развел, чтобы гнусу вокруг меньше было – здоровенную валежину припер, траву выкосил. Лови, парень, рыбку, накорми свежей матерью. Ну парень постарался. Ельца из речки вытащит, да на живые угольки, да в брюхо. Ей-богу! Лежит, похрапывает у огонька, травкой сверху накрылся – никакая муха не укусит, а морда у самого вся в рыбьей чешуе. Как коростой заляпана. Ну меня затрясло. Ах ты подлюга, думаю! Так-то ты наказ мой сполняешь. А тут еще глянул – соль у него на газетке. Это чтобы рыбка свежая лучше в горлышко проходила. Понимаете? Он, гад, загодя, еще с вечера этой сольцы отсыпал, все предусмотрел. Вот что меня окончательно допекло...

Так рассказывал Михаил, и рассказывал со смехом, а тогда им было не до смеха. Время идет, Михаил куда-то пропал – нет на поже. Что делать? Глядя на луг, надо бы взять грабли да загребать сено. Ну а вдруг да у него другое на уме. А, скажет, столько-то сообразить не можете!

Долго, не меньше получаса, стояли они у избы, томясь от неизвестности и беспокойно поглядывая на пожню, в ту сторону, куда ушел брат. Наконец брат показался. Вышел из кустов – голова мокрая, на солнце сверкает (купался, значит) – и начал загребать сено.

Лизка с облегчением сказала:

– Пойдемте и мы. Давно бы надо идти. Бестолковые мы с вами, ребята. Кто это станет ругать за работу? А ты, бес, – сказала она Федьке, – на глаза не смей показываться. Чуешь? – Лизка, как надо, нахмурилась и для порядка отвесила тому легкий подзатыльник. – Покамест платом не махну, чтобы духу твоего на поже не было.

Тихонько, неуверенно спустились к ручью, вышли на закраек пожни. Сено сухое. Дух хороший. Ветерок из-за Синельги прыснул.

Лизка крикнула:

– Откуда нам загребать?

Ни слова – не прошла еще злость. Охажку сена швырнул – только шум пошел по поже.

Мать вздохнула, и Лизка на этот раз рассердилась не на шутку: как это можно так довести себя, чтобы родного сына бояться?

Лизка сказала с сердцем:

– Загребайте отсюда. Все равно и это сено когда-нибудь надо сгребать.

Работали быстро. Все старались – мать, и ребята, и она, Лизка, просто бегали с граблями по поже, потому что понимали: ежели и можно чем угодить сейчас Михаилу, так это работой.

И верно, Михаил мало-помалу начал поглядывать в их сторону – сперва вроде как на солнышко, а потом и на их сенные перевалы.

Тут Лизка решила окончательно добить брата – насрать на него двойнят.

И стали Петр да Григорий к старшему брату подходить. Тихо, медленно. Грабелками по сему шасть-шасть, а сами все ближе, ближе к белой рубахе. И вот уже подобрались – забегали, замахали грабелками вокруг брата.

А еще спустя какую-то минуту Михаил подал голос:

– Мати, вы чего там на отшибе? Первый раз на поже?

То есть это означало: сколько еще можно дуться? Давайте подходите сюда (на большее Михаил сейчас способен не был).

Лизка сняла с головы белый платок и, уже не таясь, замахала Федьке: иди! Кончилась твоя отсидка. И ей любо, любо было заодно пробежаться своим глазом по голой пожне.

Хороша, красива пожня в цветущей траве. Как шаль нарядная. И хороша пожня, когда на ней лежит пахучая, медовая кошеница. Но всех краше и лучше пожня, когда она голая. Когда с нее только что сено сгребено.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

1

Воротца на задворках были открыты, и Михаил на всем скаку влетел в заулочек.

Бледная, растрепанная мать кинулась к нему от двора, когда он спрыгнул с пошатывающегося Лысана.

– Что с ней?

– Не знаю, не знаю... Второй день не пьет, не ест.

Степан Андреянович в ответ на его требовательный взгляд пожал плечами:

– Вымя... С вымем неладно.

Серое гудящее облако гнуса, увязавшегося за ним еще на Синельге, качалось над его потной головой. Мать веником стала разгонять гнус. А он сделал шаг к воротам двора и споткнулся: глухой, протяжный стон донесся оттуда.

Вымя у Звездони вздулось горой, затвердело, как камень. Сухой жар опалил пальцы Михаила.

Он с ненавистью метнул короткий взгляд в мать:

– Хозяйка! Холодной водой протирала?

– Да что ты... С чего...

– А я думаю, уж не палкой ли кто жарнул. Смотри, какой рубец на брюхе.

Михаил ощупал продолговатую опухоль, на которую указывал Степан Андреянович. Корова дернулась и охнула, как человек.

– Ну что, Звездонюшка? Что? Больно?

Он провел у нее за ухом – Звездоня любила, когда у нее чесали за ушами. Но на сей раз она не отозвалась на ласку. Из раскрытой пасти со свистом, с бульканьем вырывался горячий воздух.

Ветеринара дома не было – ветеринар был на сенокосе. Марина-стрелеха, больше всех в Пекашине понимавшая в скотине, как на грех, ушастала в Заозерье. Что делать?

Михаил, затравленно оглядываясь, тяжело дыша, вышел за ворота двора и увидел коня, до репицы забрызганного грязью, увидел тихое закатное небо за деревней.

Что делает сейчас Лизка с ребятами? Догадываются ли, какая беда стряслась дома?

Когда с час назад к ним на Синельгу приехал Лукашин и сказал, что у них заболела корова, и Лизка, и ребята завыли, как по покойнику. И он долго, нахлестывая коня, слышал сзади себя этот разноголосый надсадный вой, вечерним эхом разносимый по лесу.

Степан Андреянович тронул его за рукав. Он понял старика.

Корова уже запрокинула голову и дышала брюхом. Татьяна платком отгоняла мух от вымени. Мать подкладывала под голову какую-то лопатину.

Михаил встретился глазами со Степаном Андреяновичем. Тот покачал головой: не могу. Михаил вытащил нож из ножен.

– Мама! Мама! – заревела истошным голосом Татьяна.

– Да уведи ты ее к дьяволу! Не понимаешь? – вне себя заорал Михаил.

И то ли от этого крика, то ли поняла она все, умница, но Звездоня вдруг приподняла голову, и огромный заплаканный глаз уставился на него.

Что же ты это? За что? Разве я мало вам послужила? Была ли у вас радость за все эти годы, кроме меня? Как бы вы жили?

Михаил выждал, пока не опустилась голова Звездони, воткнул нож в горло.

2

– Почем мясо?

– Сорок.

– Почем? Почем?

– Сорок, говорю.

– Да ты, парень, выпался?

– А сколько же, по-твоему? Мы в налог за живой вес по сорок платим...

Женщина, побрякивая светлым ведерком, перешла к молочницам. Там, у молочниц, стояло двадцать-тридцать домохозяек, и все они за это утро перебивали у него. А мяса купили только трое, и то пустяки – по триста, пятьсот граммов.

Начинался день – жаркий, страдальный день.

Михаил стоял за прилавком и с ненавистью поглядывал на домохозяек, сбившихся в пеструю кучу под навесом у ларьков с керосином.

Домохозяйки выжидали – это ему было ясно. Выжидали, когда он скинет цену. Нет, не дождетесь. Не будет по-вашему. Вся жизнь у него ушла в эту корову так что же вы хотите? Даром?

После войны у него была возможность вместе с Егоршей уйти на лесопункт. Не ушел. Остался в колхозе. А для чего? А для того, чтобы вот эти четыре копыта ходили по земле. (Он согнал рукой мух с посинелых суставов коровьих ног.) Все вам больше, копыта. Отходили свое.

Копыта были черные, щелястые. А он помнит, когда эти копыта были еще желтые, молочные, – величиной с овечьи копытце, помнит, как отец на руках внес Звездоню в избу: "Хорошая будет корова!"

Да, хорошая. Поработала, потрудилась на них Звездоня – без молока не сидели. Но и они потрудились на нее. Степан Андреевич, он, мать – втроем молотили всю страду. Но разве прокормишь корову семью-восемью процентами? И вот посматриваешь по сторонам – нельзя ли где в заброшенном ручье прикосить возишко. Прикосил – ночей не спал, а потом это сенцо надо стаскать куда-нибудь под ель, припрятать, чтобы оценочная комиссия не наткнулась. А потом осенью, по первому снегу, его надо вывезти. Да ночью – чтобы никто не видел. В прошлом году, например, он часа три ждал за болотом, покуда народ от конюшни уйдет. Промерз так, что думал – околеет. И все-таки Ося-агент удозорил, гад. Пришлось бутылкой хайло затыкать...

Подошла женщина, встала у прилавка.

– Сорок, резко бросил Михаил.

Женщина не отошла. Михаил поднял глаза и увидел перед собой Варвару.

Минуту, а то и больше смотрели они друг на друга. Потом Варвара сказала тихо:

– Вот как нам привелось с тобой встретиться.

Помолчала, вздохнула и отложила в сторону коровью ногу.

Солнечный луч блеснул на милой смуглой руке, и будто толкнуло Михаила в сердце. Он узнал серебряное колечко. Варвара подарила ему это колечко в ту ночь, когда он второй раз приехал к ней с Синельги. "На, носи мою присуху. Чаще вспоминать будешь", – и сама надела ему колечко на мизинец. И он всю дорогу, улыбаясь, смотрел на свой окольцованный палец, а когда стал подъезжать к Синельге, снял – не дай бог увидят люди.

Люди не увидели. Он всю страду носил колечко в кармане гимнастерки, лишь тайком, когда оставался наедине с собою, надевал его на палец. Потом как-то вечером – уже начинали жать – он положил колечко на комод в стеклянную сахарницу, в которой лежали бусы и всякие брошки, и Варвара ничего не сказала после – будто не заметила.

– Хорошее, хорошее мясо, – громко, нараспев сказала Варвара. – Спасибо.

Кровь прихлынула к его щекам. Он понял: не для него говорит эти слова Варвара. Для

женщин. И женщины, те самые женщины, которые еще недавно воротили нос от мяса, толпой сбились у прилавка:

– Мне, мне кусочек!

– Я раньше тебя пришла.

– Оставь, оставь мне ноги. У меня муж студень любит.

– А мне печени, печени!

Он рубил, резал, кидал на весы, и через каких-нибудь пятнадцать минут у него ничего не осталось от осередья. А ведь именно за осередье он больше всего боялся. Степан Андреевич его отговаривал: не довезешь. Испортится. А он нет: в райцентре денежные люди, дороже дадут. Нарубил в погребе льда. Засыпал корзину с осередьем льдом.

Варвары уже не было. А он и не заметил, как она ушла. "Вот как мы с тобой встретились..." "Хорошее, хорошее мясо... Спасибо..." Нет, тебе спасибо! Век помнить буду эти слова. Умирать буду – и тогда вспомню...

Солнце входило в силу. Голова под навесом, в тени, голову солнцем не хватает, а на кой черт ему тень для головы, ежели на прилавке пекло?

Он переложил мясо в тень, справа от себя, прикрыл ватником. Красные пятна на прилавке тотчас же почернели. Он веником стал срывать присосавшихся к прилавку мух.

Ровно в час дня, сверкая лощеными задами, потянулись служащие на обед. Базар вымер. Солнце – будь оно проклято, он – голова в тени, да еще какая-то старушонка дремлет поодаль за прилавком. Старушонке можно дремать. У старушонки старая картошка. От жары не протухнет.

Где Лизка? Ушла ли мать на Синельгу?

Нет, не Лукашин привез им весть о беде. О беде дома он, Михаил, знал еще до приезда Лукашина. И знала Лизка. И ребята догадывались. А как же не знать, не догадываться? Мать не приходила к ним три дня, у них вышли хлебы – не будет же она сидеть зря дома!

После обеда он скинул три рубля. Натё, жрите! Одним махом выбрасываю шестьсот рублей. А покупательниц нет. Покупательницы сидят на бревнышках, у ларька с керосином напротив. Накормили своих мужей, спровадили на службу и снова на вахту. Переоделись. С утра были занавешены, а теперь редко у какой телеса не напоказ.

Интересно, так же нынче ходит Варвара? Он запомнил только ее глаза большие карие глаза на побледневшем лице. И еще запомнил колечко...

Подошел санитарный врач с заранее распяленными ноздрями. Отвернул ватник, понюхал:

– Поторопись, парень. Клеимо у тебя действительно до утра.

Нет, гад! Не получишь больше. Утром, чтобы заклеить мясо, я тебе полпечени отрезал. Справки, вишь, нет от ветеринара, А где его взять, ветеринара? Где?

Он сцепил зубы и полторы тысячи швырнул к ларьку:

– По тридцать продаю. Слышите? Еще семь сбавляю.

– Торгуй, торгуй. Наша очередь не подошла. Подождем.

И тогда он понял: он в капкане у них. Они, эти бабы, сделают с ним все, что захотят. И им, Пряслиным, больше не видать коровы.

3

Накрапывал дождь. Телега улитой тащится по Марьиным лугам.

Да, дождь. Стучит по пустому коробу, обмывает зачем-то железные шины на колесах. А что бы тебе, дождь, не начаться на сутки раньше? Бабы добились его по двадцать рублей килограмм вырвали. А последние пятьдесят килограммов и вовсе пошли задаром. В столовку. По государственной цене.

Михаил снял с себя ватник, завернул в него деньги, подложил под себя.

Внезапно стало темно. Зашумели, зароптали придорожные кусты, высокая перезрелая трава волнами заходила на обочинах.

Михаил поднял мокрую голову и увидел над собой огромную черную тучу.

Конь перешел на рысь еще до того, как ударила молния.

Какое-то время Михаил широко раскрытыми глазами смотрел на переднее колесо, на его железную игру с жарко пляшущей молнией над самой головой, и вдруг вместе с ливнем сверкающая, долгожданная радость обрушилась на него. Она его любит. Любит! А он-то все это время ломал голову: как назвать то, что у них было? Блажь, каприз безмужней бабы? Нет, нет, и Варвара любила его. Варвара носит серебряное колечко, то самое колечко, которое было у него... И пусть они никогда, никогда больше не встретятся так, как встречались раньше, но она с ним, она у него в сердце...

Гроза не стихала. Конь бежал уже вскачь. И молния, молния чертила свои каленые письмена вокруг него.

И от счастья, от радости, от избытка рвущихся из него сил Михаил вдруг вскочил на ноги, намотал на руку вожжи и начал нахаживать и без того скачущего во весь опор Лысана.

4

Двух суток не прошло, как нет Звездони, а уж жизнь перекроена начисто. Первый раз за свои двадцать лет он сидел ночью в пустой избе.

Печь не топлена – мать, должно быть, еще вчера ушла к ребятам на Синельгу, – и даже кошки не видно: наверное, и кошке стало не по себе в пустой избе.

Он решил сходить за Татьяной – нечего девке ночевать у Семеновны, коли брат дома.

Дождь еще не кончился. Красным заревом отликает боковое окошко у Марфы Репишной. Что там делается? Михаил прошел к Марфиному дому, встал под углом, прислушался. Тихо в избе. Ни единого звука не слышно. Только дождь со всхлипами барабанит по раме.

Он зашел в заулочек. Ворота на крыльце раскрыты настежь. Что же все это значит?

По шаткому старинному крыльцу он быстро поднялся в коридор, открыл дверь и остолбенел.

Марфа стояла на молитве. Среди ночи. На коленях. И неподвижно, как скала. Медные лики строго взирали на нее с божницы, озаренной красной лампадкой.

– Что случилось? Почему ворота не заперты?

Марфа ни слова.

Михаил зашел сбоку, заглянул ей в лицо. Красные сполохи дрожали в ее сухих глазах, обращенных к богу.

– Чего, говорю, людей пугаешь? Нельзя вечером намолиться? Где Евсей?

– Взяти.

– Куда взяли?

– Криводушники...

– Кто? Кто?

Михаил вдруг вспомнил, как, подъезжая к сенопункту, он увидел трех человек, быстро свернувших с дороги к избушке, и ему тогда еще странным показалось это, а теперь он знал, что это были за люди. Конвой и Евсей.

Тихо, не сказав больше ни слова, он вышел на улицу, запер ворота.

У крыльца шумно кипел переполненный водой ушат. Четкие, еще не смытые дождем следы казенных сапог виднелись в заулочке. Следы вели на задворки значит, Евсея увели задами.

Михаил двинулся на переднюю улицу и еще издали увидел широкое светлое пятно на дороге. Это щепка. Щепка, которой Евсей засыпал нынешней весной грязь перед Марфиным домом. В сухое время щепку не замечают. А в сырость, в непогодь каждый прохожий добрым словом вспомнит старика. В сырость, в непогодь щепка, омытая дождем, светится, И вечером. И ночью.

Ах, дьявол меня задерил! – вдруг с раскаянием подумал Михаил. А бревна-то я ему ведь

так и не вернул. Два года собирался привезти бревна взамен тех, которые взял у Евсея с избы, да так и не привез...

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

1

– Так-так. Значит, ты хочешь знать, за что арестован Мошкин? Народ, говоришь, волнуется?

– Да, спрашивают люди.

– А сам ты не знаешь?

– Да нет.

– А то, что этот самый Мошкин народ мутит, этого, по-твоему, мало?

– Религия у нас не запрещена, Евдоким Поликарпович.

– Шляпа! – Подрезов вскочил на ноги – ядро раскаленное. – У тебя контрреволюционные листовки под носом стряпают, а ты меня спрашиваешь – за что... – С грохотом распахнув дверку стола, Подрезов вытащил пожелтевший тетрадочный листок, протянул Лукашину: – Читай!

Молитва

Жизнь унылая настала,
Лутче, братцы, умереть.
Что вокруг нас происходит,
Тяжело на то смотреть.
Служба Божия забыта,
Лик священный заключен,
Детский ум грубо воспитан,
Богохульству научен.
И посты не соблюдают,
Божьих праздников не чтут,
В домах шапки не снимают,
Часто в них едят и пьют...

И в таком духе на двух страницах.

– Понял теперь, что у тебя делается? А еще меня спрашиваешь. Иди. И имей в виду: на пощаду не рассчитывай. Строго спросим. Я предупреждал тебя насчет старовойской молельни. И с женой с твоей у меня тоже был разговор.

Об аресте Евсея Мошкина Лукашин узнал, когда вернулся с Верхней Синельги. И попервости только рукой махнул: ну арестовали и арестовали. Значит, есть за что. Меня же не арестовали. И других не арестовали.

Но отмахнуться так просто не удалось. Колхозники жалели Евсея. Старик. Двух сыновей на войне потерял. Да сколько же еще мытарить и мучить человека? А кроме того, и у самого Лукашина была не спокойна совесть. Трудно, очень трудно пришлось бы колхозу нынешней весной, если бы не подмога со стороны Евсея. Сани, подсанки, всякие срочные поделки на скотных дворах, на конюшне – все это делал Евсей. И Лукашин, решив с глазу на глаз переговорить с Подрезовым, хотел напомнить об этом – авось и следствие учтет заслуги Мошкина перед колхозом.

Но сейчас, после того как у него в руках побывала эта молитва, ему стало ясно, что говорить обо всем этом бесполезно. Конечно, какие-то неграмотные вирши, к тому же

написанные простым, наполовину стершимся карандашом, может, и не стоило бы называть листовкой – листовка все-таки это другое, товарищ Подрезов! – но и преуменьшать значения молитвы тоже нельзя. Далеко зашел старик. С душком, с нехорошим душком молитва.

Передав помощнику Подрезова, чистенькому, вежливому брюнету, сводку о надое молока за последнюю пятидневку (Подрезов не потерпел бы зряшного выезда в район во время страды), Лукашин спустился на первый этаж и заглянул в парткабинет.

За длинным красным столом сидел, обложившись брошюрами и книжками, Ганичев. В железных очках. В своем неизменном кителе из чертовой кожи, жестяно отливающей на солнце.

– Что, Гаврило, – с наигранной бодростью воскликнул Лукашин, – идейно вооружаемся? Опять, значит, в поход? Давай – у меня конь под окном стоит.

Ганичев нахмурился и ничего не ответил.

Худы мои дела, подумал Лукашин, раз Ганичев от меня отворачивается. А в общем-то, что ж? Все понятно. Ведь и сам он когда-то старался избегать людей, у которых замарано рыло. А тут мало сказать – замарано. Арест по 58-й статье в твоей деревне... Да это же вон чем пахнет!

2

На Лукашина всегда успокаивающе действовало летнее поле – сказывалась, видно, душа крестьянина. Так было и сегодня.

Из райкома он вышел – жуть настроение. Но вот полежал немного за райкомом на зеленой лужайке под рябиновым кустом – тут летом всегда какой-нибудь опальный председатель загорает перед головомойкой либо после – да покурил, и, смотришь, поровнее забилось сердце. А там и думы пошли другие. О доме. О сенокосе. О том, что в колхозе сейчас дорога каждая пара рабочих рук, тем более мужских, а он вот тут расквасился, как баба. Чего раньше времени себя хоронить? Чему быть – тому быть.

Лукашин быстро поднялся на ноги, прошел к коню, который, пофыркивая, хрустел травой у изгороди, начал было отвязывать вожжи и раздумал.

Нет, уж коли он в район выбрался, то надо хоть одно дело сделать. А дело у него было, и нелегкое дело: дом. Тот самый дом, в котором он жил сейчас с Анфисой.

По всем книгам – и по сельсоветским, и по колхозным – дом принадлежал Григорию, мужу Анфисы. И разве мог он, Лукашин, чувствовать себя спокойно, живя в этом доме? "А, гусь залетный! Мало того, что ты жену от мужа отбил, когда тот на войне был, так ты и его самого из дому выжил". Ведь вот как могут сказать. А если и не скажут, то уж подумать-то так редкий не подумает. Знает он публику деревенскую. Сам из нее вышел. А зачем ему это? Зачем лишний треп вокруг его имени, когда его, этого трепа, и без того достаточно?

Поэтому в первый же день своего председательства Лукашин предложил Анфисе на выбор: либо перебраться на житье к Марине-стрелехе, его бывшей хозяйке, покамест они обзаведутся своей новой халупой, либо вступить в переговоры с Григорием и выкупить у него другую половину дома.

Анфиса, как он и думал, схватилась за второе. А насчет того, чтобы дом оставить, и слушать не захотела. С какой стати? Ей да из своего дома в чужие люди на постой идти? Ни за что!

И вот Лукашин начал действовать. Не прямо, конечно, чтобы встретились, как мужчина с женщиной, и давай по-деловому, раз уж так все получилось. Какое там! До встречи ли ему, когда его от одного имени Григория трясет (никогда раньше не знал за собой ревности). Да и у Григория, судя по всему, не было большой охоты встречаться с ним.

Раз как-то вечером, еще в бытность свою инструктором райкома, Лукашин пошел в кино, и будто кольнуло его в затылок, когда он брал билет. Оглянулся: глаза. Как два спаренных пулемета, наведены на него из полутемного угла. И хотя он не знал человека в милицейской фуражке, он сразу догадался, что это за милиционер.

Короче говоря, Лукашин решил действовать через Кузьму Кузьмича, начальника Сотюжского лесопункта, которого, по словам Анфисы, Григорий уважал больше, чем отца родного. Не тут-то было. "Отцовским домом не торгую". И все. Больше рта не разжал Григорий.

И вот сейчас, выходя из райкомовского заулка и вглядываясь в желтое двухэтажное здание милиции с высоким глухим забором, из-за которого выглядывала новая тесовая крыша тюрьмы, Лукаш подумал: а не поговорить ли ему самому с Григорием? Сколько еще в прятки играть? Ведь все равно рано или поздно не миновать им встречи, раз в одном районе живут.

– Постой, постой... – вдруг остановился Лукашин и плотно сжал зубы. – Да как же я? Как же я раньше-то не подумал об этом?

Видно, у него очень уж воинственный был вид, когда он, запыхавшись, вбежал в приемную, потому что Василий Иванович – так звали помощника Подрезова телом своим загородил дверь в кабинет хозяина.

Лукашин оттолкнул его.

– Это не Мошкин написал молитву.

– Что-о? – Подрезов, читавший какую-то бумагу, начал медленно распрямлять спину.

– Я говорю, молитву не мог написать Евсей Мошкин. Он неграмотный, не умеет писать.

– Хм... Неграмотный? Не умеет писать? А ты откуда знаешь?

– Знаю. Весной он при мне деньги в колхозе за сани получал. И Олена Житова, счетовод наш, еще рассмеялась: "Чего, говорит, кресты-то ставишь? Расписывайся как следует". А Евсей на это и скажи: "А я ведь, говорит, только и умею читать по-печатному, а писать не горазд. Ни одной зимы в школу не ходил".

– Какое значение это имеет?

– Как какое? Факт есть факт.

– Факт пока что такой, – чеканя каждое слово, сказал Подрезов и встал, по району контрреволюционные листовки под видом молитвы гуляют, а в это время коммунист Лукашин берет под защиту попа. Дешевой популярности у старух ищешь так, что ли, запишем?

– Это еще надо доказать, кто из нас чего ищет. И ты эти штуки брось, товарищ Подрезов. Пуганые!

– Что-о? – Подрезов вдруг весь налился, двинулся на Лукашина.

Василий Иванович, ворвавшийся в кабинет вслед за Лукашиным, попытался к полураскрытой двери. В побелевших глазах его стоял ужас. Всякого повидал он на своем посту. Случалось даже "скорую помощь" вызывать к проштрафившемуся работяге, но такого, чтобы кто-то из посетителей поднял голос на самого, никогда.

Подрезов справился с собой еще до того, как за помощником захлопнулась дверь. Он глубоко засунул руки в карманы галифе, прошелся, бычась, по кабинету, встал к окну.

– Ты знаешь, за что твою жену с председателей сняли? – заговорил он, не оборачиваясь.

Лукашин наморщил лоб, стараясь понять, куда клонит секретарь.

– За бабью жалость, – сказал Подрезов,

– Вот как! – удивился Лукашин. – А я помню, ты другое мне говорил, когда я первый раз у тебя на приеме был. За лесозаготовки. И так мне и жена говорила.

– Ерунда! Что ты, не знаешь своей жены? Хозяйственная баба. Этого у нее не отнимешь. И уж если на то пошло, так с лесозаготовками у нее не хуже было, чем у других. А даже лучше. Только жалостлива больно. Всех ей пожалеть хочется. За каждого она заступница. За эту, за ту, за третью...

– Что ж, – сказал Лукашин, – люди, по-моему, заслужили того, чтобы их пожалели.

– Вот-вот! – с азартом воскликнул Подрезов. – И ты в ту же дуду! Заслужили... Всем на отдых... Так? А кто работать? Кто план по кубикам выполнять? А план по кубикам сразу после войны знаешь какой дали? Ой-ей-ей! Волосы дыбом. И что бы ты сделал? Ты –

бывший работник райкома? Ну-ко, давай! А я, например, ударил по главным жалобщикам, в том числе по твоей жене...

– И поставил вместо нее, хозяйственной бабы, как ты говоришь, этого безмозглого прохиндея Першина?

– Ну что ж, – согласился Подрезов, – и поставил. Никудышный извозчик согласен. Собака-извозчик, сказал бы мой отец. А лошадь у него побежала. Вытащил лесозаготовки.

– А мой отец, – сказал Лукашин, – когда дело касается лошади, больше на овес советовал нажимать...

– Ах какой у тебя умный отец! – с издевкой в голосе воскликнул Подрезов. А мы и не знали, что лошадь овсом гонят. А где, где он, овес-то? О чем я с тобой тут толкую? Ты знаешь, как мы тут войну делали? Да и не только мы, а все прочие?

Лукашин усмехнулся.

– Ах да, ты ведь в сорок втором здесь был... – Подрезов помолчал и решительно рубанул воздух ребром ладони. – Ни черта ты не знаешь! Тебя как фронтовика на руках все носили – рассказывали мне. Да и что такое одно лето? А за этим летом был сорок третий год, а за сорок третьим был сорок четвертый. Ух год! Мох ели, заболонь сосновую толкли. А за сорок четвертым – сорок пятый. И все эти годы мы одно твердили людям: терпите. Терпите, бабы! Кончится война, тогда заживем. Тогда наедемся досыта. Мы даже лекции на эту тему читали: "Наша жизнь после войны". Чего не сделаешь ради победы... В общем, люди, как чуда, ждали победы. Все, все изменится. На другой же день. Понимаешь? А как изменится, когда вся страна в развалинах?

Лукашин покусал в нерешительности губы, затем прямо в глаза глянул Подрезову, подошедшему к столу за папиросой:

– А ты думаешь, никак нельзя было накормить эту бабу досыта... сразу после войны?

– Я думаю... – Подрезов усмехнулся. – Мы с тобой солдаты, а не думальщики. Ладно, обсудили вопросы стратегии войны и мира, – вдруг с незнакомым Лукашину смущением сказал Подрезов, хлопнул его дружески по плечу и заключил таким напутствием: – В следующий раз, прежде чем крик поднимать, все-таки подумай.

3

Вечер был как по заказу. Днем, после полудня, хлестнул дружный ливень – с луга домой прибежали насквозь мокрые, – а потом опять солнце, опять тепло: парные лужи в ленивых зайчиках, хлебный запах с подгорья и огромная-огромная радуга над заново зазеленевшим лугом.

В этот вечер Лукашин и Анфиса, пожалуй, впервые за нынешнюю страду спокойно, никуда не спеша, пили чай.

Лукашин, с мокрыми пятнами на белой нижней рубашке, с сияющим, до блеска намытым выпуклым лбом (они только что пришли из бани), в руке держал стакан с крепким, янтарные чаем, а глазами был в газете.

– Грибы, должно, пойдут после этого дождя, – сказала Анфиса.

– Пойдут, – вяло отозвался Лукашин.

– Люди уже носят.

– Грибы? А то как же! Харч.

Анфиса вздохнула. Всем хорош у нее муженек, а по дому палец о палец не ударит. Единственная его работа, если не считать воды да дров (и то изредка), – забил вход двухвершковыми гвоздями на половину Григория. А дом – это ведь и приусадебный участок, и сено, и крыша над избой и поветью, которую еще до войны ладили, да мало ли всего! И Анфису тяготило и беспокоило это равнодушие мужа. А главное, она никак не могла понять, откуда оно. Дом своим не чувствует – оттого? Или он рано от деревни оторвался и растерял навыки хозяина?

Вдруг под окном захлопал мотор. Анфиса быстро привстала, посмотрела через мокрую,

склонившуюся над газетой голову мужа.

– Подрезов. Глянь-ко, глянь-ко, – зашептала она, – да он к нам.

Подрезов ни разу не был у них дома с тех пор, как ее сняли с председателей.

– Дома хозяин? – еще в дверях загремел знакомый голос. – Ух ты! Прямо к самовару. Есть, есть у меня счастье! – Подрезов шумно снял свой знаменитый кожан и, не дожидаясь приглашения, подсел к столу – свежий, прокаленный солнцем, подстриженный, с белой полоской кожи на крутой загорелой шее.

– Ну что, Минина, – сказал он, искоса поглядывая на Анфису, ставившую перед ним стакан, – все еще дуешься? Но-но, не закатывай глаза. Кого хочешь обмануть? Так я тебе и поверил... А чего это ты такая тонкая? Сколько вдвоем живете? Январь, февраль... – Подрезов начал загибать пальцы. – Пора бы поправляться, а? – И захохотал.

Анфиса, привыкшая к подобным шуткам, довольно спокойно выдержала «мужской» взгляд Подрезова, но за мужа она испугалась, потому что всякое упоминание о ребенке у Ивана Дмитриевича непременно связывалось с его Родькой, с маленьким несчастным Родькой, которого немцы вместе с бабкой и односельчанами расстреляли за связь деревни с партизанами.

Подрезов, видимо поняв, что хватил через край (он знал эту историю с сыном Лукашина), надсадно закашлялся, потом сказал:

– А все-таки прошлым жить нельзя. Что же, у каждого сейчас в доме покойник – жизнь прикажешь остановить? – Он нервно пробарабанил пальцами по столу, глянул на улицу: – Что это? У вас кто умер?

По дороге с двойнятами ехал Михаил Пряслин. На телеге могильная пирамидка со звездочкой, выкрашенная красной краской. Краска еще не высохла и жарко горела на вечернем солнце.

– Да нет, слава богу, никто не умер, – ответила Анфиса. – Это, вишь, Михаил памятник Тимофею Лобанову хочет поставить. Перед сенокосом еще сделал, да все краски красной не было. А тут, видно, достал где. А может, и Егорша с району привез. Был у них как-то при мне разговор насчет краски.

Подрезов недовольно хмыкнул:

– Нашел время памятники ставить. Нельзя было подождать до осени?

– Пускай его, – сказала Анфиса. – У парня хоть душа успокоится.

– А чего она у него не спокойна?

– Да ведь как. Не дерево. Каково? Мужика в лес гонит, а тот уж при смерти...

– Ах, Минина, Минина! Опять ты за старые сказки. А до осени, говорю, подождать нельзя? В страду другой работы нету, как могилы устраивать? Подрезов круто повернул голову к Лукашину, и в глазах уже строгость хозяина: дескать, ты куда смотришь?

– У нас сегодня с полудня дождь, так что всю работу на лугу отбило, сказал Лукашин.

– Да и не только это, ежели правду говорить, – опять вмешалась в разговор Анфиса. – На сенокосе весело, когда корова есть. Это ты не хуже меня, Евдоким Поликарпович, знаешь. А когда коровы нету, и сенокос не в сенокос. Ох что творилось у тех же Пряслиных по-первости! Всех малых на пожню Михаил вывел. Целая бригада из одного дома. А потом корова пала – и вся бригада пряслинская пала.

– Да, – сказал Лукашин, – старались ребята. Я, пожалуй, такого и в жизни не видал. Приезжаю на Синельгу, к ставровской избе, а там – один зарод, другой, третий... Что за чертовщина? – думаю. Кто это залез в наши пожни? Потому что знаю: все люди у меня на Верхней Синельге да на Росохах. А потом вижу: Михаил со своей морошкой. Просто удивительно! Каждый с косой. А самих-то косарей из травы еле видно...

– Корову бы им дать надо, Евдоким Поликарпович, вот что, – прямо сказала Анфиса.

– А что, у Евдокима Поликарповича свое стадо?

– Зачем свое? Из колхоза. Михаил всю войну за мужика в колхозе робил разве не заслужил?

– Телку, пожалуй, можно выкроить, – кивнул Подрезов Лукашину.

– Корову им надо. Телка-то когда коровой станет, а им сейчас молоко надо.

– Сколько у вас коров этой весной пало?

– Пять, – ответил Лукашин.

– Ну вот видишь. Пять! – Подрезов сурово, по-секретарски посмотрел на Анфису. – А сколько по плану должно быть? То-то! А потом: одному дал – другому дай. Так, нет, говорю?

Немного погодя, когда Подрезов принялся за второй стакан чаю, к нему снова вернулось благодушное настроение. Шумно перекатывая за щекой кусок сахара, он подмигнул Лукашину:

– Да, насчет твоего подзащитного считай, что ты прав. Он таки действительно неграмотный. И молитву не он писал.

– Ты о Мошкине? – живо спросил Лукашин.

– Да. В общем, порешили так: выслать из района. Нечего ему тут делать. Подрезов глубоко, но радостно вздохнул. – Ух, насилу уломал Дорохова. Нет и нет. Сперва даже разговаривать не хотел...

– Кто? Дорохов?

– Да, Дорохов. А что?

– Да ничего, – сказал Лукашин и, как ни сдерживался, улыбнулся.

Подрезов, видно, догадался, что скрывалось за улыбкой Лукашина, и лицо его, крупное, угловатое, будто вытесанное из плитняка, налилось кровью. Однако он переломил себя.

– Но-но, – загоготал он добродушно и в то же время мучительно, со слезами на глазах подавляя свое самолюбие, – не удивляйся. Нужна и на Подрезова узда. А то нашего брата не попрдержки – что получится? А за подсказку тебе спасибо. Не будь у меня этого козыря, с какой бы мне карты ходить? А тут, когда ты сказал мне, что Мошкин неграмотный, я еще раз прочитал эту молитву. И знаешь, что удумал? – Подрезов победно взглянул на Лукашина, потом на Анфису. – А то, что это вообще не старовер писал. Непонятно? Ну этого понять нельзя. Для этого самому в староверах побывать надо. Вот что. А я был. Из староверской семьи вышел. И не знаю, как другие староверы, а наши староверы из-за этих самых божьих храмов разоряться не станут – это я тебе точно говорю. Староверам на эти храмы, которые якобы разоряет Советская власть, начхать, поскольку у них дело дальше молельни не идет. Вот я этими самыми божьими храмами и срезал Дорохова. Ведь это же, говорю, нас на смех поднимут... В общем, уломал. Ему-то, Дорохову, правда, не очень хотелось расставаться с таким дельцем. Ну да я тоже не лыком шит. Сообразил, каким оно боком может мне выйти. Нда, сказал Подрезов и весело, по-товарищески подмигнул Лукашину, – выдал я тебе свои секреты... А живете вы неважно, прямо скажем. – Он кивнул на пустой стол, затем указал глазами на реку. – По этой водичке, между прочим, не только лес плавает, а и рыбка. Дошло?

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

1

В двадцатых числах августа в Пекашине собралось сразу пять уполномоченных: уполномоченный по хлебозаготовкам, уполномоченный по мясу, уполномоченный по молоку, уполномоченный по дикорастущим – и на них был план – и, наконец, уполномоченный по подготовке школ к новому учебному году. Плюс к этому свой постоянный налоговый агент Ося.

И все эти люди с пухлыми полевыми сумками, в которых заранее все было расписано и рассчитано, с утра осаждали Лукашина. И каждый из них требовал, нажимал на него, ссылаясь на райком, на директивы и постановления. Но, конечно, тон среди них задавал Ганичев, уполномоченный по хлебозаготовкам.

Лукашин, однако, довольно бодро смотрел на свои дела. Урожай на полях вырос хороший – не зря он весной выжидал тепла, есть, значит, в нем хозяйственная жилка; задание по хлебу будет выполнено. И колхозники тоже не останутся внакладе. Во всяком случае, по его расчетам, килограмм хлеба на трудодень он даст. А это для начала неплохо. С таким трудоднем уже можно жить.

Как только отправили первый обоз с хлебом, Лукашин сказал колхозникам:

– Ну, товарищи, теперь готовь свои мешки. Попробуем новины сами.

И что тут поделалось с людьми! На полях песни. У молотилки песни – Украина залетела в Пекашино?

У парторга Озерова, только что вернувшегося с инструктивного совещания в райкоме, вдребезги разлетелся план агитационно-массовой работы. Некого агитировать. Некого подгонять. Люди работали дотемна. И особенно лютовал в эти дни Михаил Пряслин. Жатка в колхозе была одна – вторая рассыпалась еще в прошлом году, – и Михаил жарил по восемнадцати часов в сутки. Три пары лошадей менял за день.

– Не надорвись, – говорил ему Лукашин. – Передохни денек. Найдем подмену.

– Ничего, – хриплым голосом отвечал Михаил. – За три килограмма (а он выгонял не меньше трех трудодней) можно и надорваться.

2

Короткое северное лето кончалось. На домашние сосняки вышла белка, еще красная, невылинявшая.

С первым снегом, когда голубым туманом пройдет по ней осень, белка откочует в глухие суземы, на еловую шишку, и туда потянутся заправские охотники, а покамест за ней гоняются ребяташки – нет большей радости для них, чем поймать живую белку.

По вечерам, возвращаясь с поля, Михаил частенько слышит ликующие голоса своих братьев в сосняке за деревней, и хоть криком кричи – не зазовешь домой.

Сегодня, к его немалому удивлению, вся семья была в сборе. Ребята с матерью у окошка перебирали бруснику – не хватало разве Лизки.

– Где она? Не баню топит?

– Нет, – помедлив с ответом, сказала мать и указала глазами на кровать.

Тут Михаил разглядел сестру. Лежит на кровати, уткнувшись лицом в подушку, и всхлипывает.

– Чего с ней?

Мать опять замешкалась, затем переглянулась с ребятами.

– Чего, говорю, с ней?

– У нас свадьба будет, вот, – выпалила Татьяна.

– Свадьба? Кто – ты собралась замуж?

– Лиза.

– Сиди! Со сна бормочешь...

– Нет, вправду, вправду, – сказала мать. – Егорша только что сидел. "Отдашь, говорит, Анна, за меня Лизку?"

– Ну, допился, сукин сын! А вы уши развесили – слушаете...

Михаил подошел к Лизке, со смехом приподнял ее за плечи.

– Чего ревешь? Невеста. Радоваться надо. Не успела соску изо рта вынуть и уже женихи.

– Да ведь он по-серьезному, взаболь...

– А когда парень выпьет, он завсегда взаболь. Пора бы тебе это понимать. Ладно, собирайте чего на стол. Хватит об этой чепухе говорить.

За ужином Лизка не притронулась к еде. Она сидела, опустив льняную голову, и Михаил уже с некоторым беспокойством начал поглядывать и на нее, и на мать, которая, как назло, отводила от него глаза. Дикая, невероятная мысль пришла ему в голову: а что, если

Егорша?.. Нет, нет, не может быть! – сказал он тут же себе.

Но когда кончили ужинать, он решил раз и навсегда покончить с этим делом.

– Ребята, давай на улицу! Все. Да, да, и ты тоже, – кивнул он Татьянке.

Он сам закрыл за ребятами дверь, снова сел к столу.

– Ну? Чего в прятки играете? Какая такая у вас свадьба?

– Егорша, говорю, тут сидел. Лизавету сватал.

– Слыхал. Дальше.

– А дальше... – Мать строго посмотрела на Лизку. – Так хорошие девушки не поступают. Я думаю, он шутит. Ну и я в шутку: ноне, говорю, не старое время, парень. Ты с невестой говори. Дак он знаешь что мне ответил? "А чего, говорит, мне с невестой говорить? У нас, говорит, с ней все сговорено".

– Сговорено? – Кровь бросилась в лицо Михаилу. Он посмотрел на мать, посмотрел на светлую голову сестры, виновато склоненную над столом. – Вот как! Значит... Говори, что у тебя с ним было!

Лизка еще ниже опустила голову. Светлые и крупные, как дробь, слезы катились по ее пылающим щекам. Потом она вдруг закрыла лицо руками и разрыдалась.

– Сука! Стерва! – Михаил оттолкнул от себя протянутую руку матери, заорал на всю избу: – Я спрашиваю, что у тебя с ним было? Ну?

– Целовались... – захлебываясь слезами, сказала Лизка.

– Целовались? Ты? С Егоршей?

– Он меня поцеловал, не я... Я зимой тогда прибежала из лесу, все хотела рассказать, да стыдно было...

– И все?

– А чего еще...

Михаил схватился руками за голову. Скотина! Какая же скотина! Да как он мог подумать такое о сестре! О Лизке... О своей Лизке...

Под окошками тихонько переговаривались и покашливали ребята. Не поднимая головы – кажется, сквозь пол бы сейчас провалился! – он тихо сказал:

– Мати, чего мы держим ребят на улице? Зови.

Анна встала, вышла из избы. А Лизка все еще плакала. Плакала навзрыд, уткнувшись лицом в стол.

– Ну, ну, сестра... Наплевать... Выкинь ты эту всю чепуху из головы. Ну, наорал... Дернул меня черт...

– Да я ведь это так... Не сержусь... – сказала Лизка.

– А вообще-то, конечно... Ты – девушка. Насчет этого надо строго... Михаил замялся. – Нет, я все-таки с тем поговорю. Незачем, понимаешь, чтобы треп всякий шел. Верно?

3

Совсем стемнело, пока он ужинал. Он шел по темной, еще не остывшей от дневной жары улице и прислушивался к голосам хозяек:

– Пестрон, Пестрюшка! Да куда ты, куда, родимая?

– Иди, иди, кормилица! Иди, иди, мое солнышко...

А и верно, что солнышко, подумал Михаил. Звездоня согревала их, она давала жизнь ихней семье, а не то солнце, которое каждый день катается по небу над их избой. И вот ведь как устроен человек: все худо.

Эх, хоть бы ненамного, на недельку перепрыгнуть в те худые времена!

В колхозной конторе горел свет, и Михаил подумал: а не напомнить ли еще раз Ивану Дмитриевичу насчет коровы? Вскоре после ихнего несчастья Лукашин заверил их: "Дадим вам корову. Хотя бы в половину стоимости. Я перед райкомом вопрос ставить буду". И вот месяц скоро стукнет, а дело не двигается, и сам Лукашин больше не заводит разговора. А

они со Степаном Андреевичем, вместо того чтобы на первых порах хоть козу на вырученные за Звездоню деньги купить, тоже ничего не делают.

Кто-то, резко поскрипывая в темноте новой, еще не обношенной или праздничной обувью, шел ему навстречу. Егорша? Кто же еще филонит по вечерам во всем снаряжении?

Нет, не Егорша. Раечка.

Сполохом вспыхнул нарядный шелковый платок в желтых полосах света, падающих на дорогу от окошек конторы.

Михаил круто, как мальчишка, нырнул в сторону.

... Пять дней назад под вечер к нему на поле прибежали ликующие ребята: Егорша приехал.

Он все бросил: лошадей, жатку – и к Ставровым. Больше месяца не виделись можно часом-двумя пожертвовать ради друга?

Вот с каким настроением прибежал Михаил к Ставровым. А Егорша – нет. Егорша с первых слов начал задирать нос.

Во-первых, он, видите ли, отпускник, а не просто там на побывку после сплава домой пришел, и потому намерен отдыхать культурно, ибо его здоровье это уж не его здоровье, а здоровье рабочего класса.

Но это пускай. И пускай отчитывает его за мясо ("Купец! За десять верст от райцентра сплавщики стоят – за час бы расхватили твою Звездоню. А он вздумал с бабами районными торговаться..."). Пускай. Тут он, Михаил, действительно недодумал. Можно было съездить к сплавщикам – полторы-две тысячи лишних положил бы в карман. Но Егорша на этом не остановился. Егорша, войдя в начальственный раж, пошел дальше: зачем поставил столб со звездой Тимофею Лобанову?

И тут Михаил вскипел:

– А тебе что, краски жалко?

– Конечно, ежели бы я знал, что ты ради такого дела краску просишь, я бы еще подумал...

– Отдам! Не жмись!

– Дурило! В краске дело?

– А в чем же?

– В чем? – Егорша постукал себя кулаком по лбу. – А в том, что это политика.

Михаил рассмеялся:

– Политика... Столб могильный красной краской вымазать...

– Да, и столб. А ты думаешь? Больно шикарные кладбища у нас были бы, ежели бы каждый захотел красную звезду себе на могилу! Нет, ты сперва заслужи эту звезду, а потом ставь.

– А Тимофей Лобанов не заслужил, по-твоему?

– Ежели б заслужил, райком бы дал команду, будь спок. Я это знаю, как делается, – работал в райкоме. Перво-наперво, – стал авторитетно разъяснять Егорша, – объявление в газете дают, невролог называется. Вся автобиография сообщается. А какая у Тимофея автобиография? В плену был? Так? Нет, что-то я этого в неврологах не читал. Не приходилось.

Михаил, опустив голову, тупо смотрел на хромовый, до блеска начищенный сапог. Слова Егорши смутили его. Черт знает, может, и в самом деле он поспешил со звездой...

– Вот так, друг ситный, – насмешливо заключил Егорша. – Пора отличать малосольные рыжики от горькуш. А то и за штаны могут взять. Не маленький. А ты из одной грязи едва вылез – в другую хлоп...

– Из какой грязи?

– Но-но! Думаешь, не знаю, как ты тут из-за попа травил... Имеется сведенье...

– А я и сейчас скажу: не знаю, за что закатали старика.

– Да? Забыл, значит, как он нам на мозги капал?

– Он нам капал, да весь вопрос – куда. Я что-то не помню, чтобы он у нас выманивал

водку.

– Ну, водкой меня не купишь, – отрезал Егорша. – Выпить выпью, а ежели насчет политики, тут, брат, шалишь. Не за то у меня отец да дядя на войне головы сложили, чтобы я ушами хлопал. Мы, брат, так: пьем, гуляем, а линию знаем. И тебе советую насчет там всяких теплых чувств покороче. Понял?

– Каких, каких чувств?

– Родственных. Чего ты об этом попе разоряешься? Думаешь, там, где надо, не учитывают, что вы родственники?

– Сволочь! – коротко выдохнул Михаил.

Он до того расвирепел, так взбеленился, что, кажется, скажи еще одно слово Егорша, и он бы бросился на него. Ведь это же надо придумать: он заступает за Евсея потому, что тот его родственник. Да ему и в голову никогда это не приходило. А приходило, уж если на то пошло, совсем другое. Приходило то, что Евсей два года колотил сани для колхоза, а кто теперь их будет делать? Кто будет выручать его как бригадира по скотному двору, по конюшье? А два сына у Евсея на войне погибли – это не в зачет?

И вот как раз в это самое время, когда Михаил на всю катушку собирался выдать Егорше, под окошками появилась Раечка – она шла с большим кузовом травы.

Егорша петухом высунулся в раскрытое окно, закукарекал:

– Раюша! Соседка дорогая! Давай на беседу.

– Некогда! – ответила Раечка.

– Чё некогда. Я музыку новую привез. Ей-бо. Вот Мишка рядом – не даст соврать.

Михаил выпучил глаза: какая еще музыка?

– Древесина пекашинская! Совсем тебе комары мозги выели. Надо девку заманивать, а он – какая музыка?

Подталкиваемый Егоршей, Михаил выглянул в окошко, небрежно махнул рукой, давай сюда, Райка.

И Раечка кузов с травой наземь и – к ним. Через зеленый картофельник. Красиво, легко начала выбрасывать белые ноги. А в избу вбежала – грудь ходуном, и такие радостные, такие летние глаза.

– А где музыка?

Егорша мелким бесом начал рассыпаться: Раечка, Раечка, дорогая соседка... Выставил из-под стола табуретку, обмахнул рукой.

Злость взяла Михаила:

– Райка, ко мне!

Раечка в замешательстве посмотрела на Егоршу, как бы спрашивая того: что у вас тут происходит?

– Ну! – нетерпеливо сказал Михаил.

И Раечка покорно, опустив голову, подошла к нему, села рядом на лавку.

Михаил притянул ее к себе:

– А ты, Райка, горячая. С тобой не замерзнешь.

Раечка по самые глаза залилась вишневым румянцем, выгнула стан.

– Не рыпайся! Не таких, как ты, объезжали. – Михаил торжествующе посмотрел на побледневшего Егоршу – что? выкусил? – и рывком перекинул девушку к себе на колени, так что у той колоколом вздулось пестрое ситцевое платье.

– Тяжелая ты, Райка, много в тебя добра сложено.

– Может, вам создать обстановочку, а? – язвительно спросил Егорша.

– Создай! Верно, Раечка? – Михаил с напускным ухарством откинул голову, сбоку посмотрел на Раечку.

У Раечки слезы стояли в глазах и губы были закушены...

Михаил все это сейчас вспомнил и подождал, покамест Раечка не прошла мимо.

Щеки ему и сейчас жег каленый стыд. Нехорошо, по-скотски все это вышло. Он терпеть не мог, когда Егорша начинал всякую пакость рассказывать про баб и девок, а разве

он сам поступил лучше? Чем виновата Раечка? Прибежала к нему по первому слову – радостная, сияющая, на все готова. А он начал куражиться. Он начал показывать Егорше свою власть над девкой. Вот, мол, какой я, грязный, небритый, нечесанный, прямо с поля, древесина пекашинская, как ты говоришь, а давай потягаться – чья возьмет?

Ну погоди, подумал Михаил о Егорше. Когда-нибудь я тебе за все выдам. Действительно, ежели бы Егорша не завел его, с чего бы он начал куражиться над девкой?

Егорши дома не было. Отпускник. Самая рабочая пора у него по вечерам да по ночам. А днем его работа – ружьишко. Бродит в первых соснах за деревней да лупит в кого попало. Михаил частенько слышит его выстрелы.

– Ежели к дому не поздно пригребется, пуцай ко мне зайдет, – сказал он Степану Андреяновичу.

– Так или дело какое?

– Дело... Бока ему наломать надо? С пьяных глаз зашел к нам – Лизавету за него отдайте.

– Чего? Лизавету сватал?

– Говорю, окосел с перепоя.

Степан Андреянович долго молчал, и вдруг слеза блеснула у него в правом глазу, задрожал подбородок.

– А что, Миша, – начал он издали, – может, это и неплохо?

– Неплохо? Да Лизка еще ребенок!

– Ну пошто ребенок? Раньше, бывало, и моложе выдавали.

– Чего зря бочку перекачивать. Чтобы я да за такого кобелину сестру свою отдал... Никогда! Так и скажи ему. А то повадки его я знаю. Разрисует. Наплетет такого, чего и в помине не было.

– Да это-то так, – согласился Степан Андреянович. – Хоть и своя кровь, а не хвалю.

4

Михаил ушел, а старик еще долго сидел у стола.

Днем, когда они сели обедать, Егорша заводил носом: и грибы зажарены не так, и хлеб дедов ему не по вкусу, и от картошки нечищенной его воротит...

– А ежели воротит, женись! – вспыхнул Степан Андреянович.

– Ну и женись! – ответил с вызовом Егорша. – Нашел чем пугать.

И, видно, после этого сгоряча и брякнул у Пряслиных, подумал Степан Андреянович.

А вообще-то лучше невесты, чем Лиза Пряслина, он бы своему внуку не желал. Еще Макаровна, покойница, нахвалиться не могла Лизаветой: "И такая уж у Пряслиных девчущечка совестливая да работящая. Золото девка..." Хорошая семья. Крепкий корень. И если бы Егорша с такой семьей породнился, может, он и сам бы немножко остепенился – повылезла бы из него лишняя дурь...

Да нет, вздыхал Степан Андреянович, близко локоть, да не укусишь. Разве пойдет такая девка за моего шалопа?!

Егорша пришел поздно. И как всегда – под парами.

– Чего не спишь? Утро скоро.

– С тобой уснешь.

– Ха, опять чем не угодил?

– Бесстыдник. Налил шары и ходишь. Уж ежели задумал жениться, по себе сук гни.

– Так, – рассмеялся Егорша. – Значит, оповестили. Кто был? Мишка?

– Чтобы этого у меня больше не было! – сердито сказал Степан Андреянович. – И себя не срами! И людей не смехи. Разве отдадут за тебя такую девку?

– Кого? Лизку не отдадут? Да я только свистну – сама прибежит.

– Всех-то ты по себе меряешь.

– Да что – я хуже их, навозников? – возмутился Егорша.

- Эти навозники-то, смотри-ко, – семью подняли. Что ты против того же Михаила?
- Михаил, Михаил... Ты мне плешь переел этим Михаилом. Подумаешь, хитрость всю жизнь в навозе копать.
- Не хвали себя. Пушай люди хвалят.
- А что – не хвалят меня? В газетах не про каждого пишут. Лизка тебя устраивает?
- Чего попусту говорить.
- Нет, я спрашиваю: Лизка тебя устраивает?
- Такая девка!.. Локтем бы перекреститься можно...
- Ну и все, – сказал Егорша. – Завтра будешь локтем креститься. А теперь давай спать.

5

Егорша мог не глядеть на часы. Он и так знал, который час, потому что есть на земле такая пакость – осенние мухи. А осенние мухи начинают лютовать ровно в десять часов, в ту самую пору, когда в их боковую избу вкатывается солнышко.

Голова у него побаливала. Вчера он определенно перебрал. Сто пятьдесят «сплавных» за обедом, четушка с Осей-агентом, затем «пенсионная» бутылка с довесом у Петра Житова, потом они еще с Анной Яковлевой, чтобы не замерзнуть на повети, раздавили маленькую, – сколько это будет?

Потягиваясь и зевая, Егорша прошел в задоски, хватил кружку холодянки, закурил.

Дед постукивал в сарае – тесал березовый полоз. Много теперь у него дела. Евсей на казенных хлебах, Трофима Лобанова нет – один на весь колхоз сановик. Настойчиво, как дятел, долбит березину, и топор, видать, наточен – в полтопора играет жало, а не та, не та сила у старика. Тюкает, тюкает, а зарубки настоящей сделать не может. Разве так он еще два-три года назад расправлялся с полозом?

Егорша вспомнил ночной разговор с дедом. А что, подумал он, может, и в самом деле жениться? Вчера от нечего делать он начал травить Лизку – дед огонька за обедом подкинул, а почему бы и не всерьез? Ха! Не отдадут? Мишка против? Всяк в пример ему ставит этого Мишку. Хозяин. А он, Егорша, вроде для забавы у пекашинцев. Художественную часть им поставляет. Нет, стой! Посмотрим, кто из нас последнее слово скажет!

Деятельное, давно не испытываемое возбуждение охватило Егоршу. Он наскоро побрился, вымылся до пояса, надел свою лучшую шелковую голубую рубашку с молнией, а поверх рубашки куртку хромовую – тоже с молнией. Блеск! Звон! И сапоги надраил так, что ногам жарко.

– Дедко! – крикнул он, выходя на крыльцо – Смотри последний раз на моего конягу. Вечером не будет.

– Куда девается? Пропьешь?

– Пропьешь, пропьешь... В отпуску я. Законно гуляю. В общем, в район еду. Не жди обедать.

Егорша завел стоявший у хлева на зеленом лужку мотоцикл, выехал из заулка на дорогу.

Тепло. Солнце припекает. За болотом, на Широком холме, трещит Мишкина жатка...

Эх! Давай-ка напоследок пропадем из конца в конец пекашинскую улицу. Покажем, какой скок у нашего рысака.

Егорша нажал на рычаг с газом и со свистом, с грохотом полетел вперед.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

1

У Пряслиных издавна повелось: если ты в чем-то проштрафился, оправдайся делом. А

Лизка считала себя виноватой: она вечер своими глупыми слезами довела брата до белого каления. И поэтому сегодня она работала за троих. Встала еще затемно, затемно пришла на телятник, выгребла навоз, привезла травы для телят, наносила воды, – еще что сделать?

Самым большим желанием ее в это утро было выйти на деревню да послушать, что говорят о вчерашнем. Знают ли бабы, что к ней вечер Егорша сватался?

И еще ей хотелось хоть одним глазком, хоть краешком глаза взглянуть на Егоршу: как он сегодня-то, на трезвую голову? Помнит ли, что вчера молот?

И вдруг – вот как бывает! – он сам. Егорша!

Да, только подумала она о нем – захлопотал мотоцикл у маслозавода, а потом и он сам показался. Как ворон черный, вылетел в своей кожанке – и на задворки. Видно, к Илье Нетесову в кузницу.

Нет, стой, ахнула Лизка, да ведь он, дьявол бесстыжий, сюда, на телятник, едет. Ей-богу!

Она быстро вытащила ногу из шайки – только-только начала было мыть ноги и в телятник. Хорошо, в самый раз будет – захлопнуть двери перед самым его носом. Но в последнюю секунду благоразумие взяло верх. Нельзя ей показывать вид, что перепугалась. Иначе он, зубоскал, проходу ей не даст.

И она, собрав все свои силы, сунула ноги в опорки, торопливо поправила рассыпавшиеся на висках волосы и, строгая, недоступная, с высоты бревенчатого настила перед дверьми в телятник стала поджидать завязнувшего в песке за кузницей Егоршу.

Первые же слова Егорши: "Здорово, невеста!" – выкрикнутые тем еще с машины, полымем одели ее щеки.

Но она не растерялась:

– Проваливай! Чего здесь не видал?

А Егорше это как чих. Выстал, нахалюга кожаный, да давай ее своими синими мигалками завораживать. Как змей!

– Проваливай, говорю! Нечего тебе тут делать, – еще строже сказала Лизка и, не долго думая, показала спину.

– Стой! Не шибко. С женихом или с пнем разговариваешь? – Егорша прыгнул к ней на настил и – не успела она глазом моргнуть – за косу.

Она дернулась, закричала:

– Пусти, дьявол бессовестный!

А ему забава: смеется да наматывает-наматывает косу на руку.

Намотал, притянул ее лицо к своему:

– Ну, теперь поняла, как со мной разговаривать?

– Пусти, говорю, – гневно зашептала Лизка. – Люди-то что скажут? Вот погоди, скажу Михаилу.

– А спать будем – тоже Михаила кликнешь? – прямо ей в лицо рассмеялся Егорша. И вдруг выпустил косу, сделался серьезным-серьезным. – Сядем. Нечего теперь Мишку призывать, коли надо жизнь свою решать.

Лизка посмотрела на кряжи под навесом, на которые указывал взглядом Егорша, посмотрела на него самого – что у бесстыдника на уме? – и села: бог знает, что он еще может выкинуть, ежели не уступить ему.

– Вечером со сватами приду, – объявил Егорша. – Чтобы у меня без этого... Без фортелей.

– Надо мне твои сваты! – хмыкнула Лизка, но глаза отвела в сторону: жар кинулся в лицо.

– Значит, опять сначала?

– Да мы с тобой и не гуляли, жених выискался...

– А в баньке на Ручьях зазря обнимались? Забыла? А я тебя невестой своей с каких пор стал называть?

– Что – в шутку-то можно, – опять в сторону сказала Лизка.

– Сперва все в шутку. А вот ежели я тебе не нравлюсь – тогда другой разговор. Ну? Говори прямо. Бей горшок, покуда не поздно.

Лизка не успела ответить, как Егорша воскликнул:

– Эх ты, жало зеленоглазое! Чего тут канитель разводиться? Ты войди в мое положение. Мне так и эдак жениться надо. Сколько я еще деда эксплуатировать буду? Ты думаешь, я не вижу, какво ему. Живем, как два бобыля. Жистянка сама знаешь. А вечер я ему говорю: "Как, говорю, дед, посмотришь, ежели я подведу черту под свою холостяцкую жизнь?" Молчит. Насупился. А потом, как я сказал, кто у меня на примете, – расплакался. "Да я, говорит, на такую невесту молиться стану". Ей-богу!

У Лизки дрогнули губы. А глаза заблестели, как первая зелень после дождя.

Егорша и сам расчувствовался:

– Верно, верно, Лиз! Эх, елки-моталки! Я вот в лесу работаю – большие деньги, да? А куда мне с деньгами? Я да дедко – и тот еще от своих рук кормится. Ну и пью. Ну и мотаю, завиваюсь веревочкой. А люди этого не понимают. И, между прочим, твой дорогой братец тоже этого не понимает...

Егорша помолчал.

– Вот так, Лизавета батьковна. Значит – все? Договорились? Порядок в танковых войсках?

– Чего порядок?

– Насчет свадьбы. О чем я толкую с тобой битый час? Первым делом, конечно, надо завести рогатку.

– Корову? – Лизка, словно пробуждаясь ото сна, захлопала глазами.

– Да, корову, – сказал Егорша. – Я-то все думал, Мишка да дедко без меня обмозгуют. Сообразят, почем фунт гребешков. А теперь вижу – ни хрена. В общем, так: в район еду, а вечером приведу корову.

– Будет тебе заливать-то! Ждет там тебя корова.

– Не веришь? Треплется Егорша? Ежели у вас сегодня вечером не будет коровы, ноги моей больше не будет. А ежели я с коровой приду, тогда уж не брыкаться. И на братца своего не кивать. Договорились?

Егорша вдруг притянул ее к себе, вlepил поцелуй в губы и рассмеялся своим обычным, легким и беззаботным смехом:

– А я все-таки улучил моментик! Поставил свое клеймо...

2

В жарком безветренном воздухе долго был слышен рокот мотора, и Лизка мысленно отмечала про себя: вот Егорша выезжает на дорогу за деревней, вот он переезжает по бревенчатым мостовинам болото – тра-та-та, а вот он уже едет сосняком – мотоцикл с воем одолевал песок. Потом и вой стих, и на смену ему пришел другой шум – шум жатки.

Михаил жал за молотилкой – близко. Белая рубаха горела на солнце. Бежать? Рассказать все брату? Так и так, мол, Егорша опять пристаёт...

Из-за сарая вышла Онька – черно-пестрая телка – сеголетыш. Во лбу Оньки звездочка – такая же, как у покойницы Звездони, и как могла не баловать ее Лизка? Все телята днем в поскотине, а эту не прогонишь. Как хвост, волочится за ней. Лизка к колодцу – и она к колодцу. Лизка за травой – и она за травой. А раз даже вечером приперлась к клубу. Встала у крыльца и давай вызывать хозяйку.

– Онька, Онька, – протянула к ней руки Лизка, – подскажи-ко, что мне делать.

Она нисколешенько не верила Егоршиным сказкам насчет коровы. Сбрехнул, для красного словца сказал. Но ей нравился Егорша, нравились его бесстыжие глаза с подмигом, нравилась Егоршина беззаботность и удаль – никогда не унывает. Она представила себе, как бы она пошла с Егоршей по деревне – он с гармошкой, она в новом платье, – и у нее воробьем запрыгало сердце в груди.

Судьба, наверно, подумала Лизка. Семеновну-соседку на шестнадцатом году выдали – и ничего, прожила жизнь. Не хуже других. А сколько было маме, когда она за папу выходила?

Лизка быстро прибрала шайку, в которой мыла ноги, побежала домой. Ну-ко, родимая, присоветуй. Как мне быть? Давай пораскинем умом-разумом вместе. У всех дочерей мать – первая советчица.

Дома никого не было. Все, видно, ушли на поле. А на поле не побежишь. Ведь не заговоришь же на людях: мама, мама, как мне быть? И она села на койку брата и заплакала.

Был, однако, еще один человек, с которым она могла поговорить по душам, Степан Андреянович. Да, да, Степан Андреянович. И это ничего, что он дед родной Егорше. Степан Андреянович не обманет, рассудит как надо – всегда во всяком деле держал ее сторону.

Лизка умылась, надела праздничное платье, цветастый платок на голову.

День разгулялся на славу. И на улице ни единой души – все на работе. А все-таки непривычно, совестно ей было идти среди бела дня по деревне, и она пошла полем, узенькой тропинкой, натопанной вдоль изгороди.

Сколько раз вот этой самой тропинкой – мимо школы, мимо братской могилы за клубом, по дернистому угору с выгоревшим земляничником – бегала она к Ставровым и никогда, ни единожды не обходила стороной правления – тут тропиночка кончается, а сегодня она загодя, еще у школы, решила, что за братской могилой спустится под гору.

Однако не спустилась, потому что в заулке правления она скоро увидела людей и подводы, и мысль ее пошла в другом направлении.

Что же это за подводы? – думала она. Может, товар какой в сельпо привезли? Давно, еще с весны, говорили, что конфеты будут на страду давать. А может, уже дают? И пока она ходит к Степану Андреяновичу, расхватывают начисто...

Она посмотрела вниз, на подгорье, и пошла к людям.

Никто не обратил на нее внимания. И не сельповские товары – мешки с колхозным зерном лежали на телегах.

Районщик с железными зубами, тот, который весной приезжал по займу, кидал речь.

– Как известно, товарищи, – выкрикивал с крыльца районщик, – в прошлом году коварная стихия, то есть засуха, нанесла большой урон сельскому хозяйству нашей страны! А поэтому в нынешнем году план заготовок хлеба по нашему району удвоен, то есть мы должны дать в закрома родины двести пятнадцать процентов. Это великая честь, товарищи! И районное руководство выражает твердую уверенность, что ваш колхоз на деле, по-боевому оправдает высокое доверие...

С крыльца раздалась хлопки – Федор Капитонович размял ладошки. И еще вслед за ним раза два хлопнул Илья Нетесов.

– Езжайте! – махнул рукой Лукашин Васе-маленькому – высокому придурковатому парню в облезлой ушанке, сидевшему на передней подводе.

Лукашина, как только подводы выехали из заулка, обступили люди:

– В два с лишним раза план, а нам-то чего?

– Мы-то как будем? Опять зубы на полку?

– Весной ты нам чего говорил? По килу на трудовень сулил...

Лукашин недобрым голосом закричал:

– Есть у нас первая заповедь – знаете? Ну и баста! Выполнять надо...

И больше ни слова – кинулся в контору.

Лизка пошла домой. На днях как-то, после ужина, они всей семьей подсчитывали заработки. Михаил выгнал за год 450 трудодней, мать – 260, она, Лизка, 100 с лишним – три месяца в колхозе работала, да еще на Петьку и Гришку трудодней 50 падало. "В общем, до конца года еще далеко, – сказал Михаил. Тысячу-то наколотим. И даже с гаком. Плюс свой участок. Посытнее заживем в этом году". И вот опять голые трудодни, опять ничего, как в прошлые годы. Знает ли об этом Михаил? Так ведь раньше у них была Звездоня, а как теперь они сведут концы с концами?

Слезы закипали у нее на глазах. Она шла передней улицей и ничего не видела вокруг себя.

3

В этот день после полудня Михаил бросил жать. Распряг лошадей, связал их на молодой зелени у болота, а сам отправился в лес.

На Широком холме горланили вороны. Видимо-невидимо слетелось их к пряслу, где еще недавно вешал снопы Петр Житов. А теперь Петра Житова нет. Молотите зерно, вороны. Никто вам не помешает. Вот для кого, оказывается, люди рвали из себя жилы – для ворон.

У Попова ручья Михаил чуть не наскочил на Лукашина – тот верхом скакал по перелескам, скликая баб. Но разве докличешься до баб? Да и чем виноваты бабы? Разве по своей воле побежали в лес? В лесу-то грибы, ягоды можно взять, а с поля чего возьмешь? При том плане, который объявили сегодня, на что рассчитывать?

Боже мой, думал Михаил, сколько у них было надежд, когда Лукашина председателем назначили! Вот, думали, дождались хозяина. Этот не чета Першину. Этот колхоз поведет. А куда привел? Как в прошлом году на трудовень ничего не получили, так и в этом.

Грибы в перелесках попадались редко – а он не стал углубляться в лес: не хотелось началить баб – разве от сладкой жизни бежали они с поля? И он шагал-шагал от одного перелеска к другому и так вышел к Сухому болоту.

По сторонам обгорелый ельник, стожок сена горбится на выкошенной полевине, а где пашня? Где гектары победы?

С тяжелым чувством повернул он назад. Сколько сегодня он видел вот таких запущенных полевин! Зарастают поля. На третьем году после войны зарастают. Во время войны всё, до последнего клочка, распахивали. Старики, бабы, подростки. А теперь что?

Долго, до первой звезды, бродил Михаил по перелескам. Думал, прикидывал, как жить. А когда вышел к болоту да напоил лошадей, стало совсем темно.

Его удивил яркий свет в своей избе, который он увидел еще от задних воротец. Не иначе как зажгли новую семилинейную лампу, которую он купил нынешней весной в расчете на хорошие перемены в жизни. Но по какому случаю? Что за радость в ихнем доме?

Он поставил короб с грибами на крыльцо, заглянул в окошко. Степан Андреянович сидит за столом, Илья Нетесов, Егорша – серебром переливаются молнии на кожаной куртке.

Так, так, подумал Михаил. Сваты. Егорша решил на своем настоять...

Ярость, страшная ярость охватила его. Егорша – понятно: ради того, чтобы сделать по-своему, на все пойдет, вдребезги разобьется. А эти-то? Где у этих-то головы? Разве не предупреждал он вечер Степана Андреяновича?

В избу, однако, он вошел, ничем не выдавая своего гнева. Сваты есть сваты, и хоть век свадьбе не бывать, а честь оказать надо.

Степан Андреянович – первый раз Михаил видел старика под хмельком воскликнул:

– Ну вот и хозяина дождались! А мы, Миша, знаешь, по какому делу? Догадываешься?

Мать, пугливо озираясь, подавала ему знаки: по-хорошему, бога ради по-хорошему!

Степан Андреянович – на старинный лад – заговорил в том духе, что они, мол, охотники, лебедушку ищут, и люди добрые подсказали им, где искать.

– У нашей лебедушки еще перья не выросли, – сказал Михаил. – Рано на сторону лететь.

– Ничего, – вставил свое слово Илья, – и у нас охотник не перестарок.

– Вот именно! Этому охотнику еще года три надо под красной шапкой походить.

– Это ты об армии, Миша? – живо спросил Степан Андреянович. – Господи, о прошлом годе была льгота и о позапрошлом, а разве я молодею с годами?

– Да не в том дело, молодеешь или нет. А какая она невеста?

Егорша молча налил граненый стакан водки, поставил перед Михаилом. Лицо

самодовольное, в зубах папироска – все могу. И тут полетели к черту все зарюки, которые давал себе Михаил, садясь к столу.

Он резко, так, что плеснулась водка, отодвинул от себя стакан:

– Впустую разговор!

Степан Андреевич опешил – не ожидал такого оборота. И Илья не ожидал.

– Михаил, Михаил... – потянул его за рукав Илья.

– А что Михаил? Втемяшил себе в башку жениться, – он бросил короткий разъяренный взгляд на Егоршу, – твое дело. Валяй? Хватает девок – и военных, и послевоенных. Всяких. А только адрес выбирай другой. Жених! А дома когда последний раз ночевал? А они? – Михаил кивнул на ребят, сбившихся у кровати. Их кто кормить будет? Ты небось даже не слыхал, какие у нас налоги? Нет?

Егорша невозмутимо, будто все это не касалось его, докурил папироску, поправил рукой волосы. Потом так же невозмутимо обвел прищуренным взглядом избу и усмехнулся:

– А по-моему, у нас кворума не хватает. Вхолостую идет прения. Гавриловна, – обратился он к матери, хлопотававшей над самоваром в задосках, – позови дочерь.

Лизка была в боковушке. Такой уж порядок: пока судят да рядят старшие, девка в стороне. И вот она вышла. В новом, красного сатина платье. С туго заплетенной косой. Поклонилась, как положено.

Так, так, сестра, подумал Михаил. Дадим от ворот поворот, но так, чтобы сватам обиды не было. И Степан Андреевич и Илья Нетесов – что они нам худого сделали?

У Степана Андреевича в глазу заблестела слеза – разволновался старик:

– Лизавета Ивановна, мы вот тут...

Его оборвал Егорша:

– Постой, дед. Вы поговорили, теперь мы поговорим. Он сдвинул в сторону тарелки с грибами и стаканы и вдруг начал выбрасывать на стол деньги. Пачками. Одну пачку выбросил, другую, третью... Красные тридцатки, полусотни синие...

– Вот, – сказал Егорша и в упор посмотрел на Лизку. – Как уговаривались. Я свое слово сдержал. С этим довесом можно заводить копыта.

Это он мотоцикл продал, подумал Михаил и почему-то сперва посмотрел на ребят, а уже потом на сестру. Глаза их встретились. И надо же было так случиться, что именно в эту самую минуту под окошком раздалась свадебная песня:

Лизавета Ивановна,
Ты сама до вины дожила,
Ты сама до большой доросла,
Ты сама вину сделала.
Молода князя на сени созвала,
Со сеней в нову горенку.
За дубовый стол посадила.
Чаем-кофеем напоила.
Калачами его накормила,
Калачами круписчатыми,
Пряниками рассыпчатыми,
На красно крыльцо выводила,
На коня его посадила...

Бабы и девки по-старинному опедали Лизку. И, наверно, песня подтолкнула Лизку. Наверно, Лизка в своей простоте подумала: раз уж люди решили – свадьбе быть, то так тому и быть. Поздно теперь отступать.

Она сказала, опустив голову:

– Я согласна.

Илья поднялся из-за стола, как только выпили по первой стопке.

– Куда это без разрешения? – спросил Егорша.

– А что-то голове тяжело. – Илья смущенно потер лысеющий лоб. – Надо немного воздуха свежего хлебнуть.

– Давай хлебни, – милостиво разрешил Егорша.

Михаил тоже вышел из избы, и под тем же самым предлогом – вроде и ему дышать нечем, он даже для наглядности воздух ртом похватал, а на самом-то деле он вышел, чтобы не остаться с глазу на глаз с новоявленным зятком: просто сил нет видеть его самодовольную рожу.

На улице было звездно и по-осеннему прохладно. И какие-то черные тени скользили по вечернему небу. Высоко. Под самыми звездами. Неужели это уже птица повалила в теплые края? Рановато бы, кажется. Еще ни одного заморозка не было.

– Лебеди, должно, – как бы угадав его вопрос, сказал Илья.

– Лебеди? – Михаил задрал кверху голову. – А разве они по ночам летают?

– А кто их знает. – Илья закурил, оперся грудью на изгородь огорода напротив крыльца. – Может, и летают.

– Нет, – возразил Михаил. – Лебедь свет любит. Разве что он нынче по ночам стал летать. А что, может, поумнел и лебедь. Днем-то нынче лететь – живо срежут. Я где-то читал: животные приспособляются...

Михаил встал рядом с Ильёй и уже окончательно разговор с небес спустил на землю:

– Ну как, наносил грибов-ягод?

– Маленько, – глухо ответил Илья.

– А я только сейчас понял, как без коровы жить. А ты ведь который год... Третий?

– Да нет, ежели войну считать, когда Марья одна жила, то все шесть будет.

– Порядочный стаж. Ну-ко давай, раскрой свой секрет – как жить без молока и песни петь.

Илья промолчал. Насмешка не понравилась? Или, поди, и он, как Егорша, на него свысока смотрит? Поди, и по мнению Ильи он древесина пекашинская?

– Ну да, – зло сказал Михаил, – я ведь и забыл: ты на особом положении, у тебя литер.

А кой черт и молчит! Разве его это не касается? Разве он не от тех же колхозных трудодней живет? А что, что на трудодень? В прошлом году не дали по случаю засухи на юге, в этом году – по случаю прошлогодней. А что в будущем году будет?

В это время на крыльцо вышла Татьяна ("Чего ушли, Егорша сердится"). И Илья наконец разомкнул свои золотые уста:

– Я, пожалуй, пойду, Михаил.

– Куда пойду? Домой?

– Да.

– Ну, это не я решаю. Есть у тебя начальник. (Егорша Илье по отцу доводился двоюродным племянником.)

– Нет, ты уж, пожалуйста, объясни ему. Скажи, к примеру, домой позвали или еще чего. Худо у меня, Михаил, дома, худо.

– А чего? С Марьей поцапались?

– Ах, кабы только с Марьей! Валентина у меня больна – вот что.

– А чего с твоей Валентиной?

– То-то и оно, что чего. – Илья оглянулся, заговорил шепотом: – С легкими неладно. Помнишь, я тут как-то у тебя Лысана брал, в район ездил? Ну дак я это Валентину в больницу возил. Страшно выговорить... Тэбэцэ...

– Тэбэцэ? А это еще что за зверь? Я такого и не слышал.

– Слышал. Туберкулез легких.

– Что ты говоришь! Нда...

От злости на Илью у Михаила не осталось и следа. Жалость, горячее сочувствие, желание хоть как-то помочь тому захватили его. Он стал уверять Илью, что это ничего, не страшно, что надо только питание получше.

– И собаку бы хорошо зарезать жирную, – подал он уже конкретный совет. Салом собачьим заливают больные легкие. Ося-агент, я помню, еще в начале войны всех собак у нас переел, вот он и бегаёт теперь на нашу голову, – пошутил Михаил. – Мне на днях целый ворох налоговых извещений вручил. Поди, и тебя не обнес?

– Не обнес! – охнул Илья и вдруг всхлипнул. – Ежели что случится с Валентиной, мне не жить... Скоро первое число, все в школу пойдут, а моя Валентина, что же, из окошечка будет смотреть?

– Подумаешь, – одернул Илью Михаил. – Ну и из окошечка. Не она первая заболела. Не в этом дело. А ты перво-наперво маслозавод себе заводи. Я на днях узнавал: у Прошича коза все еще не продана. А козье молоко, по медицине, говорят, еще питательнее.

– Нет, – сказал со вздохом Илья, – с козой теперь ничего не выйдет. Деньги, какие были заработаны в лесу, все до единого рублика спустили на молоко. И барана на той неделе прирезали... Я вот сидел у вас сейчас за столом – эх! Да что же это такое, думаю? Я здоровый мужик – и ничего у меня не выходит. А ты пацан от отца остался и уже семью вырастил, сестру замуж выдаешь. – И тут Илья опять всхлипнул.

Михаил торопливо вдавил в верхнюю жердь изгороди свой окурочек. Он не хотел видеть плачущего Илью. Не мог. Он был потрясен, размят, раздавлен. Потому что, ведь ежели вдуматься хорошенько, – это же с ума сойти! Кто плачет? Илья-победитель!

И добро бы Илья лентяем, пропойцей был. А то ведь первый работяга! Ведь это же ужас, как он в лесу работает! А в колхозе? У кого еще такие руки? И вот не может мужик свести концы с концами. Не может...

– А между прочим, ты знаешь, что я тебе скажу... – заговорил Михаил, в темноте нащупывая руку Ильи.

Слепящий свет ударил с крыльца по глазам. На этот раз на крыльцо вышла мать:

– Я не знаю, брат ты или не брат...

– Сейчас, сейчас, – поморщился Михаил. Он проводил Илью до воротца на задворках. И высказал-таки ему то, что только что пришло ему в голову.

– А знаешь, – сказал он, – здоровому-то мужику теперь тяжелее... Ей-богу! Я пацаном был – мне легче было...

Илья как-то поспешно, словно боясь этого разговора, сунул ему руку, сказал:

– Ладно, Михаил. Спасибо на добром слове. Мне, ежели говорить напрямую, лучше всего бы сейчас на лесопункт податься. Главное – Валентина поспокойнее была бы. А то ведь голова кругом: все пойдут в школу, а она, первая ученица, дома... Есть для меня место на Сотюге. Зовет Кузьма Кузьмич. Кузнеца ему надо. Да что об этом думать. Надо же кому-то и в колхозе работать...

Последние слова Илья сказал совсем тихо, с раздумьем, как бы с надеждой, что вот он, Михаил, возразит ему. Но как он мог возразить? Он – колхозный бригадир...

В третий раз скрипнули ворота на крыльце, и в третий раз кто-то вышел за ними. Кто? Не сам ли молодой князь, которого где-то на деревне, не то в клубе, не то у нижней молотилки, все еще чествовали и восхваляли бабы и девки?

Да, веселая историйка. Сестра замуж выходит, а его трясёт от одного вида жениха...

– Михаил, Михаил...

– Лизка! Ее голос.

– Иду, иду!

И он лихорадочно, с удивившей его самой быстротой кинулся на голос сестры, как если бы та зывала к нему о помощи...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

1

Корову привели в четвертом часу дня, а вечером – еще не успели сгуститься сумерки – сели за стол.

Он, Михаил, говорил: подождем еще хоть недельку. Пускай Лизка хоть недельку походит в невестах. А кроме того, надо вообще время, чтобы собрать хоть мало-мальски сносный стол. Но Егорша – он теперь хозяин – заупрямился: нет и нет.

В задосках дружно выговаривали железные и деревянные ложки – ребята хлебали молоко от новой коровы. И молоко стояло перед ним – в старой, еще отцом заведенной алюминиевой миске. Но он не мог заставить себя притронуться к молоку. Не лезло ему молоко в горло, потому что из головы не выходила мысль, которая засела туда еще давеча, в ту минуту, когда они встречали новую корову: не за молоко ли он продает свою сестру?

К встрече коровы они готовились всей семьей. Ребята еще накануне наносили сухого мха и багульника для подстилки. Лизка с Татьянкой запасли свежей отавы, обмели паутину со стен запущенного двора. А сам он полдня отметывал навоз, вставлял стекло в порушенном оконце, поправлял ясли – Звездоня, бывало, если мать запаздывала с обрядней, лихо работала рогами. Но и это не все. Лизка, с малых лет лучше его знавшая толк в скотине, заставила его раздобыть смолы и косяки ворот пометить смоляными крестами – так в старину-то делали люди. Не повредит.

И вот наконец ребята, с полудня дежурившие на крыше избы, возвестили: "Ведут! Ведут!"

Лизка первой выбежала из заулка, обхватила корову руками за шею и навзрыд заплакала...

Отчего она заплакала? От счастья, от радости? Оттого, что она семью спасла-выручила? А может, наоборот? Может, как раз в ту самую минуту, когда она увидела комолую красно-пеструю коровенку, которую вели на вязке Степан Андреянович и мать, может, именно в ту самую минуту она и поняла, какую беду с собой сотворила?..

2

– Горь-ко-о-о!

Петр Житов гаркнул. В одной руке зажата скользкая сыроега, в другой стакан с водкой.

Петра Житова привел Егорша, так как Илья Нетесов сказался больным. Со стороны невесты, если не считать старой Семеновны, гостей вообще не было. Бегал было перед самым застольем Михаил к Лукашиным, да не застал их дома.

– Горь-ко-о-о! Горь-ко-о-о! – гаркнул Петр Житов и требовательными, похабными глазами уставился на молодых.

Егорша не пошевелился, не выручил Лизку – а уж он ли не мастак по этой части?.. И Лизка встала. Лицо – заревом, а на груди полукружьем янтари. Из незрелых, желтобоких ягод шиповника. И Михаил побледнел, когда эти бесхитростные, доморощенные янтари, для блеска натертые еловой серкой, коснулись кожного плеча Егорши...

Мати, мати, что мы делаем?..

– Кушайте, пейте, гости дорогие.

Учтиво, по-старинному поклонилась Лизка направо и налево. И первый поклон Степану Андреяновичу. Тот прослезился, а когда Лизка назвала его татей, старик просто расплакался:

– Господи! С той самой поры, как Васильюшка убили, никто не назывливал меня так...

Ну, сестра, подумал Михаил, хоть со свекром тебе повезло...

В избу шумно, со смехом ввалились бабы и девки, и Лизка будто только этого и ждала. Встала, через стол поклонилась ему:

– Брателко родимой, Михаил Иванович! Уж и как мне звать-величать тебя... И за брата,

и за отца ты мне был...

– Так, так, Лизавета, – одобрительно зашептали сразу притихшие бабы. Поклонись, поклонись брату. Верно, что заместо отца был...

И Лизка кланялась. И доморощенные янтари полукружьем свисали с ее худой, полудетской шеи. Но лицо ее было торжественно и даже величаво. И Михаил дивился: откуда она знает все свичаи и обычаи? Ведь, кажись, и свадьбы-то настоящей на ее глазах не было...

Прежней, домашней стала Лизка, когда разошлись люди.

В выстуженной избе – двери не закрывались весь вечер, все Пекашино перебивало у них – остались свои да Егорша (Степан Андреянович ушел домой загодя, чтобы приготовиться к встрече молодых). Все стояли под порогом. Егорша, бледный от вина и пляски, хмуро покусывал губы. Он был недоволен затянувшимся прощанием, потому что Татьяна обеими руками вцепилась в Лизку и ни за что не хотела расстаться с нею.

– Не отдам, не отдам Лизку! – вопила она.

И Лизка разговаривала, успокаивала ее и в то же время какими-то потерянными и тоскливыми глазами водила по избе.

И вдруг хлопнула дверь – вышел Егорша.

– Михаил, Михаил... – Ужас плеснулся в глазах матери. Наверно – худая примета.

Михаил выскочил на крыльцо:

– Ну чего ты... Не понимаешь...

Они впервые стояли рядом – зять и свояк.

За столом они не сказали друг дружке ни слова. Чокались молча, молча пили. И мать, и Лизка с тревогой поглядывали на него, на Михаила. А что он мог поделывать с собой? Не вчера, не сегодня рассыпалась их дружба.

Яркая полоса света пала на крыльцо. Мимо, как в тумане, проплыло бледное, заплаканное лицо Лизки. Она спустилась с крыльца вслед за Егоршей.

– Господи, господи! Хоть бы у них-то все ладно было...

Никогда, никогда не слыхал он от матери мольбы, обращенной к богу. Даже в сорок втором году, когда убили отца.

Он выбежал на улицу перед своим домом...

Глухо. Темно. На задворках, у кузницы, тоскливо воет Векша. Все лето не было слышно проклятой, а сегодня завыла. Холода, что ли, почувяла?

Спит притомившееся за день Пекашино – ни одного огонька в избах. Только он один неприкаянно, как преступник, мотается по ночной деревне. А почему? Отчего ему не спать тоже? Кончен бал, как однажды он прочитал в какой-то книжке. И сколько ни ешь себя теперь, сколько ни рви на себе волосы, ничего не изменишь...

Несколько успокоила его внезапно пришедшая в голову мысль насчет любви.

Да, да! – с отчаянием и надеждой тонущего ухватился он за эту спасительную мысль. Почему он все время думает, что Лизка пожертвовала собой, чтобы спасти семью? Почему? А если это любовь? А если она рада, что вышла замуж за Егоршу? Ведь есть же, есть же на свете такая штука – любовь. Господи, да скажи ему сейчас кто, что Варвара ждет его, он бы побежал куда угодно. В райцентр, на Верхнюю Синельгу, на Ручьи...

Далеко под горой, на излучине реки, жарко вспыхнул красный огонек.

Луч кто бросает тайком от рыбнадзора? Или кто тайком отправился в чужие края – за счастьем?

Много нынче народушку бежит в города. А еще больше людей уходит на лесные промыслы. И Илья Нетесов у них, надо полагать, тоже скоро откочует от колхозной кузницы...

А ему что делать?

Вот за что он не любил осень – за то, что с наступлением ее каждый раз неотвратимо, как снег, как холод, надвигался вопрос: как жить дальше? Куда податься?

Рыба на зиму забивается на ямы, белка уходит в дремучие ельники, где полно шишки,

птица отлетает в теплые края, а почему он не может дать тяги? Почему он не развернет свои крылья? Разве ему не двадцать лет?

И словно для того, чтобы еще больше раззадорить и воспламенить его, яркая летучая звезда прочертила ночное небо над головой...

А потом звезда рассыпалась, и в зеленоватых отблесках ее он увидел приземистую, до боли знакомую избу с заиндевевшей крышей.

1968